

ГРАНИ

25

1955

К сведению подписчиков, читателей и друзей журнала «Грани»

Издательство извещает, что в 1955 году оно произвело реорганизацию своих журналов. «Мысль» будет впредь выходить как неперIODический сборник. «Грани», оставаясь трехмесячным журналом, увеличен в объеме.

Издательство приносит свои глубокие извинения по поводу происшедшего перебоя в выпуске журнала в 1955 году. Причиной были технические затруднения, которые испытывало издательство.

Издательство приняло ряд мер, чтобы подписчики получили все причитающиеся им номера за 1955 год не позже начала февраля 1956 года.

В половине декабря этого года выйдет 26-ой номер журнала, а в январе 1956 года 27 - 28-ой (двойной) номер, последний за 1955 год.

Ввиду того, что объем журнала значительно увеличен, Издательство было вынуждено сделать следующие изменения условий подписки и розничной продажи:

1) Начиная с 25-го номера цена журнала в розничной продаже — 6 марок.

2) Подписчики на 1955 год получают журнал по старой расценке (№№ 25, 26, 27 - 28).

3) Годовая подписка на 1956 год (№№ 29, 30, 31, 32) — 20 марок. Подписка принимается только на год. Подписаться можно как у представителей, так и непосредственно в Издательстве.

4) Для пересылки денег в Издательство можно пользоваться почтовыми переводами, чеками и почтовыми купонами.

Журнал «Грани» с 25-го номера редактируется коллегией в составе: А. Н. Артемов, А. А. Кашин, А. Н. Неймирок, М. И. Парфенов, Е. Р. Романов и Н. Б. Тарасова. Редактор

«Граней» Л. Д. Ржевский, к сожалению, из-за перегруженности своей основной работой на радиостанции «Освобождение» и научной деятельности, в редактировании «Граней» участия больше не принимает.

Редакция просит всех читателей присылать отзывы на выходящие номера журнала, которые, в порядке обмена мнений, будут помещаться в новом отделе «Трибуна читателей». Отзывы будут приниматься в форме писем в редакцию или коротких (не более двух-трех страниц на машинке) статей. Редакции желательно знать, каким наши читатели хотят видеть свой журнал.

Дорогие читатели, подписчики и друзья! Мы надеемся, что вы будете содействовать распространению журнала. Все ваши шаги в этом направлении будут приниматься не только с благодарностью, но и послужат нам моральной поддержкой в нашем искреннем стремлении служить российской культуре.

**Изд - во
«П О С Е В»
Редакция журнала
«Г р а н и»**

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

IX	№ 25	1955
----	------	------

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

А. Кашин. Вавилоновы звенья	3
Из русской зарубежной поэзии. Олег Ильинский, Андрей Ермаков, Борис Нарциссов, Фридрих Гендерлин	48

И. Шмелев. Солдаты (главы из романа)	55
Н. Неймирок. Катя	65
М. Сабашникова-Волошина. Невеста	69

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Рости. Письма о Канаде	92
------------------------	----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

А. Ремизов. Три письма Горького	117
Н. Татищев. На персидской границе	125
Анкета философа	132

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. Марков. Легенда о Есенине	139
К. Федоров. Без числа и меры	163

ПУБЛИЦИСТИКА

С. Левицкий. Гносеология самопознания	174
Проф. В. Вышеславцев. Массовая психология	185

Проф. Н. Лосский. О возникновении русской революции и смысле ее	196
Г. Юрьев. Душителы духа	202

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

Литература и искусство

Глеб Струве. Летописец русского Ренессанса	208
А. К. Предтечи и борцы	211
В. Свен. Любовь к людям.	212
Александр Шик. Андрей Белый	213
Т. Ф. На верном пути	215
А. К. Просто сны	216

Политика и наука

М. Самойлов. Бегство в историю	216
А. Светов. Теряющие почву	224

ВАВИЛОНОВЫ ЗВЕНЬЯ

1.

Памяти Татьяны К.

Под солнцем, что сидело враскорячку на горе, дотгорала долина. Пепельно-дымными становились только что зеленые травы, хлопьями опадали сожженные облака. Небо свертывалось и огромным обрывком повисало сверху. Еще недавно все в долине было сочным и прелым. Высокие травы — по пояс взрослому человеку — выгибались драконьим хвостом. Они изгибались, расширялись, совсем склонялись над землей, вдруг вспрыгивали тяжелыми головками...

Все изменялось. Пропадало солнце, пропадали и краски, которые давало оно, пропадала и жизнь, которую оно кормило.

Долина замирала, всё в ней останавливалось, пряталось до утра. И трепетанье травы под ветром становилось особенным, приглушенным. Будто и трава и ветер понимали, что сейчас не время, что нужно быть очень тихими и очень осторожными.

А солнце еще цеплялось за гору световыми щупальцами, еще пыталось удержаться, еще пробовало путать своим взглядом. А ведь взгляд не был уже всёсожигающим, никого не мог испугать. И жалкими были эти попытки отвергнутого властелина. Солнцу нужно было уходить — об этом знали все. И шептались. Земля с небом. Трава с собственными корнями — откуда было знать об этом им, спрятанным в земле, в мраке, с червями и сыростью? И наконец солнце сдало совсем. Оборвались лучи-щупальцы, само оно, серебриликое, запрокинулось и покатилося вниз по горе, давая всё по дороге. Тогда обнаружилось, вдруг, что совсем не всё однородно в долине, как казалось сначала. Обнаружились изъяны в траве — желтые проплешины, облезлые места на лысеющей голове земли. Сторев в закате, трава сделалась коричневой, усталой. Она опускалась и почти ложилась на землю. Как ребенок, что набегавшись, намотавшись, вдруг подбежит к матери и ласково положит ей голову на колени.

Всё, что искрилось красками, вдруг потускнело, всё, что сыпало радостью, вдруг стало безрадостным, не утешающим. Там, где раньше глядел и не мог оторваться, теперь, разве что, скользнешь скупающим взглядом... Да и только ли с человеком бывает это? Разве не один закон дан всей природе, разве не один Бог — Отец всего сущего — всему даёт одинаковую жизнь? И человеку, и траве, и червяку, что проедает корни и подпрыгивает жизнью?

Едва зашло солнце, быстро покатилась с гор темнота и начала осторожно укутывать долину, как лавочник укутывает проданный уже товар, скрывая от покупателя порочные места, загораживая их своим, обязательно пружным, телом. Уже легли вокруг решетчатые тени, покрыв землю тюремным узором, и только кузнечики, да несколько чудом занесенных сюда цикад, бередили воздух криками неизвестно о чем. О чем может рассказать такая малая тварь?

И вот, за несколько только секунд до того, как рухнуло солнце, в какой-то промежуток после света и предтемноты, из горного ущелья вынырнула человеческая голова. И сразу же снова слилась с травой. Только очень зорким глазом можно было бы разглядеть шевеление колосьев и по нему проследить путь пропавшей головы.

Прямо против ущелья, так что получается — оно указывает пальцем, — длинный, широкий лес: рыжие, корявые деревья, насаженные одно в притирку к другому. Только верхушки деревьев видели солнце. Рассказали о нем корням. И вот корни, перешептываясь с кротами, передавали им, что есть такое чудо на свете: крутлый, светящийся червь, прогрызающий голубую землю. В шуришащем танце шевелятся листья. Подпрыгивают, опускаются. На них некому смотреть, они танцуют для себя. А разве это не лучше?

Человечья голова, путаясь в травах, все же переползла долину, бросила несколько коротких взглядов по сторонам и скрылась в лесу, за деревьями. Вскоре затем пропала и сама долина. Чернильный мрак наполз на нее, растворил ее, уничтожил. А над тем мрачным обрывом, что оказался на этом месте, мягко заплакали звезды, и полился вниз синеватый, похоронный свет.

Щелкали сухие ветки. На них, кажется, не надо было и ступать. Они уже видели снизу занесенную над ними ногу и трещали заранее: дескать, постерегись — куда прешь! А так как лес полон шорохов и перещелкиваний, то и не разберешь, что потревожил ты, а что просто живет собственной, шумливой жизнью. Или все смолкнет вдруг и начнет прислушиваться. Прислушивается человек, наставляя уши. Деревья слушают всеми порами своими, всем существом. На секунду замолкнув, слушают большие, толстые, зеленые кузнецы. И, ничего не услышав, тишину обрывают промом полосов, у каждого звучащим по-своему, каждому по-своему слышимым.

Человек шел, осторожно поднимая ноги. Каждый кусочек земли старался он проглядеть, чтобы заранее знать, куда ставится нога и что ее там ожидает. И когда он, останавливаясь, слушал, до слуха его долетало не только сухое похрустывание — бессловесный мертвенный плач, но и что-то отдаленно-бухающее, что-то звучащее так, будто где-то кто-то вбивал тупые сваи в тугое, неподдающееся небо. Потом человек победил, неуклюже швыряясь ногами. И вслед за ним, вдогонку, обрадовавшись, закричали кузнечики, захлопотали кваканьем лягушки — зеленые дьяволята; земля томно застонала.

Он несколько раз провалился в яму. Тогда он закрывал руками лицо и недолго лежал, считая секунды, ожидая того, кто обязательно должен насесть сверху, еще раз опрокинуть, может быть, перевернуть, смять... Не дождавшись, он поднимался, бежал опять, и часто

спотыкался о иссохшие монахи-пни, глядящие вслед подслеповатыми глазами сучков. Падая, человек хватался руками за землю, и она помогала ему подняться. А когда ему, заблудившемуся, становилось особенно страшно, когда он начинал понимать, что не только заблудился, но и потерян, она возвращала ему смелость. Она жалась к нему, упавшему, она дышала ему в лицо сыростью, лаской. И шептала что-то, что понимает не только человек. Он слушал жизнь в ее шопоте, жизнь, даваемую всем просящим, и принимал с благодарной радостью. Тогда поднимался и снова бежал, все дальше и дальше.

Вместе с ним бежали минуты, считая время, которого он не считал. Он остановился. Остановилось всё. Он начал слушать. Тогда и всё стало слушать, и ничто не нарушало тишины, так что слушать было нечего. И, все же, человек обманул. Он нагнулся к земле и, наставив ухо, ловил то, что она доносила с другого своего конца. Ему послышались слабые голоса. Но какие? И на каком языке? Человек услышал так мало — так мало он знал вообще — что не мог бы сказать. И, махнув рукой, он снова побегал. Куда-то.

Большая поляна покрыта была шевелящейся, мохнатой темнотой. Он не видел почти ничего, кроме того, что видел у себя под ногами. И он бежал и бежал, спотыкаясь и падая, стараясь как можно скорее оставить поляну позади. Он боялся открытых пространств.

Его нога зацепилась за что-то. Он мягко окнул и обвалился. Провалившись куда-то вниз, он зажмурил глаза. Коснувшись руками чего-то мягкого, он набросился на мягкое взглядом. И тогда, даже в темноте, можно было бы увидеть маску ужаса на его лице, на белом лице обреченного. Мелькнуло ему навстречу что-то человеческое, несколько рук, несколько ног. Множество рук и ног, и лиц. Показалось: яма полна людьми. Они переваливаются за края, переползают и давят, грозясь задушить. Он не произнес ни слова, ни звука, за те несколько секунд, что видела его в яме. А затем, вырвавшись, он побегал. И услышал за собой чей-то голос, и спрятался, привалившись к пню. Кто-то бежал за ним. В темноте не видно было лица. Но слышалось тяжелое дыхание и тот, особенный вой, который издает человек, бегущий слишком быстро для своих сил. Это было все ближе и ближе. Это надвигалось из темноты и утрожало каждую секунду стать совсем рядом.

Закусив нижнюю губу, сдавив её до боли, он вытянул из-за пояса револьвер и, не прицелившись, выстрелил. Раз-два! Ррраз!

Шмякнуло. Пуля шлепнулась в дерево, попрыгала в мякине. Дерево охнуло, встряхнуло ветвями. Потянуло вниз кудрявую голову, сясь рассмотреть рану. И еще одна пуля, оборвав листья, понеслась совсем прямо, в высокую толубизну. На далеком небе закатилась звезда. Пошатнулась, прижала руки к груди, и вдруг опрокинулась. Даже на земле можно было расслышать её потрясающий вопль. Она летела вниз, цепляясь за пространство, обдирая себе тело о миры.

Человек лежал на земле и затылком ощущал ее прелую холодность. Кто-то сидел на нем верхом и, по-медвежьи ворча, выворачивал ему руки. Этот кто-то часто бормотал, с трудом выдавливая слова сквозь заполнившее все горло дыхание:

— А, сволочь! А, гад! Стрелять, гад! Стрелять, сволочь!

Чьи-то руки закрывали от него всё. Он не видел ни веток деревьев, ни того, что должно было быть за ними и называться небом. Совсем низко над ним висели чужие, набухшие кровью глаза. Тело его набрякло, перестало слушаться. Руки отекали.

— Пусти! — прохрипел он.

— Я тя пушу, гад! Я те кишки из носа пушу. Я те, гад, мозги в брюхо заверну и выпущу. А-а сволочь!

Костистое колено плотно припечатало к земле его горло. Уже потекли перед глазами цветные полосы, и мир пошатнулся, заваливаясь на бок. Сквозь напускную темноту наступающей ночи, стояла другая темнота, настоящая. Знакомая всем уходящим. Набрав последние силы, всего себя собрав в один комок, он изогнулся телом, на секунду высвободил прудь и горло, и, прощаясь с миром, последним криком бросил в мир:

— Уми-ра-ю! ... ми-ра-ю-ю-ю!

Тот, кто сидел на нем, как-то странно окнул, отвалился и сел против него. Схватывая воздух губами, широко открыв рот, он видел тусклое дуло револьвера, глядящее ему прямо в грудь. Было в нем рыбе, холодное. Было что-то такое, что говорило, как будто: ну и умрешь, и не будет тебя! А мне наплевать! Он рванулся было к этому дулу, но оно приподнялось, отодвинулось, и снова стало глядеть очень внимательно и очень безразлично. Всё было так легко: нажмем на курок, негромкий звук, такой же как хрустенье ветки. Кто-то спокойно поднимется, отряхнет с ботинок землю. Повернется спиной, может быть, сплунет. И уйдет. А завтра придет такой же рассвет, и также закатное солнце обвалится с горы...

Он сел, сложил ноги крест-на-крест, зажмурил глаза. И стал считать: раз-два-три-четыре... Сколько же можно? Пришлось открыть глаза. Дуло было всё там же. И также не двигалось, наблюдая за ним.

— Ну, стреляй, что-ли! — устало попросил он. В его словах не было страха, ужаса, ни ненависти. Он устал. Ему предлагали кончить. Ну и пусть. Не все ли равно? Когда-нибудь кончать надо.

Но конца не было.

— Тебя как звать? — спросило дуло.

— Сашкой зовут... — Он не поднял головы, не посмотрел.

— Дезертир?

— Какой к дьяволу дезертир!

Вся энергия, которую он так долго прятал в себе, которой не давал волю, вдруг вырвалась в этом крике.

— Ну какой я тебе к дьяволу дезертир! — повторил он.

Жизнь растягивалась, становилась привычной, нужной. Уже нельзя было отдать ее так дешево, уже душа снова вспомнила о своем убежище-теле, в котором так тепло и приятно. И тело тоже вспомнило: ну что ж, действительно тяжела ноша души и можно под ней упасть. Но ведь привыкнув к этой, так трудно менять ее на другую, новую, ту, что дадут после смерти. И тело стало уговаривать душу: живи дальше!

— Что ж ты, скотина, стреляешь? Не видишь — свои? Практику нашел себе или что?

— Ничего я не вижу. Откуда я должен знать, — свои, не свои? Думаешь, у меня глаза кошачьи...

— А если бы попал?

— Ну и попал бы...

Дуло исчезло. На его месте появилось почти веселое лицо с узким, острым носом, с косящими глазами. На лице танцевала улыбка. Злобы не оставалось ни следа.

— Меня звать Колькой! — сказал он, и протянул руку.

Колька и Сашка. В лесу. Где не было людей и даже неба не было видно. Деревья, земля. Тишина. Если добавить ко всему этому костер, можно подумать — какой-нибудь скаутский лагерь. Собрались мирно, пришли, играя в войну. С палками вместо винтовок. С камнями вместо пуль. Сядут, разведут костер и до утра будут играть в потерянных, забытых. Будут играть в жизнь и смерть. Кто-то убьет другого и тот, убитый, полежав на земле, и наскучив игрой, встанет и скажет: «Ну, довольно. Пошли!» И уйдут. На этом кончится игра, как на этом кончается жизнь.

Они сидели друг против друга и каждый торопился побыстрее отдышаться. И каждый видел против себя только мутную, спрущуюся тень. Деревья стряхивали на них темноту хлопьями черного снега.

— Бьют! — сказал один.

Второй подтвердил:

— Бьют, сволочи!

И казалось им — говорить не о чем. Помолчат, посидят, пойдут в разные стороны — кто откуда пришел. Так много надо было спросить, что ни один не знал, с чего начинать.

Наконец, собрался Сашка и спросил:

— Ты из какой армии?

— Я? Мы при Квантунской были. Не из армии, собственно, а так — из вспомогательных частей.

Он это трудное слово произнес совсем легко, — так часто, видимо, говорил его, так стало оно привычно.

— Из Квантунской?

Прокатилась волна тишины. Только дыхание двух людей и вздохи филина.

— Какая же это?

Опять тишина и опять филин.

— Не знаю такой.

Покачал головой. И еще звенело в голосе его удивление, когда сказал он:

— А я от Мерецкова.

— От кого?

— От Мерецкова, говорю.

Шелестели вершины деревьев, а люди молчали и не могли ничего понять. Если бы увидеть им собственные лица, стало бы им, верно, смешно. Так глупы были эти лица, такая была начертана на них пустота. Будто взял кто-то тетрадку человеческого лица, перечеркал ее

детскими рисунками, а человек пришел и силится угадать, что это, какой в этом смысл.

— Нет, ты погоди, — попросил Колька. Его струящаяся, синяя фигура приподнялась и села на носках. — Ты погоди. В этом разобратся надо.

Он снова сел; приподняв руки, потер себе виски.

— Я стоял под Хайларом, — медленно, протяжно начал он говорить. — Это Маньчжурия. Верно? ..

Подождал, ответа не было. Тогда продолжал, отсчитывая на пальцах:

— То есть самая, что ни на есть наиманьчжуристая Маньчжурия. Позади Квантунская армия, потом Китай. В Китае кто? Я, брат, не знаю. Но только знаю, что врешь ты, брат, что-то. Никаких там этих мерец... как ты сказал?

Сашка тоже потянулся на носки. Странно блеснуло в холодном лунном луче его бледное лицо. Ярко светились глаза.

— Нет, брат, это ты погоди! — сказал он. — Ежели уж кто врет, так это ты, брат, врешь. Никаких этих самых, — как ты сказал? — нет там. Нигде нет. Я от Мерецкова. А братан мой и под Сталинградом был. Только ранили его там. А ты мне шарики не закручивай...

Вдали бухнуло, и на небе проблеснула зарница. Самый краешек горизонта чуть видно окрасился красным. Потом это пропало. Тогда сильнее вычернилась тьма, в которой встретились двое. Сашка передохнул и когда заговорил дальше, голос его был не только возмущенным, но и виноватым.

— Мне чего врать? Я все сделал как полагается. А что попал, так это не тебе, брат, разбирать. Ну и попал! И тоже не моя вина. Пушай офицера отвечают.

И с этого возмущенного, обиженного тона он вдруг перешел на самый обычный, приятельский, и стал рассказывать, явно ища сочувствия.

— Понимаешь, так: ворвались в городишко. Совсем махонький, с одного конца другой видно. Ну, только нарвались мы там. Нас человек пятнадцать было — знаешь как рассыпались все! — а их не меньше двести. Они нас — как вдарят!...

Он даже, кажется, улыбнулся. Больно уж ласкало слух это «как вдарят!...», этот восторг перед «они нас».

— Как взяли в оборот... Как, брат, немцев под Берлином. Я один и остался.

Снова бухнуло вдалеке, но на этот раз небо окрасилось сильнее, а самый звук стал ближе. Даже, будто, несколько качнулась земля.

— Вот, разрядили меня, видишь?

Сашка напрасно спрашивал — видеть ничего нельзя было. Но, наверное, в те секунды, когда сидел на нем и было еще сколько-то света, успел разглядеть Колька, что и на Сашке такая-же странная, такая же дикая форма, как и на нем самом.

— Только я тоже не таковский... Они меня повели, а я думаю: все равно, покажу вам это самое... И показал. Как начали бить, как они рванули, кто куда... А у меня старичок, в охранники мне дали. Идет, а у самого штаны падают. И все в сортир лезет...

Сашка негромко засмеялся. Дернул светящимся носом, шмыгнул им.

— Пошел он того, в сортир. Стоит, а сам мордой в небо лезет. Звезды ему, вишь, глядеть интересно. Я его и подпихнул. Снизу виднее, небось. Он у меня и ковырнулся пятками кверху. По подбородок ушел...

Сытлся его мелкий смех, деревья сильнее трясли ветками, и с них обрывались листья. И падали на головы рыжим снегом. У самого дерева, привалившись спиной к нему, сидел Колька. Глаза его были яркие и видны издали. Колька начинал понимать. Он тоже засмеялся. Но он смеялся иначе: сначала несколько удивленно, потом радуясь, потом в открытом восторге. Разные чувства прошивали его смех. А дальше он начал бить себя руками по бокам и хохотать, сверкая белыми звездами глаз, такими видными на невидном лице.

— Вот ты, брат! Ах ты, брат! — не устывая, повторял Колька.

— Вот ты, брат, откуда!... — Он, наконец, прервал смех, передохнуть. — Вот ты, брат, кто. А я думаю...

Бухнуло. Земля шевельнулась, поползла, и снова остановилась. Но это шевеление земли ощутилось совершенно ясно. И небо на горизонте резко раскололось и показало свежий рубец.

— Пошли, пошли! — подскочил Сашка. — Давай! — крикнул он подбадривающе. И сам первый пустился в лес, откуда оба они только что пришли. — Там разберем!...

Они бежали рядом, — Сашка догнал. Поддерживая друг друга, одинаково проваливались в рытвины, одинаково топтали хрустевший под ногами валежник. Им светила одинаковая луна, и то же солнце должно было взойти для них поутру. Этот, последний закат, надолго связал две судьбы. Впереди еще будет много закатов. Будет, наверное, еще и такой, который развяжет, связанное этим... Но это еще впереди...

2.

— Стой!.. Там...!

Сашка замер на месте, глазами в упор, в одно место. Со стороны поглядеть — увидел человек змею, и вид ее привел его в столбняк. Ни сопротивляться, ни бежать, только и хватило силы на последний крик:

— Т-т-там!

— Поди, поди! Свои, не бойся!

Колька прошел, не останавливаясь. Не бросив взгляда, не обернув головы. Переступил и прошел на ту сторону. В чем же дело?

Привалившись вплотную к земле, — на ней, темная, неразличимая человечья фигура. Почти не дышит. Изредка метнется вверх голова, потом опустится, и может показаться, что человек испустил уже последний дух и на земле лежат только кости. Лица не видно, затылок повернут навстречу Сашке.

И Сашка глядится в этот затылок, как в зеркало, что ему самому должно бы предсказать его судьбу. Но на затылке ничего не написано. По затылку даже не решишь, что за человек это; да и человек ли?

— Офицер мой! — пояснил Колька, обвалившись вниз. — Нести его надо. Я его один всё тащил. Сколько дней уже! Теперь легче будет.

Не дослушав ответа, Колька сел что-то мастерить. Он ползал по невидной земле, — шебаршил хворост, валежник, поднимались тучи комаров. Он бил себя по лицу, яростно ругаясь. А сам все лепил и лепил что-то . . . Появилось несколько толстых, неуклюжих веток, пуста между ними начала зарастать свежими бамбуковыми порослями.

Сашка наблюдал молча. Светились его глаза, пронизывая темноту, застывшую вокруг лица. Он тоже бил комаров и тоже ругался. Но совсем неслышно. Ни разу не пошевелил он пальцем, помочь. Он только смотрел, наблюдал, хотел знать. Протянутые ноги его лежали на земле, а глаза все горели-горели, и в них отражалось густо-синее небо. И не сказать, о чем он думал или о чем мечтал. Может быть, и сам он этого не знал. Совсем не обязательно знать человеку, чем живет его мысль в его крови. Пока она не дошла до сознания, до мозга, где он впервые сознательно встречался с ней, в нем уже давно живущей.

Через час лежали на земле грубые, корявые носилки. Колька потряс их за ручки, приподнял, с размаху бросил на землю.

— Хороши! — сказал Колька.

Вдвоем, напрягаясь, они подняли мягкое тело, сложили его на носилки. Оно гнулось и падало, не помогая ни единым движением. Подняли. Ветки затрепали: и те, что в руках, и те, что под ногами. По лесу прошел гул. Где-то вдалеке снова ахнуло, небо слегка погнулось, потащило резкую вспышку, огневой выем. Они побежали, волоча носилки. Голова несомого свисла с них, доставала до головок трав. Сверху глядела на всё вдруг вынырнувшая из под облаков луна. Все было фантастическим и странным. Так и сказал Колька:

— Будто мертвяка из могилы украли!

Тени были совсем черными и очень четкими. Они длинно раскидывались по земле, вытягивались разбухающими змеями: тени людей, их носилок, неба, протянувшегося над ними.

Но раз они провалились, и носилки стукнулись о мягкую, заваленную ветками землю. Выныривая назад, они опять неслись. А позади все бухало и бухало. Однажды, провалившись и выпрыгнув, мечтательно произнес Сашка:

— Стреляют! — Помолчал, тяжело подышал на ходу, и, отойдя на много шагов, добавил: — Наши тоже там. Может, это наши и стреляют. Туда бы, в роту бы . . .

Шли всю ночь. Прошли ту долину, что недавно перебежал Сашка, что теперь стала пустым обвалом темноты, первобытным хаосом, из которого к утру должен был явиться мир. Они путались в травах, и часто кто-нибудь падал, увлекая за собой носилки и другого, пристегнутого к ним с противоположной стороны. Поднимаясь, один поднимал другого. Падая, оба промком матерились. Только человек на носилках молчал, и тело его было совершенно безжизненным в безжизненном свете безжизненной ночи. Он лишь мотал головой, когда его поднимали вверх, да громко ухало тело, когда его бросали в траву.

Они вошли в горы, — с вечера Сашка спустился с них, направ-

ляясь к лесу. По этим горам, не разбирая дороги, стали они уходить на встречу с утром, и утро не замедлило явиться. Подгоняемые грохотом пальбы — только к утру она ушла далеко, а целую ночь, каждую секунду ее, была рядом — они не успели сообразить, что устали. Они неслись и неслись, и бежали, спотыкаясь, и падая. А когда остановились перевести дыхание, оказалось, что первые полосы восхода испещрили уже горизонт.

Звезды на небе начали бледнеть. Они как бы закрывали глаза от усталости. Какая-нибудь помигает, помигает, а потом спрячет свой огонек за пушистыми ресницами и сделается невидной. Тело у звезд небольшое — один глаз. С краев неба стала подтаивать темнота. И поплыла узорами на середину. А дальше появилось солнце, и от горизонта к центру неба, к земле, к миру поползли широкие, просторные лучи. Все шире и шире, все выше и выше, все ниже и ниже. В какое-нибудь мгновение — его и глаз не успел уловить — они осветили и обогрели всю вселенную. И трудно подумать, что только что была ночь и темнота. От ночи не оставалось никакого следа, никакой памяти.

Они положили носилки, сели, и тогда только впервые увидел Сашка лицо того, кого нес.

Сашка удивленно дернулся, вскочил на ноги. Рука его невольно прыгнула к поясу, оказалось — там пусто. Тогда бледность поползла по сашкиному лицу, как рассвет по лицу неба.

Сашка увидел: на земле лежал японец. Сомнений быть не могло. Выпирающие скулы под узким лбом, под глазами, косящими в стороны, заглядывающими в иной какой-то мир. Ровные, мягкие волосы из под фуражки. Лицо мягкое, усталое, меловое, но все равно чужое — японское.

Сашка оправился. Страх прошел быстро: лежащего бояться не приходится. Но осталось неразрешимое недоумение, большой вопрос. Он вытянул вперед палец:

— Кто? .. Японец.

Колька лениво повернул взгляд в сторону японца. Поглядел, сощурил глаза, ничего не понял и вернулся глазами назад, к Сашке:

«Ну что?» — спросил он взглядом.

— Я... я... японец? — задохнулся в вопросе Сашка.

— Ага!

— Как же?

— Что — как же? ..

— Ты, как же? ..

Теперь уже целое небо было полотняно-белым. Ни пятнышка краски не осталось на всем пространстве его. Как бледной рукой, смело все оставшее и осталась слепящая белизна. В ней величественно вставало солнце. Само вот это, всем знакомое, многими любимое, дружными ненавидимое, огневое лицо.

Потянулась кверху трава. Стали выпрямляться сочные головки, над землей туманом потянулся аромат. Защекотал ноздри, опьянил. Грохотом закатились кузнечики, вспрыгивая на колени, пропархивая у самого лица. Холодное утро, пьянящее утро, осеннее утро. Кто может

его не любить? Не любить эту аристократичность, где всего так мало и всё так на месте? Это чувство последнего: больше ничего не будет, это пройдет, и все кончится?

А разве не там именно сладость, где знаешь, что в последний раз? Тогда пытаешься каждую секунду оставить за собой, чтобы не пропала, выпить до последней капли и опрокинуть стакан. Может быть, даже тут же и разбить его. Зная, что это конец. Радуюсь этому, приветствуя это.

Японец поехал на носилках. Вдруг открыл глаза, пустил в них свет. Часто-часто заморгал, — едва ли он видел что-нибудь. И также неожиданно он успокоился. Вздохнув, повалился назад. И глаза закатились.

— Ну, чего, как же? — бесчувственно спросил Колька. — Японцев не видал?

— Видал... Только они там. А мы...

— Ну... что мы?

— Мы здесь...

— Ну, и он здесь.

Сашка поперхнулся. Он пустил в рот какую-то травинку и нервно ее жевал. А глаза его бегали — глаза загнанного зверька — ища выхода, ища куда бы убежать. Все это было слишком сложным для Сашки. Сашка — солдат. Сашка привык решать простые вещи. Если мы здесь, значит враг там. А если враг здесь, значит... значит...

Улыбка блеснула, просияла, широко раскрыла сашкино лицо. Стало оно лучистым, радостным.

— Пленный! — вспорхнул голос. — Пленный! Как же я раньше не догадался! Вот дурак! — хлопнул себя по лбу. И даже травинку потерял от радости, и пальцами полез за другой.

Колька радости не разделял. Лицо его было тусклым, глаза холодными, руки сложены были неподвижно. И восторга в нем не было никакого. На сашкину вспышку ответил он так:

— Не-е-ет! — Помолчал, поиграл молчанием, добавил. — Не-ет! Не пленный это. Это друг.

Сашка сложил свои бесполезные руки. Положил их, было, на бока — мешают. Попытался спрятать в карманы, но тогда сидеть неудобно было. Он их вытянул и наполеоновским жестом разложил на груди. Ему казалось, что это, как скверный сон. Такой сон: видит человек бой, и вдруг оказывается, что это он сам с собой дерется. Тогда человек поднимает руки и кричит: это же я! я это! За этим следует удар. И оглушенный человек, развернувшись, бьет сам, бьет в ответ, а в ушах его трепещет надрывающий душу крик (собственный): это же я!

— Дезертир ты! — наконец вымолвил он, но никакой убежденности за этим не было. Это не могло быть так просто. После многих попыток сделать это проще, чем это было, Сашка лез в глушь самой дикой фантазии. А «дезертир» казалось ему недостаточно фантастичным. Но все же он снова повторил:

— Дезертир ты, вот что...

— Дура-а! — протянул Колька. — Какой же я дезертир! Откуда

я дезертир? Думаешь, дезертиры за собой раненых японцев станут таскать...

— Я же знал, я же знал: не может быть так... не может быть просто.

А солнце играло на небе, и не было ему дела. И кузнечики так же громко и так же весело стрекотали. Не было им задачи, которую надо решать. Было у них на каждую задачу самое простое решение: жизнь проста — живи!

— Ну, а кто ты? А кто ты?

Сашка вскочил было, но сразу полетел обратно. Его никто не ударил; Колька слетка подтолкнул его, и этого оказалось достаточно.

— Сиди, дура, и слушай. Я из японской армии, понял?

— Нет, не понял, ничего не понял. Если не дезертир, то как из армии? Почему из японской?

Никто ничего не понял, — все это криком, взрывающимся выше и выше. Вот-вот опрокинется и станет биться на земле. Или еще: вот-вот сядет, сложит лицо в ладони и станет тихо плакать, посасывая и всхлипывая — маленький, игрушечный ребенок.

— А я, дура, родился здесь! — пытался успокоить Колька.

— Где здесь? В поле?

— Да не в поле, болван, а в Маньчжурии, в Китае.

Это было решение. Сашка выпустил воздух, зацепил травинку и потянул ее в рот. Теперь все было ясно.

— Знаю! — сказал он. — Знаю, — торжеством победителя, — беляк ты! Слышал? ..

Верно — слышал. Когда-то давно, в детстве. Когда память выхватывала из длинного, цельного, одну, не совсем понятную, фразу и оставляла ее на остальную жизнь. Кто-то, когда-то... Может быть, вспоминая победную юность... и хвастаясь победами... вздохнул, сказал... Или еще как-нибудь. Возможно, говоря о поражении, о том, как — «они нас»... Но всегда заканчивалось одинаково. Этот именно конец, и остался он в жизни, как память о том, что было, и как угроза, предупреждение о том, что еще может быть... И мы его расстреляли!.. Или: и они расстреляли его!

Любопытство боролось в нем со страхом. Страх, конечно, был, — как не быть страху! Во-первых, Колька гораздо сильнее, — это не раз уже на опыте проверено. Во-вторых, у него револьвер. А, в-третьих, все та же знакомая фраза: и они его расстреляли!

И все же, спроси его, он не смог бы сказать, что в нем сильнее: любопытство или страх.

Вот он — беляк, странный человек, человек непонятный, но в самой непонятности своей, свой человек. Чорт побери, да ведь и беляк русский! Но эта мысль показалась кошунственной. Какой он русский? — он — беляй!

— Ну что! — сказал Сашка: — Стрелять будешь. За углом где-нибудь... А я тебя не боюсь! И всех вас не боюсь!

— Ишь ты, храбрый какой, — улыбнулся Колька. — Вятский, может — семеро одного не боишься?.. Дура ты, надо было бы тебя стре-

лять, давно бы стрельнул. Это ты к безоружному с револьвером вяжешься.

Сашка едва не заплакал. Со слезами в голосе сказал он:

— Я!.. Да я!.. Откуда я должен был знать, что у тебя... что ты без оружия... что стрелять не будешь? Я бы никогда...

— Ну вот то-то же! — похлопал его Колька по плечу. — А я, думаешь, хуже тебя. Брось, дурень!

Они помолчали. Японец — виновник всего разговора — тяжело хралел на земле. Наконец, Колька сказал:

— Ладно, не рпайся. Пойдем, вместе выходить будем. Вместе попались, вместе и жить надо.

— Куда выходить? К твоим...

Колька озлился.

— Дура-а! А кто они, мои? Знаешь ты, кто они мои? Не знаешь ведь, болван. Чего же орешь? А знаешь, где ты сейчас? Тоже не знаешь. И я не знаю. Так чего торговаться. Пойдем и пойдем. Куда выйдем — того и счастье. Того и счастье...

Последнее прозвучало совсем задумчиво.

Офицер на носилках вновь открыл глаза. Взор его был мутным, взор неба в дождливый день. Этим мутным взором он повел по поляне, вбирая её в себя. Но глаза дошли и до Сашки. Остановились на нем, уперлись в него. Дальше не пошли. В них не было ни ужаса, ни страха. Они просто глядели и спрашивали, они просто хотели знать. Колька бормотнул несколько слов по-китайски. Сашка ничего не понял.

— Свой! — успокоил Колька. — Свой он. — И усмехнулся.

3.

На плоту в открытом море — сутки без счета. Жажда. Голод. Или заблудившись в первобытных лесах, где вместо дорог, болота, вместо неба, ползучие лианы. Змеи. Звери. Страх, такой же длинный, плоский, плотский, как и змея. Страх змеиной породы. За каждым деревом, за каждым сучком — рыскающая тень. Обрывающееся с неба огромное тело. Широко раскрытая, зловонная пасть.

... Но бывает и так вот, как здесь. Не болота, не леса, не море. В мире, в населенном мире, где за каждым поворотом деревушка, на каждой тропинке следы людей. И часто, часто можно издали видеть синеватый дымок. Там люди, а здесь?.. Спасение за каждым поворотом дороги, но к нему не подойдешь. Самые фантастические мысли приходят в голову: допустим, не выдержали, упали. Допустим, больше не смогли идти, и остались лежать при дороге. Пойдет кто-нибудь мимо, увидит, поднимет. Душу согреет лаской, тело напоит и накормит. Приведет обратно в жизнь. А потом что? Потом — в город. И там начнут приходить разные и смотреть. Будут благодарить спасителя, пожимать ему руки и называть именами. А потом? А потом, когда погибающие придут в себя, их отведут в тюрьму. И, может быть, расстреляют...

Вот и ходи. Куда повернешь? Направо? — Везде то же самое. Тропинки со следами человеческих ног; воздух, напоенный дыханьем человека. Направо? Налево? И там и здесь будет одно. Селение направо,

налево тоже селение. Затаившись, спрятавшись за своими плечами, у околиц своих деревень, ждут люди. Ждут прихода этих, троих...

И кто из них мирен, а кто действительно ждет? Кто примет и обласкает, а кто, задним ходом, пошлет сына?.. Люди, ведь, не звери. Это на зверя взглянуть, и сразу видно — тигр, кусается. А человек, кто его разберет, что в нем, что носит он в себе?

Часто, когда доходил запах жилья, перед каждым, резко отпечатавшись в небе, вставало огромное слово: дом. И каждый хотел туда. Хотел, не думая, не оценивая, просто хотел, и всё! Домой! А что есть дом? Это там, где люди. Где в полдень, бросив работу, разогнув усталую спину, садятся за стол. Едят, пьют. Где ложатся в постель, утопая в одеяле. Где не так, как здесь. Здесь днем еще жарко — снимается гимнастерка. Вечером уж прохладно. А ночью — липким, скользким телом прижимается холод. И невольно руками еще сильнее тянешь его к груди, жмешь к сердцу. Остаешься с ним один на один, и целую ночь глядишься в его мокрое, синее лицо, лицо утопленника. Там, где не так, как здесь, там и есть дом.

Сколько раз рвался Сашка в долину.

— Я пойду!

— Куда пойдешь, дура?

— Туда, вниз пойду. Там наши. Там должны быть наши. Наши везде уже.

— Опять дура! — кипело, горело в Кольке, и вырывалось наружу злобными словами. — Ваши! Знаешь, сколько сюда добраться надо? Если по таким деревушкам расползаться начнут, им солдат сто миллионов не хватит. Здесь и японцев-то никогда не видели...

— Ну вот, ну вот, — распаивался Сашка навстречу сказанному. — Вот видишь, сам говоришь... Пойду и пожру, и пожру...

Масленьми становились сашкины глаза. Тонуло в них все человеческое, то, что дано от Бога. Оставалось одно сашкино тело и его плотские похоти. Даже не желания, нет. И уже готов он был лететь с гор, кувыркаясь, падая вниз, в долину. Но тогда же у спины его являлось округлое дуло, и тихий голос спокойно спрашивал:

— Ну!..

Как солдат, привыкший выполнять команду, Сашка сжимался, и шел туда, куда его вели.

Колька оправдывался и объяснял.

— Для тебя же делаю. Схватят тебя, сам меня крыть будешь. А мне что, жалко, что ли? Для тебя же стараюсь!

Сашка шел молча, нахмутив брови, нахлобучив их на глаза. Не отзывался. А взгляды его — исподлобья — на Кольку были злыми и волчьими.

— Жрать есть что? — зло спрашивал Сашка.

Колька тянул последнее — жалкий, обгрызенный кусок шоколада. Один маленький кусочек шоколада на трех человек.

— Жри!

Сашка отгрызал, начинал жевать. Чавкал, облизывая рот, далеко высовывая толстый, пунцовый язык. Умиленье расплывалось по лицу его — казалось, молиться готов он на эту плитку. И все красоты при-

роды, краски горизонта тускнели, пропадали из глаз. Колька шагала вперед, зажмурив глаза, не оглядываясь.

— Жри! — про себя, — вслух он молчал, а про себя: — Жри! быстрее, быстрее же!

И не было ничего на свете, никакой такой силы, что могла бы заставить его сказать это открыто, сказать это так, чтобы услышали и другие.

— На! Бери!

Вымазанные пальцы совали кусок. Выглядело это так, будто один человек другому просто протягивает замазанные шоколадом пальцы и просит другого облизать. Колька еще растягивал секунды, поворачивался долго, неуверенно. И когда брал, старательно сдерживал подрагивание пальцев.

Нет нужды в море, не нужен ни плот, ни буря — голод и жажда с человеком везде; где человек, там и голод его всегда с ним. Что из того, что человек не ведает об этом? Чтобы обратить человека в зверя, не нужна природа. Конечно, злобна она и проклята однажды и до скончания. Но здесь обойдется и без нее. Чтобы обратить человека в зверя, достаточно людей... Люди. Они сидели там, внизу, в долине, они облизывали свои жирные пальцы после сытного обеда. Они протягивались и устраивались в своих гамаках — разглядывать бледнокровное солнце и небо, страдающее малокровием. Они не знали горя, им не от чего было прятаться, они даже не ловили никого: добыча придет сама, добычу получит тот, кто лучше умеет ждать.

Пробовали варить гаолян. Неосторожно, отчаявшись, жгли костер. Обдирая колени, крались к гаоляновому полю. Вечерами видели, как удалялись с поля остроугольные, широкие, соломенные шляпы крестьян. Сидели голодными волками, ждали, — всегда готовы были запустить зубы во всякого, кто заметит. В случайно найденной жестянке варили вышелушенные зерна. И плевались. Даже голод не мог к этому вынудить. Этого есть нельзя! Этого есть нельзя!... И, не договорив, смотрели друг на друга. И уходили. И завидовали.

«Как он идет? Как он уходить умеет! Как будто крадется, — не видно, не слышно!» — завидовал Сашка.

«Настоящий солдат. Мне бы так. Да где уж мне!» — так думал Колька, оглядываясь на случай данного приятеля.

Однажды нашли покинутое поле кукурузы. Широкие следы оставили на нем танковые гусеницы. И в этом гниющем, разлагающемся, трупном рылись половиною дня, выбирая еще сохранившееся жизнь. Из скользких, плесенных остатков не легко было выбрать съедобное, — то, чего почти и не было. В тот же вечер, когда отполыхал закат и ночь удобно устроилась над миром, разговорились.

Вообще, они молчали. Им не о чем было говорить. Они думали — каждый из них думал — «скоро, наверно, придет конец». Стоит ли рассказывать ему, если он никуда отнести не может. Зачем рассказывать, если это умрет с тобой же. Ведь гибель будет одна для всех троих, и, наверно, одновременно.

Японец редко приходил в себя. Мотал головой и двигался туда, куда его несли. Были бескровными его губы, глаза почти не открыва-

лись. В монотонном движении, в ровном шуршании дороги, в отчетливом шаге других, слышалось ему постоянно одно и то же: не все ли равно! Шаг за шагом, всю пройденную дорогу, отмечал он эту, вколачиваемую ритмом движения мысли: не все ли равно! И закрытыми глазами обозревал мир, которого не видел. Сашка шел, сжимая зубы, считая километры, оставшиеся до собственного конца. «Расстреляют», — думал Сашка, и не мог верить иначе. — «Конечно же, расстреляют. Знаем мы ваших»... И только иногда, взирая на дальние горы, кормилась надеждой его душа: вдруг натолкнемся на наших, вдруг нарвемся на своих. Вдруг. Неожиданно. Из за поворота дороги, из-за тропинки, серостью своей, привычностью своей, наводящей тошноту... Но «вдруг» не было. Все было, как вчера, как нынче утром, как будет вечером... Всё вперед и вперед, поедая километры, оставляя за собой то же, что будет впереди. Шаг за шагом... Безвольно. Никуда не стремясь, никуда не торопясь, не поспешая. Шаг за шагом — по горам и вниз, в долины...

Сашка молчал. Ему не о чем было говорить. А если и говорил он, то всегда с собой, молча...

Колька молчал, зная: никто ему не ответит. В первый день иногда пытался заговорить он, но потом понял: они трое и каждый из них идет своим путем, каждый идет совершенно иной дорогой. Это ничего не значит, что они рядом, — они разделены самой толстой, самой непроницаемой стеной — собственными душами, собственными сердцами. Они были людьми, каждый из них отдельно был человек. Человек не может жить с людьми, человек от людей бежит. В том и мука человека, что встречаясь с другими, он и сам становится «людьми».

В этот вечер, поев кукурузы, они заговорили. Была особая томность в этом осеннем вечере. Уже скрылось солнце, а еще красились вершины гор розово-теплым. И смутная тревога бродила по горам, пытаясь от чего-то их предостеречь.

Сначала уложили японца. Колька сбегал за водой. Обмывая рану и перевязывая ее, оба ругались.

— Тупой ты какой-то! — обижался Сашка.

— Это ты говоришь? — Колька громко смеялся. — Ту-упой. Дура! Меня в Шанхае, знаешь, как звали?

— И знать не хочу!

— Колька-мозгляк...

Японец сжимал зубами запекшиеся губы. Отчетливо свежо выглядела эта рваная, красная полоска среди сухости остального. И тонкая струйка... красного... стекающего по подбородку вниз...

Под телом шевелились камни. При каждом повороте, при каждом движении больно кололи. Лежать было неудобно, но оба лежали. Усталость бросила на землю, усталость же помешала найти что-нибудь удобнее. Днем ели кукурузу. В грязной, отрезанной от колькиной рубахи тряпиче донесли часть и до вечера.

Шагая с утра до темноты, Сашка старательно обшаривал глазами пыльную землю. Иногда на ней мелькало что-то белое, и это белое, поднимая, Сашка прятал в карман своих форменных штанов. Всё берет до вечера. Теперь, устроившись удобно, он вытащил на ладонь

несколько окурков, из кармана вытянул, здесь же, на тропинке найденный кусок бумаги. Сашка стал свертывать козью ножку. И закурил, пуская дымные кольца. И опять потек по лицу его восторг — закрутились в глазах цветные колеса. И уже забыл Сашка о прошедшем дне и о том, что завтра будет такой же. Приятель его молчал, и глядел в другую сторону. И старался не замечать благовонного дыма. Днем он ехидно насмехался над Сашкой. Тот наклонялся, стараясь не выронить ручки носилок, а Колька нарочно еще потаряхивал ими. Сейчас Колька молча завидовал.

— Хошь, потяни!

Докуривая, Колька часто плевался, — пересохший табак высыпался в рот.

Эх дороги, пыль да туман,

Города в тревоге, да степной бурьян...

Сашка тонко запел, прислушиваясь к собственному голосу. Горы разносили мелодию. И откуда-то издалека, также осторожно отвечали: да... у-ан! И, кажется, так же, как Сашка, прислушивались, склонив на плечо тяжелую голову.

Города, тревоги, да степной бурьян...

— Ты сам-то откуда? — любопытствовал Сашка.

— Я-то? Из Шанхая я.

— Что, большой город, не-е?

Волной поднялась, вспеленилась улыбка на колькином лице. Вспоминалось недавнее, родное и, как всякое родное, немного сказочное. Какие-то краски, цвета, разговоры. Чьи-то пожатия, чья-то теплая рука. Слова. И прежде, чем разговаривать дальше, Колька повел быстрый разговор с самим собой. И сам себя перебивал мыслью: а это помнишь? Нет, ты вот об этом скажи! Ты мне ответь сначала!..

— Шанхай-то? Да ничего. Городуха...

— А кто у ты там?..

Колька встрепенулся, взглядом проверил: не насмехается? Нет, глаза чистые, спокойные, даже, кажется, добрые глаза.

Ишь ты! — мелькнула мысль: — И у этого, как у людей. Город свой, родные, верно.

— У меня там матуха. Да, говорят, разбомбили ее.

— Кто говорит?

— У нас в отряде... приезжал один из Шанхая. Говорил, весь город разбомбили. Ну, весь город, конечно, не весь город. Городуха-то у нас во-о! — Он широко развел руками. — А матуху, верно, говорил, трахнули.

Потеплел сашкин голос и глаза его подобрели, лаская.

— Может врёт, — попытался объяснить он.

Колька легко согласился: — Может и врёт!

Умолк Колька. Стало уже совсем темно, уже все тени потеряли себя и сделались одной, опромной, общей тенью. Так, верно, и после смерти сливаются вместе души людей, чтобы образовать одну, огромную душу и из этой души сделать человека, того, который родится в мир: из людей — человек!

Из темноты вырастало перед Колькой прошлое, часто забываемое,

но всегда носимое с собой. То прошлое, что есть у каждого, даже у того, кто будущего не имеет. Иначе не мог бы человек умирать. Должен он обязательно сказать себе в последнюю секунду: а я, вот, жил, а у меня, вот, что было...

Мать. Но это сразу же пропало. Это что-то, что всегда в крови. Так же трудно думать о матери, как трудно думать о себе. Она живет в каждом биении сердца, и думать о ней можно тоже только так — сердцем, пульсом, кровью, дыханием. А вот Нина!.. Нина. Ходил провожать с танцев. Водил через весь город, нарочно выбирал пути подалее, нарочно растягивая дорогу. Осторожно держал за локоть. За такой острый, такой пряный, такой девичий. Локоть!.. Вот и сейчас может почувствовать это в пальцах своих. И недаром стибается рука, будто в нее нечто положили. Водил и развлекал, рассказывал всякие смешные вещи, а сам тянулся взглядом всегда в одно место. Видел пунцовые губы, — также пунцово, верно, и сердце. И то, как на горле бьется тонкая, синяя жилка. И видел глаза, от которых не мог оторваться. И слышал запах волос, падающих на плечи.

Таких вечеров было много, осталось от них в памяти только, вот, это — губы, волосы, синяя жилка. Ни разу не осмелился поцеловать. Не однажды закрывал глаза и ощущал обрыв под ногами, но броситься никогда не хватало сил. А дома смеялись, указывая пальцем: опять губы распухли! И эта наивная, вполне невинная шутка была неприятна.

Сашка ворвался в мысли. Сашка напомнил — и я человек, такой же, как ты. Вот увидишь, — и у меня есть такое, что нельзя словами передать. И когда расскажу тебе, ты все равно не поймешь, не почувствуешь скрывающегося за этими безличными словами. Не ощутишь запаха там, где я задыхаюсь в нем, не расслышишь звука там, где я глухну от грохота.

— А мою мамку забрали, — молвил Сашка. — Мне товарищ рассказывал... из дому приехал.

— Куда забрали?...

Колькины тени от него отходили неохотно.

— В Гепеу. — Сашка понизил голос, повел глазами вокруг. И повторил шелестяще, едва слышно. — В Гепеу забрали.

— За что?

— За спекуляцию...

— Ну, ты только не ври, — совсем уже оправился Колька. — Какая же теперь в России спекуляция? Всех этих самых буржуев давно уже того, в расход ухлопали.

— А спекуляции и не было. Просто хлеб возила она. Это и при мне было. Я еще и в армию не пошел, а она уже возила.

— Какой хлеб? Куда возила?

— Хлеб. Печеный, — пояснил Сашка. — Возила из Воронежа в деревню. И схапали значит ее...

Колька энергично поправил:

— Из деревни в Воронеж?...

— Да не-е, — из Воронежа в деревню.

— Что-то ты, брат, заливаешь мне, — улыбнулся Колька. — Это,

брат, вроде, если я из Шанхая в деревню рисуху повезу. Дык надо мной весь город смеяться будет. Ан нет, — остановился он. — Погоди, погоди... Знал я одного такого. Профессором звали. Дык он действительно в деревню поехал, и картошку с собой повез. Мне, трит, сказали, нет здесь картошки. Ну, только он того... кукуватый был, — покрутил пальцем у виска, широко осклабился. — Дык у ты матужа что, тоже так?..

Сашка выронил самокрутку. Блестящие искры запрыгали по дороге у ног его, будто сотни светлячков разом вылетели из мешка и стали кувыркаться в пыли. Сашка несколько раз ударил ногой о землю, но говорить все не мог, — тонкая петля возмущения захлестнула горло.

— Маманю... Ты!.. На нее!.. — Он задохнулся. И сидел, собирая воздух. Но потом, успокоившись, как-то совсем просто сказал. — Да нет, не понимаешь ты. И где тебе понять! Ты же ведь беляк!

Колька задумался. Просверлила ему мозг эта мысль: о деревне и хлебе, который возят туда. Не совсем он понял ее — это верно. Но что-то самое главное, ухватил — не умом, а сердцем. И что-то заньло в нем. И этим, ноющим, он вспомнил собственное детство, когда ставила мать на колени на мягкую постель. Маленький, игрушечный, четырехлетний Коля поднимал ко лбу пухлые ручки; маленький Коля трогательно молился: — помяни, Господи, рабу Твою, Россию! И часто — часто крестил свой узкий лоб.

А потом, ночью, когда уходила мать, сама Россия бывала в колыбельной комнате. Он о ней многое раньше слышал. Как убили ее. Бандиты. В каком-то знаменитом году. И теперь вот капала кровь, и расплзлась по полу.

Она уходила, но след от ног ее и темное пятно на месте, где стояла, не расплывались до утра. Даже и утром мог еще угадать Коля, где касались пола босые, израненные ноги. Кроме него, никто и ничего видеть не мог.

Колька вырос. Еще вчера, наверно, лишь посмеялся бы он над собственным детским сном. Сказал бы: ну что-ж, все мы ребенками были. И усмехнулся бы. А сейчас он почему-то не стал смеяться. Очень четко, отчетливо и ясно снова встала перед ним эта Россия, но теперь, к уже известному о ней, прибавилось и еще вот это — колющее: хлеб в деревню возят!..

Он опустил голову. Все еще тлел сашкин окурок и освещал мельчайшую деталь дороги, — плывущую ямку и в ней заблудившегося жучка.

В ту секунду, когда тишина войлочным покрывалом совсем уже одела было их, где-то, не так уж и далеко, закричал петух... Коротко, резкий бросок, потом длиннее, осмысленнее. И сразу всё кончилось. Можно было бы подумать, послышалось это всё. Ночные духи соблазняют заблудившихся, наводят на ложный след. К тому же, по этому ничтожному броску невозможно, пожалуй, догадаться — откуда он. Но Колька все же поднялся.

— Я пойду — сказал Колька. — Погляжу...

— А почему ты? — Саша тоже больше не сидел. — Я, может, сам хочу...

Колька остановился, повернулся. Насмешливо провел пальцем перед самым сашкиным носом. Птушиный окрик смыл с него всё, чем жил он только что. Все кончилось — всякое прошлое, всякая законченная жизнь.

— Ты? — насмешливо фыркнул он. — Куда ты? Куда пойдешь? Поймают тебя... На каком языке объясняться будешь? На воронежском?

И Кольки не было. А Сашка растерянно стоял посреди дороги. И видел как поднялась над горами светлая луна, как она бросала резкую полосу, рассекая горы на две части — на светлую и темную часть. И еще он чувствовал за своей спиной бесстрастный, черный, как дуло револьвера, взгляд японца...

4

Однажды Колька подстрелил воробья. Маленький, седой комочек лежал у ног. Сначала бился, поднимая пыль, обмакивая в нее зарозовевшие бока, потом замер, дернулся и замер окончательно.

Ну что значит один воробей на трех человек? Потому и спросил тогда Сашка:

— Для чего?

Колька не смог ответить — ответить было нечего. Он и сам думал — для чего? И, продолжая раз начатую мысль, доводя ее до логического заострения, думал тоже: а нас для чего? Нас-то, ведь, тоже так же!... А мы не воробьи, мы люди: большее что-то.

И тогда трудно было уйти с этого места. Все казалось, смотрит воробей своими остеклянившимися глазами в спину, и спрашивает: ну хорошо, вы уходите, а я как же? И вот теперь было так же трудно. Отдав другому самое важное, поняв, что это уже не твоё — подняться, забыть и уйти.

Колька сказал:

— Пошли.

— Куда? — спросил Сашка.

— Пошли, пошли...

Он потянул на себя носилки и они пропрыгали по земле. Офицер бормотнул, часто повторяя скрипящее «р-р-р». Сашка потянулся за Колькой, зажимая в руках корявые ручки. Прямо в него смотрели черные японские глаза. И погружались в него все глубже и глубже. Так, что он начинал ощущать их где-то во внутренностях своих, и начинал бояться, что больше никогда ему избавиться от них не придется. И тут было нечто от часто вспоминающегося воробья...

У луны взгляд мертвеца, просыпающегося в могиле. Он глядит широкими глазницами, и вдруг понимает, что и после смерти есть жизнь, и что бояться, оказывается, нечего. Это его радует. Но это печалит тех, к кому придет он, накутив своей могилой. Так всегда: радость будет за чужой счет. Радость одних — страхом других.

Итти за луной особенно трудно. Она — ползущая по небу — не боится глубин. Ей, луне не падать. Падать тому, кто соблазнился о

ней. И вот она улиткой перекроет пропасть, а ты летишь. Гляди себе под ноги, и всё равно ничего не увидишь там. Потому и смотришься в ровную серебряную полосу, что постоянно поднимается вверх. И вдруг — рухнешь... Пропasti в горах такие: не слышно, как разбивается внизу оборвавшийся камень. Что же с человеком будет?

За каждым поворотом невесомой, невидимой тропинки, перекинутой через гору воздушным мостом, всегда вдруг, всегда неожиданно, открывался провал. Внизу чернела пропасть, и слышался глухой рев. Какие-то чудовища ожидали жертву. Колька отшатывался от пропасти и жутью взблескивали его глаза. И он сочно матерился, обходя дыру в земле. Сашка, позади, не удержавшись, часто падал на колени. Вторил колькиной рутани.

Они шли. Неизвестно куда. Неизвестно зачем. Они поднимались на какую-то вершину. И колька один знал зачем, знал куда, и знал почему. А, может быть, и он лишь догадывался.

Где-то, на полпути их встретил орел. Он сидел, нахмурившись. Он был похож на «охраняющего входы», на замыкающего пути. Он не желал сдвинуться с дороги, хотя без этого путники не могли пройти. И они глядели друг на друга такими разными глазами, — орел пытался испугать людей, а люди старались его не бояться. Колька выстрелил, но промахнулся. Орел взмахнул крыльями и тяжело поднялся над скалой, а внизу загудело еще глуше и еще сильнее. Видимо, и внизу выстрел всполошил кого-то: если не ранил, то во всяком случае, поднял. Орел успел еще что-то прокричать им, отлетая. Они не разобрали что. А через секунду его уже не было, и им открылся выход на самую верхнюю площадку горы.

Посредине площадки мерцали в лунном поясе развалины храма. Одной стены не хватало, в нескольких местах крыша висела содранной кожей. Рядом, вытянувшимся в небо пальцем, торчала пагода.

Храм был совершенно открытым и почти с любой точки площадки виден был огромный Бог, вставший на высокий пьедестал. Он глядел немигающими глазами, рукой раздвигал густую поросль своей бороды. Он глядел и не мог насытить зрения. У него было бронзовое лицо — из дерева, бесстрастное, неживое. Это был мертвый Бог. Может быть, он и сотворил когда-то мир, но явно давно уже перестал вмешиваться в его дела, однажды решив, что «все равно ни к чему это».

— Это что?.. — Сашка не успел кончить. Что-то хрустнуло, щелкнуло, что-то обломилось и Сашка рухнул на землю. Одна из ручек надломилась в его руке. Японец вывалился из носилок и катился по площадке, — все ближе и ближе к пропасти, к открытому, темному провалу... Сашка не успел, Колька нырнул первый, руками поймал за ноги и потянул офицера назад.

Японец лежал около храма, а над ним, поднимаясь высоко, и гордо, стоял китайский Бог.

— Монастырь, — почему-то шепотом ответил Колька.

— А-а!.. — Сашка недоуменно оглянул товарища и заговорил так же спокойно, как говорил раньше, когда вокруг не было ничего, кроме голых скал.

— Значит, китайские попы жили... Здорово!

Глаза его вспыхнули восторгом: ишь, куда забрались! Загоняли их, небось!

У подножья Бога — массивный жертвенник. Чан со священным пеплом, красные, полуобгорелые свечи, ровным квадратом — пампушки: четыре по сторонам и одна сверху, плотно придавив остальные. Приношение Богу! Богу, не нуждающемуся ни в чем. Но от кого? Колька метнулся к одному из столбов храма, оттуда прыгнул к обрыву. Колька взглядом своим хотел бы и самую землю пробуравить и увидеть, что там, на обратной ее стороне. Никого не было, ничего не было. Только луна красила горы в цвет кладбища и было в ней что-то надуманное, нечеловечье.

— Давай, жри!

Колька позвал Сашку, и оба потянули руки к жертвеннику — оба вместе, разом. Они разделили: пять пампушек на три человека. Сколько дней жизни было в этих пяти пампушках, даже если разделить их на трех человек! Сколько в них, не только физического тепла, но и надежды, но и веры, но и ласки какой-то.

Лицо Бога осталось бесчувственным лицом идола. Богу было всё равно. Он глядел, как три человека доедали ненужные ему пампушки, и даже не усмехнулся. Ему было безразлично. Бог устал уже от глупости людей, от жадности их, от их беспокорства. Он не раз уже пожалел: для чего понадобилось мне создавать их. Но он Бог, и менять раз сделанное ему не к лицу, поэтому он молчал. И еще: очень хотелось бы ему умереть, перестать быть, но Богу нельзя умирать... Бог замер в деревянном изваянии, и старался не видеть мира, однажды созданного, скоро проклятого...

Тишина царствовала. Ее никто не выбирал. Она сама себя выбрала. Сама села на трон, сама сказала: повинуйтесь. И как-то невольно признали её все. Даже Сашка понизил голос и уже чуть не шептал. Тогда и раздались первые слова, обрушившиеся на их головы лавиной:

— Кто съел пампушки? Вы съели пампушки?..

Его не было видно. Он стоял, облокотившись о подножие Бога, упершись в него плечом. Сверху покрывала его мрачная, деревянная статуя. Вокруг него, скрывающим покровом, шевелилась тьма. Затем неожиданно — луч луны упал на его лицо. Им показалось было, что Бог спустился и заговорил. Такое же бронзовое, такое же бесстрастное лицо. Он был такой же мертвый, как и Бог, которому служил.

Он пошел к ним. Шел очень медленно, — вокруг ног его завивалась пятнистая, рыжая мантия; по ней рассыпались сверкающие блестки огня. Он придерживал мантию руками и шел медленно, плыл по невидной земле.

Подошел, присел на корточки, сказал:

— За пампушки придется заплатить!

Колька фыркнул:

— А если нет?

— Надо за пампушки заплатить, — бесстрастно повторил он.

Сашка волновался. Очень хотелось ему знать: кто такой? Чего хочет он? Очень хотелось Сашке точно выяснить: это ли китайский

поп? Правда ли, что все они такие? И, скажем, что они делают, когда соберутся вместе и каждый — такой же вот рыжий. Ответа он, однако, не получил.

Колька вытянул из кармана пачку бумажек, снял одну, верхнюю, протянул ее монаху.

— Довольно? — спросил он.

— Мало.

Монах широко раскрыл рот и улыбнулся пнилыми зубами. Пахнуло крематорием.

— Мало, — сказал монах. — Там было семь пампушек...

Колька улыбнулся.

— Пять!

— Семь, семь, — спокойно, без признака чувства, настаивал монах. — Надо платить. Считать некогда... — тянул свою костлявую руку, и она не дрогнула.

— Ну, жри!

Колька втиснул ему в ладонь еще одну бумажку, и тоже широко улыбнулся.

Монах скрылся. Стояла тишина. Сашка пытался еще расспрашивать, но ему никто не ответил; Сашка замолчал. Потом монах появился вновь. В его руках был каганок с рисом. Он поставил каганок перед друзьями, присел на корточки и сказал:

— Надо платить.

Опять воспользовалась бумажка из колькиного кармана. Колька сказал:

— Жадный ты какой. Таких монахов я еще не видел...

— Верно, жадный... — тяжело вздохнул монах. — Такой я есть. Наверное, плохо мне будет за это... — Но потом улыбнулся еще шире, и еще сильнее дохнуло зябким. — Однако, Бог... — сказал монах... — Бога кормить надо, — развел руками. — И нечем. Никто не приходит. Значит, сам давай. А сам — откуда? Здесь и деревень-то поблизости нету. Все разграбили желтые. Пойду в деревню, через неделю только назад приду...

Жадно доедали рис. Приполз и японец. Бросая на монаха суровые взгляды, сдвигая брови, также жадно макал палочки в каганок. Монах продолжал улыбаться: ни доброй, ни злой улыбки. Он был просто очень доволен. Он получил деньги, и вот, кроме того, он еще и смотрел: разве можно большего требовать от Бога, который даже смотреть не хочет?

На дне каганка осталась прожженная тусклая корка. Монах взгромоздился на себя каганок и поплелся куда-то за Бога. Вернувшись, показал: каганок был полон кипящим, булькающим кипятком. Смешавшись с темной коркой, кипяток потемнел.

— Чай, — сказал монах. — Будем пить чай...

Из своего мешочка вытянул две чашечки; долго колебался, кому дать. И, все же, принял решение: одну чашечку дал Кольке, другую протянул японцу. Сашке низко поклонился и пробормотал извинения.

— Я тоже хочу! — Сашка потянул руку, ничего не получил, и насутился.

— Петуха продашь? — мелко засмеявшись, спросил Колька.

— Петуха? Петуха нельзя продавать. Петух не мой. Его петух, — монах мотнул головой в сторону Бога.

— А пампушки?

— Пампушки мертвые, петух живой. Петух его — раб его... — Монах говорил быстро, словно стремясь предотвратить новый колькин вопрос. — Плохой петух, — уныло сказал он. — Совсем плохой петух. Поет вечером. Слепой — не разбирает, когда утро, когда вечер. И поет, горланит. Два раза кричит: на рассвете и потом, когда солнце заходит. Люди путаются, а он кричит. Через него Бог разговаривает. Наверно, он говорит: теперь больше нет уже ни утра, ни вечера. Теперь уже всегда темно...

Колька громко рассмеялся:

— Вреш. Петух всегда знает, когда утро. Так он сделан, петух!

— Это другой петух...

Монах не рассердился. Показалось, он был даже рад: люди смеются, — это же хорошо, если они смеются!.. Что? Они недовольны? Они просто не понимают законов Матери-Жизни... Они хотят возражать? — Закрой свои уста и молчи, когда говорит глупец. Разве можно переспорить того, кто не умеет скрывать чувств своих?

— Это другой петух, внушительно повторил монах.

Помолчали. В молчание протиснулся сашкин вопрос:

— Это что, настоящий китайский поп?

— Настоящий!

— А что он звонит?

— Про петуха говорит.

Так же холодно, так же спокойно, так же бесстрастно — как лицо Бга, как лицо монаха, — было колькино лицо. Колька был дома. Этот лунный свет, эта тонкая, золотая полоска, — разве не такая же шла с ним тогда, разве не такая же еще гуще золотила золотые волосы Нины? Или эта ночь — разве не такая же ночь стояла над его окном, когда он учился ходить и, научившись, впервые выглядывал в мир? Эта тишина — но разве не привык он за эти дни и недели к тишине, и разве не стала тишина убежищем от бухающих, прохающих звуков, стремящихся по пятам? Колька нашел твердое, землю. Колька крепко поставил ноги и почувствовал: здесь можно отдохнуть. И сразу, привыкнув, захотел он забыть обо всем остальном. Что? Еще завтра? Довлеет дневи... Поймают? Неправда, не могут Кольку поймать...

— Он торопится, твой друг, — произнес монах, указав на ерзающего Сашку.

— Нет, он так...

— Торопится. Видно. Чего он торопится? Человек от своего не убежит.

— Это, смотря, какой человек. Один не убежит, а другой и как еще! Если захочет человек...

Колька сам бегал сколько уже дней, знал о чем говорит.

— Человек может хотеть только так, как дано ему. Человек не может хотеть тем, чего нет у человека.

— Как же это полу...

Монах сел поудобнее, сложив крест на крест ноги с засохшей

коростой грязи на них. Пошевелил голыми пальцами, внимательно оглядел их. Далеко в мир высунулись из под рыжей мантии худые, костлявые ноги, выпирающие острые колени. Он протянул их параллельно земле, прикрыл руками. Он давно уже не говорил и очень хотелось ему поговорить. Годами и днями копил он мудрость, неужто оставить ее в себе и дать ей засохнуть, как сохнет не влившийся в море ручей! Неужто так жаден он, что спрячет данное ему от Бога? — Нет! Китаец и русский, и немец, и турок, — всякий человек, — так дано ему от Бога (не китайца, не русского, не немца, не турка, человека «сотворил Бог по образу и подобию своему») — полученное свыше должен передать другому.

— Смотри, это же очень просто, — сказал монах. — Вот ты рождаешься... С чем ты рождаешься?.. — Он подождал ответа, ответа не было. — Рождаешься со своим характером. Верно? — ответа не было, ответил сам. — Верно?.. Твой характер творит твою судьбу. Если ты веришь людям, люди тебя обманут. Если ты не веришь людям, кто поверит тебе? Куда ты пойдешь, если останешься один? Ведь даже Бог, когда нужно ему выбирать, выбирает многих, а не одного!

— Это верно, — согласился Колька. — Однако...

— Хочешь, я тебе одну историю расскажу?..

Монах совсем опустился на землю, полуприлег. В темноте светились его глаза, разгорались все сильнее и ярче. Зуд учителяства напал на него, и не было уже от этого отбоя.

— Хочешь, я тебе одну историю расскажу.

— Нет, подожди!..

— Колька не успел ничего сказать. Побежал голос монаха и не остановить его, как не остановить поезд, летящий с горы.

— Я уже знаю, что тебе плохо будет — сказал монах. — Ты людям веришь и себе слишком даже веришь. И все очень быстро делаешь. Надо сначала долго подумать, чтобы узнать: сам виноват, другой виноват или просто этого Бог хочет... Но ты слушай...

Голос монаха — волна в море у берега. Шуршит, пенится, потом вдруг взорвется, летит в небеса, и хочет их смахнуть в море и там утопить. А дальше, рухнув, и узнав, что этого нельзя, лижет пятки берега, заискивает перед ним. Вот таким голосом, голосом волны и рассказал он древнюю повесть:

— Это было давно, давно... Тогда в моей стране война была... Все воевали со всеми и мира не знал никто. Боги отняли мир у людей, чтобы научить их миру. Я не буду говорить тебе о генералах и о провинциях, что стояли за ними. Ты все равно не поймешь. Ты же иностранец! Что знает иностранец о нашей земле, о нашей войне, о нашем мире!..

Монах улыбнулся, и это было очень странно: мягкая улыбка — маслом по деревянному лицу. Глаза его смотрели далеко или вовнутрь, в себя. Он не замечал тех, кому рассказывал, да, кажется, и о себе уже забыл.

— Один молодой человек, Ли, пришел к известному генералу и принес ему план. Этот план должен был закончить войну и дать мир всем, кто хотел мира. А тем, кто хотел войны, он дал бы смерть. У

генерала была армия, у молодого человека только план. И генерал не захотел менять армию на план, а войну на мир. Он сам хотел войны. Тем более, что Ли и обошелся с ним не очень вежливо.

Несколько слуг стояло вокруг кресла генерала, трое девушек отмахивало от него мух. Генерал был очень важным; когда Ли пришел к нему, генерал даже не предложил ему сесть. «Может быть, вы мне предложите!», — спросил его Ли. И генерал, растерявшись, действительно предложил. Он никогда не видел еще таких, как Ли... И все же он отказал, хотя, из вежливости, и оставил план у себя.

Ли лежал у себя в каморке и думал: я не могу спасти свой народ. Может быть, другой это сможет, а я уже больше не смогу. Тогда и прибежала к нему одна из служанок генерала, девушка, отгонявшая мух. Она постучалась в его дверь и вошла — красавицей, духом иного мира. Но Ли знал, что она жива. На лице ее сияла молодая луна, брови ее изгибались арками мостов, повисали над незамутненными озерами глаз. Она сказала: «Пусть мне будет стыдно. Я не боюсь. Таких, как ты, больше нет. Я увидела тебя и сердце мое остановилось. Я ясно почувствовала это. Образ матери померк в моих глазах, когда я поглядела на тебя. Что мне мать и что мне отец? Ты мне и мать и отец, и суженый, и любовник. Будь моим мужем. Я хочу тебя».

Разве не был доволен Ли?..

Просияло лицо монаха и он повернул его к Кольке. Луна прошла световыми тенями по скулам его и все лицо приобрело волчий оттенок.

— Какой человек не был бы рад на месте Ли? — повторил он.

«Ли сказал ей: «Но ведь тебя будут искать. Уже и теперь, наверно, слуги генерала рыскают по городу...»

И она ответила: «Конечно, милый, любовь моя, конечно, они меня ищут. Но разве ты — у которого глаза, как луны, и солнечный взгляд, неужели ты не можешь увести меня и скрыть?»

Они бежали вместе, и вместе направились в Тьююань. Так Ли нашел себе жену, и она осталась с ним до смерти.

По дороге они остановились переночевать в гостинице. Ли чистил коня, жена его расчесывала свои длинные, спускавшиеся до колен, волосы; к гостинице подъехал неизвестный. Он был огромного роста, у него были глаза, убивающие птиц, сабля на боку его поражала величиной своей.

«Ты здесь хозяин?» — спросил он Ли.

«Нет, почтенный, я здесь такой же гость, как и ты» — ответил Ли, взглядывая на гостя снизу вверх. «Но если чашка горячего варева будет тебе приятна с дороги, она твоя».

Они познакомились. Никогда не удалось Ли узнать имени незнакомца. По курчавой бороде, украшавшей его грудь, стал он называть его Курчавой Бородой.

«Куда направляешься ты сейчас?» — спросил его Курчавая Борода, когда Ли рассказал ему историю своей свадьбы.

«Я иду в Тайюань. Есть у меня там приятель, Вейчин. Он служит молодому человеку не очень знатного рода. Но Вейчин уверен, что молодой человек — настоящий Дракон».

Лицо незнакомца слегка побледнело.

«Ты уверен, что он... и есть настоящий... Дракон?» — несколько запнувшись переспросил он.

«Я, конечно, не могу быть уверен, но мне кажется, что да».

«Можешь показать мне его?»

Они сговорились, что Ли заберет с собой Курчавую Бороду и познакомит с тем, кого он называл Драконом.

Они вместе приехали в Тайюань. Вейчин сразу согласился познакомиться Курчавую Бороду, и повел его к дому Дракона. Они вошли в переднюю, ожидали там недолго. Вскоре к ним вышел молодой человек. Он разговаривал очень вежливо. Предложил сесть. Расспрашивал о прошлом и о планах на будущее. Так же вежливо простился он с ними и пригласил заходить опять.

Они вышли на улицу. Курчавая Борода был совсем иным человеком. Плечи его опали, как листья опадают в осень. Глаза его стали тусклыми, он не знал, что делать со своими бесполезными руками. Он складывал их у себя на груди и, вдруг, озлившись, снова бросал их вдоль тела. Но он еще не сдавался.

«У меня есть друг» — сказал Курчавая Борода. — «Он — таоистский монах. Всю свою жизнь изучал он характеры людей. Я верю ему больше, чем верю самому себе. Пусть он посмотрит и скажет. Если...»

Он не договорил, оборвав слова свои молчанием, но они поняли.

Месяц прошел до того дня, когда Курчавая Борода вновь появился в Тайюне. На ослике, которого вел он с собой, сидел монах. Курчавая Борода привез монаха к домику Дракона, и послал за Вейчином.

Дракон вышел к ним. Вейчин усадил монаха играть с ним в шахматы, а сам тихо разговаривал с Курчавой Бородой, пытаясь его занять. Но Курчавую Бороду занять было нельзя: посинело лицо его, как лицо утопленника, он тяжело дышал. И ничего не отвечал на все вежливые вопросы Вейчина. Решалась судьба Курчавой Бороды.

На улице сказал Курчавой Бороде монах: «Тебе нечего делать здесь. Это настоящий дракон».

Впервые позвал Курчавая Борода Ли в гости. Огромный и роскошный дворец открылся тогда взору Ли. Множество дверей раскрыто перед ним множество слуг, и каждая новая была богаче, роскошнее предыдущей. Они остановились в самой последней зале.

Курчавая Борода сделал знак. Слуги начали сносить драгоценности и складывать их к ногам хозяина. Серебро и золото, блестящие камни и дорогие одежды, все это сыпалось и сыпалось, и Ли не знал уже, на что смотреть. И показал ему на все это Курчавая Борода и сказал:

«Много лет копил я — нанять себе армию и занять трон Дракона. Теперь мне это не нужно. Возьми всё, что здесь есть, найми себе армию и верно служи Дракону. Ты посадишь его на трон, и он сделает тебя правой рукой своей. Прощай, Ли».

«Что же будет с тобой?» — испуганно спросил его Ли.

«Со мной?...» — Курчавая Борода загадочно улыбнулся. — «Что будет со мной...»

В этот вечер они провожали его. Он сидел на коне. У него не было

ничего, кроме сабли, висящей на боку, но зато сабля эта всякого поражала своими размерами. Позади, на ослике, махающем ушами, следовала его жена.

«Прощай!» — сказал он Ли. — «Когда услышишь ты, что соседнее царство завоевано неизвестным царем, ты будешь знать, кто это сделал...»

Прошло много лет. Ли нанял себе армию и прославил себя победами. В те дни, когда шли они от постиницы, где встретились, до Тайюаня, Курчава Борода давал ему уроки тактики и стратегии. Он рассказывал ему, как побеждать с малыми силами многих, как бить генералов, которых ранее никто не бил.

Ли стал правой рукой императора, как предсказал ему Курчава Борода. Не раз вспоминал он своего учителя, и делал возлияния в его память. Но однажды прискакал гонец из соседнего царства и сообщил, что царство это завоевано неведомым царем. И сказал Ли своей жене: «Ты знаешь, кто это?» И она ответила: — Да!»

Попросила жена Ли: «Пойдем к императору, пусть он даст награду Курчавай Бороде, который завоевал новое царство для Китая».

«Нет, — ответил Ли. — Нужно оставить его в мире. Он один, и он хочет всегда быть один. Он должен быть царем и не знать царей над собой».

Они вышли за восточные ворота города и там, встав в открытом поле, подняли чаши с вином и выпили за здоровье Курчавай Бороды, ставшего царем в восточном царстве...

Голос монаха сразу резко переменялся. Он говорил уже нормально, будто свалившись с высот, ползая.

— Почему они встретились? — спросил монах. — Почему судьба их была одинаковой? Они были одинаковые люди, они шли одинаковой дорогой — Курчава Борода и тот, кто стал Драконом, — разве они могли не встретиться? Также одинаков был их конец. Курчава Борода был мудрым. Он знал: если здесь суждено другому, не надо плакать, надо уходить и искать дальше. Но если тебе суждено быть царем, ты будешь царем. Если тебе суждено умереть, ты умерешь...

Монах замолчал, и многозначительно поглядел на Кольку.

Луна ныряла в небо. Выныривала из под облака, но новая волна туч накрывала ее с головой. На землю неслись только брызги этой небесной игры...

5.

Монастырь. Развалины. Груда камней среди пустоты. В пустыне след человека. Как временный оазис: случайно забрел сюда человек, проводит ночь, — завтра человек уйдет, и даже камни забудут о том, что он был. Есть человек, нет человека, нет челове... Край площадки вклепаны в небо. Накрепко. Так, что, подойдя к ним, можно ступить ногой и обвалиться в облако. Такие же облака и в высоте. Они карабкаются по небу, всё выше и выше. И чем выше, тем гуще. Они сплошную закрывают то голубое, что называется небом, образуют темное нагромождение туч, готовых ежеминутно обвалиться. И обвал начинается. Капля. Еще одна. Кап-кап. Кап-кап. Негромко, почти не слыши-

но. Совсем незаметно. Но уже следующие за первыми набирают силу и становятся угрожающими. А дальше всё сильнее и сильнее... Косым, всё иссекающим ливнем ударил дождь.

Они укрылись в храме. Монах принес охапку сена, постелил её на земляном полу. И скрылся. Скрылся также таинственно и неожиданно, как появился в начале вечера. Куда он ушел, никто не знал. Лежали на сене, закинув руки за головы, глядя вверх, туда, где начинался провал крыши и проглядывало сначала голубое, а потом тугое, серое. Слушали ровное гудение дождя, слушали его всплески в лужах и его щелканье по голой земле. С гор, с полей, снизу вверх, от земли к небу тянулись ароматы. Последние ароматы умирающей на зиму земли. Гниющие травы, растения, сама земля, у которой отбиралось её плодородие... Это, наверно, был один из последних летних дождей и один из первых осенних. Потому трела еще земля от жары, но уже ждала холода, — он закует в латы её тело до новой весны.

Лежали на сене, закинув за головы руки. Над ними стоял Бог. И когда раскрывались тучи, показывая огневую молнийность, Бог едва заметно покачивался и на секунду начинал падать на людей, чтобы где-то по дороге остановиться, задержаться, — только потрогив, но угрозы своей не выполнил. Эти же молнийные всплески вырывали из темноты развалины стен и снова, гневно, швыряли их обратно, в тот же первобытный мрак.

— Что он трепался? — лениво спросил Сашка, нарушая гудение дождя.

— Кто?

— Да он, поп твой!

Колька приподнялся на локте, и молчал, рассматривая молнию, что била и била в остатки крыши. Потом сказал он:

— Он такой же мой, как и твой. А не будь его, с голодухи сдох бы...

— Ну, небось, заплатили. — Сашка усмехнулся, и тоже, облокотившись на локоть, приподнялся, та что теперь гляделки они уже прямо друг на друга, но видели только ярко горевшие чужие глаза:

— Заплатили, ведь, ему. Этак везде можно...

— Дура-а-а! Заплатили! Думаешь ему деньги твои нужны? На кой ему ляд деньги твои? Он, дура, своему Богу нового петуха купить хочет. Для себя ему ни хрена не надо. Смотри, бегаёт в город... знаешь, сколько миль!... бегаёт пампушки ему покупать. Что ты ему заплатишь за это беганье, или как?..

Сашка помолчал. Тошлько щелкающие, визжащие звуки дождя ответили...

— А дурак видно он, поп твой! — Сашка усмехнулся, подчеркивая это, «твой». — Дурак!

Мелкий смех, и опять:

— Ду-ра-ак! Таких бы дураков да побольше. Небось, тебя научит. Знаешь, что про тебя рассказывал?..

— Некоторые раздумье, и сразу:

— Да и про меня?..

— Ну, что?

— Хошь, расскажу? Мне не совсем понятно. Может, ты лучше поймешь. Все таки...

Не договорил и стал ждать ответа. Сашка молчал. Копался в чем-то около себя. Только когда вспыхнул, оттуда где был он, круглый, красный огонек, стало ясно, что он делал. Потянуло прогорклым дымом. Сашка пыхнул несколько раз и попросил:

— Ну валяй!

Огонек папиросы светился кошачьим глазом. Слышались разные шорохи. Может быть, это мыши возились где-то под полом; может быть, звала на помощь чья-то заблудшая душа; а, может быть, это тот же дождь... Ночь шла и шла. Не было от неё отбоя. Но было спокойно. Кто в такую ночь пойдет искать, ловить? Даже если и очень нужно, подождет до утра. Поэтому время тянулось исподволь, неторопливо, время никуда не тнало, не тянуло. Человек мог разлечься, вот так — на ворохе соломы. Было у него время рассказать чужую сказку, предумать собственную быль. Человек не мог не почтуть дома, жилья, там где остановился он так спокойно, где вдруг и сразу пропали тревоги его. Пусть даже только до утра. И Колькин голос был тихим — заворачивал. Не тратил много слов, говорил с толком. Правда, слова странные были, но что не было странным в эту странную ночь?

— ... И тогда они пошли за город, встали у ворот и тягнули.

— Чего?

— Тягнули говорю. Выпили.

— На что?

— Как на что? Поминки вроде. Дескать, хороший парень был.

Сашка молчал. Тянулось время. Сашка пыхтел папиросой и не знал, что говорить. А когда сказал, наконец, то сказал так:

— Врет, брат, здорово.

И удивился Колька:

— Почему врет?

— Ну уж, этого я не знаю. А только врет... Не бывает таких... людей таких не бывает. Чего ему не жилось? Харч есть. Водка есть. Баба своя, — сам, говоришь, красивая. Никто не отнимет. Чего ему переться куда-то?

— Дык он же царем быть хотел, — пояснил Колька. — А тут другой царь... — И сам задержался на этом мыслях. Даже последнее слово как-то повисло в воздухе, и стало раздражать Бога своим постоянством. — Может быть, захотелось внушить сверху: дескать, я один царь, а других царей нет. Но он не сделал этого: пусть играют люди тем, что забавляет их. Придет день, всё равно, увидят они своего царя голым. Так что же: пусть играют люди, пусть развлекаются.

— Ну и? — это Сашка. И сразу за этим — решение: — В комсомол бы его к нам. Научили бы живо... Царь не царь...

Застонал японец. Колька метнулся к нему. Поправил перевязку. С чашечкой, что оставил монах, долго стоял у порога, дожидаясь, пока капли соберутся в воду. Потом поил, и слушал у самого уха своего дребезжащее постукивание зубов о эмаль. И этот звук был, как подрагивающий голос ребенка в плотном, взрослом голосе дождя. Японец выпил, отвалился от чашки, полу-открытыми глазами разглядел Сашку,

что-то крикнул ему и повалился на землю. Но еще падая, успел, заметить высокого Бога и бросить ему ругательные слова. Бог брезгливо поднял кверху рисованные глаза. И ничего не ответил. Японец, закрывшись в шинель, задремал. Снова потянулся тугой шум воды за невидными стенами. Колька вернулся.

Сашка лежал на боку, подперев голову рукой. Он глядел прямо туда, где кончались стены и начиналось то, для чего построен был храм, то, с чем он смыкался в каком-то незаметном пространстве. Сидел Сашка что-то разглядеть сквозь время и то пространство, куда бросила его судьба нынешним вечером. Но оттуда не донеслось до него ни единого голоса. Никто не давал ответа. Каждый должен был ответить самостоятельно, для себя.

— Я бы не уехал — сказал он тихо. — Я бы никуда не уехал. Я бы и Дракона твоего к... матери послал бы. Ну его к шутам. Пуцай каждый сам за себя воюет.

— Неизвестно еще: послал — не послал бы, — отозвался Колька.

— Послал, послал... И драться ни с кем не стал бы.

— А если он друг тебе?

— Ну и што, что друг? Пуцай в драку не лезет.

Но внезапно сашкино лицо просияло, широко растворились глаза, будто видел он что-то, что другому не мог показать. Да и сам видел туманные очертания лишь, только формы, — внутреннее же, главное же, скрыто еще и для него.

— Знаю, — воскликнул он. — Знаю. Я и сам такого знаю одного. Ваську Рыжего. Я тогда шесть месяцев сидел. И он с нами был. Они его прикладами. А он усмехается, сплюнет сквозь зубы: — я, грит, не работал, не работаю, и работать не буду. Пуцай, грит, на вас Сталин работает. Туды ему и дорога. Во!

Полыхал на сашкином лице восторг. Теперь, когда нашлось нечто подобное совсем рядом, в той жизни, которую и он жил, всё это предстало перед ним совсем в ином виде, будто увиделось с новой стороны. И все не могла покинуть его новая мысль, открывшаяся ему в корявом облачении колькиных слов.

— Растерляли его, — добваил Сашка.

А дождь всё ревел и ревел, — не было ему успокоения. И уже в сплошном, сером разливе воды начали, кажется, подтаивать горы, и потекли вниз, обрушиваясь на долину. И кто-то громко орал в темноте, захлебываясь в мутном потоке. И стали тонуть города, захлестываемые водой. А два человека, оторванные от мира, знали, что мир внизу, и что всё это их не касается. Потому спали безмятежно, прикрытые горами...

6.

Разноцветные, юркие ящерицы перебегали дорогу. Иногда останавливались, любопытные, поглядеть, но, вспугнутые слишком близкими шагами, немедленно шныряли в отверстие между камнями. Бабочки неожиданно появились у самого лица. Недолго уже оставалось им жить, и бешено доживали они последние минуты жизни. Над затянутыми тиной прудами резвились стрекозы. Поднимались вверх, от-

туда бросались вниз головой, но, не долетев до воды, снова взмывали. И были им эти прыжки с высоты безопасны. И дразнили они людей тонкой раскраской своих крыльев, их легкостью, воздушностью. И, кажется, за два таких крыла всё своё отдал бы человек. Чтобы вот так же взмыть над сонной водой. Ничего не потревожив, не нарушив ничего покоя. Полететь, кувыркнуться в воздухе. И не будет никакой заботы. В пищу пойдут червячки, и беззаботная, праздная жизнь замкнется нешироким кругом воды. Но этого нельзя. Надо идти и идти. И кто знает: сегодня — это равнина, стиснутая в крепких объятиях гор, а завтра может быть, — снова рядом облака, и можно их достать закинутой рукой.

По горным тропинкам, над самыми обвалами, или по равнинам, вдоль русла высохших рек, или за журчащими ручьями, едва поспевая за бурной водой, бегут дни. Ползут. Переваливают высоты. Падают. Поднимаются вновь. С лицом, разбитым до крови, с ободранными пальцами рук и ног. Их никто не считает. День за днем — прошли, и слава Богу! Разве так уж хорошо это, что за нынешним придет еще один? Кто сказал, что это хорошо? Прошел, и слава Богу! Закат брызнет красками на горизонт, совершится убийство дня. Кто-то, подкравшись сзади, пырнет ножом. Алое зальет небо. Загорится небо, сгорят в нем облака и тучи. Станет небо пепельным, голубым остатком большого костра. Но единственная отрада не в том, чтобы, завалившись на спину, закинув голову и отглядев миры и звезды, сказать: хорошо, Господи! а в том, чтобы опрокинувшись на бок, уткнуться лицом в жесткую землю и вдыхать ее парной аромат. И отдыхать.

Поближе к земле. К родине. Земля еси... Забываются митом стрекозы и бабочки. Даже когда скакнет на лицо резвый кузнечик, только лениво стряхнет его рука. Или ящерица пробежится по груди: и не хватит силы поднять голову и разглядеть. Что ящерица? Больше не осталось у человека для ящерицы сил. И то, что Бог создал, чтобы знал человек красоту, больше человек не замечает.

Они шли и шли. Они выходили. Они вхо... И никто больше не верил в это. Сашка забыл про расстрел, забыл про всё. Оставалось одно желание, одно, указывающее дорогу — пусть не вперед — но хоть куда-то. Надо двигаться. Нельзя останавливаться. Так, заблудившийся в снегах, знает: остановка — смерть. Надо идти, двигаться. Даже если это в никуда. Все равно! Шевелить ногами. Забыть обо всем. Каждый каждому брат. Больше нет врагов. Такое непосредственное движение, постоянное движение примирило. Даже японца принял уже Сашка в себя. И трудно было бы, верно, без него, привычного. Японца вели, забросив руки его себе за шею, и японец был — свой. Такой же свой, как всякий, кто рядом. Кто так же голоден и так же устал. У кого такие же крути перед глазами. Кто так же ждёт и знает, что ждать нечего. То, что разделили люди, голод объединил. Усталость. Общий страх. Общее: вперед! В никуда. В нику...

И Колька, как Сашка мечтал теперь только о тепле, о вареве, о печке, о чем-нибудь мясном, во что можно запустить молодые зубы. И знал, что этого не будет никогда.

Шли закаты. Небо горело, спорало, а утром на его месте оказы-

валось новое небо. Не было только новой земли. Обещанной однажды, никогда не данной. Сказано «будет новое небо и новая земля». А было только новое небо...

— Слушай!..

Колька остановился. Спокойно, уверенно, привычно, лаяли собаки. Визжали. Их не видно, но было даже слишком ясно, что они совсем рядом, где-то здесь, стоит свернуть, по тропинке...

Офицера положили на землю. И слушали собак, как иной соловьев весной слушает. Столько же было в этом романтики, надежды, неиспытанного счастья. Остановились и долго стояли, глядя вперед.

Дорога заворачивала и скрывалась в бамбуковой роще. Оттуда доносился тухловатый запах сырой земли и воздушное колебание тонких верхушек. Тропинка, протоптанная многими ногами, втягивалась в рощу. А там, за ней... Там были люди, там люди жили... Люди! Вот такие же. С такими же ногами. Но у них не болят эти ноги, не сочатся...

— Надо выходить, — сказал Колька, и сел на тропинку. — Выходить надо.

— Это верно!

Сашка тоже опустился на землю, протянув пыльные ноги. Он не стал спорить и не стал ничего предлагать. Он не говорил о том, кто пойдет и кто останется, он знал только, что из трех пойдет один. Кто пойдет? Пусть каждый от своего характера идет к своей судьбе. И, может быть, это общая судьба. Или и здесь будет обоим одно: обоим не будет судьбы. Она кончится.

— Я пойду, — устало сказал Колька. — Проверю. Мне с китайским легко будет. В крайнем случае, куплю чего-нибудь. Выпутаюсь, если что... Я даже в деревню не пойду, только на околицу.

— А с этим как?..

Больше Сашка ничего не спросил.

Колька проверял револьвер, перезаряжал его, добывал недостающие патроны. На секунду взглянул в сторону японца. Отвернулся:

— Как хочешь. С этим — как хочешь. Уговаривать не буду. Это же бесполезно.

Он пошел по тропинке, дошел до поворота в рощу. Там остановился и крикнул:

— До утра ждите. Если до утра не приду, значит... А с этим, как хочешь...

Махнул рукой, скрылся. Тянулася пустынная тропинка, втягивалась в рощу и оставалась там. Лежал на земле японец, закутанный в шинель. Мелко-мелко подрагивали верхушки бамбука. Солнце поднималось по небу всё выше и выше...

7.

На этом посту, брошенным в никуда, каждый развлекался, как мог. Один выходил на крышу и там сидел, поплеывая вниз, на сухую траву, на ксортенную землю. Обозревал горизонт. Иногда ему мерещился дымок, и он горланил от восторга. Но всё равно, ему никто

не верил, и крыша оставалась пустынной, и пустынным оставался горизонт. Другой резался в карты, считая выигрыши и проигрыши, бредя валетами во сне. Третий пил. Четвертый — и таким был Колька — крутил блюдце.

Голосами чревоуещателей зывали: «Дух, ты кто? Кто ты, дух? — Иуда Искаротский? ..»

Тепло шло от пяток кверху, растекалось по затылку. Подрагивали пальцы, взявшиеся за блюдце.

— До скольких лет я доживу, дух?

Блюдце баловалось. Кружилось по столу, прозило свалиться, бегало быстро. Останавливалось у одной цифры, медленно подкатывалось к ней и, вдруг, сорвавшись, снова несло по кругу.

— До сколько лет доживу?

Перчит в горле. Перехватывает дыхание. Разве это не азартнее карт?

Отчетливо указывая цифры, отвечает блюдце: восемь и один.

... — Нам с тобой бояться нечего. Это пущай другие боятся. А нам что? Смерти не будет. А кроме смерти, что страшно?

Колька лежит в канаве и смотрит на открывающуюся улицу, уходящую вглубь. Уже по этой первой улице видно: не деревушка, — город. Начинается, как всегда в Китае: землянки. Просто врытые в землю норы, и в них живет человек. Дальше — покосившиеся мазанки. Сторбленные старушки-домики. Но чем дальше от взгляда, тем лучше. Раскрашенные, из хорошего дерева. Даже с застекленными окнами. В пыли кружатся дети. Вперемежку с курами, гусями, поросятами. Всё это купается в одной луже, одинаково полощется, одинаково трепочет. поднимает в воздух воду и грязь. А Кольке надо ждать до вечера, до темноты. Так безопаснее.

Укутавшись в свою веру — «смерти не будет, а что страшно, кроме смерти?», — заснул. Потом проснулся: время всё также медленно ползло гусеницей по истлевшему стволу колышкиной жизни. Вот-вот оборвется. И картины, на которые сознание обычно тратит вечность, здесь мелькают секундами...

Под Хайларом. Мы ведь там стояли. Многие, также как Колька, не могут думать, разговаривая с собой. Выдумают себе собеседника, к нему обращаются, ему жалуются, ему доказывают. И чем интимнее это, то, о чём думать надо, тем труднее найти собеседника, тем тяжелее сочтется мысль, тем она труднее и болезненней. Но у Кольки такой есть. — Нина, слушай! Стояли под Хайларом. Сняли нас с этого идиотского поста и бросили под Хайлар. Что же мог сделать я, если такой приказ? Приказ выходить, приказ по коням... Вся жизнь расписана в приказах, каждый жест, каждое движение и уж, конечно, каждая судьба. Приказ «вперед», когда никакого вперед больше нет. Вперед, товарищи, нам пора возвращаться! Ну и пошли по полю.

Как ярко сверкало солнце на оружии, как резало оно глаза! А сами танки будто целое небо несли на своих пушках. Целое небо, как балахон, которым накроют в последний раз.

Танки у них, знаешь какие? Человек залезает в след.

А мы что? Мы с пашками на конях. Вперед! Сначала смутились, смялись первые ряды. А потом? Потом вот этот самый... я его уже сколько тащу! и вынесу, вынесу! Он — маленький, корявый, желтый — выскочил вперед. Взмахнул пашкой. Такой момент, такой страшный, а когда вспоминаю, до сих пор не могу не смеяться. Запел он:

Цпаири ви нац и цкармири

Сипири роная зимря...

А там подхватили. И все понесли. И понеслись. Красиво и ненужно. Наверно, всё красивое ненужно.

Просьшался. Засыпал. Просьшался. Глядел и видел: солнечные лучи роются в куче навоза. А с ними рядом — ребятня и гуси, и свиньи, и какая-то заблудшая корова. Пробежал через улицу котенок, остановился поглядеть на солнце, замечтался о чём-то, поднимает усики свои, и — о ужас! — сверху любопытная коровья морда, а рядом копыто — вот-вот наступит. С визгом летит котенок, рысцой поспекает за ним корова. Визг, рёв, там!

А Колька разговаривает с ней. Или с собой. Или с Сашкой. То, что уже было не раз и, наверно, не раз еще будет. Как будет еще эта корова и эта улица, из вчерашнего переходящая в завтра.

8.

На одном привале спросил, наконец, Сашка то, что грызло его давно:

— Что этого-то таскаешь с собой?

— Надо.

— Что так?

— Офицер мой, — пояснил Колька.

— Ну и? Приятель, что ли?

— Да нет, не то что приятель. Даже и не приятель совсем...

И Колька рассказал:

— Стояли на посту. Глушь и ничего вокруг. Потом бабу поймали. Партизанку. Все тогда на неё нацелились. Это такая, брат, красота, что плакать хочется. И лет ей всего восемнадцать. А тот говорит: расстрелять. Посадили её, а ночью мы — сговорившись с ребятами — выпустили. Беги, говорим. Побежала она. Да только недалеко убежала. — Колька усмехнулся, невольно поглядел в сторону японца. Тот лежал неподвижно и сопел: не о нём говорят, будто.

— Этот стоит за углом и ждет. Так она ему в лапы и попала. С тех пор жить с ней стал. Обоих их утробить хотели мы. Понимаешь ты — партизанка, значит какая? Чистая, почти святая. А тут, живет с таким. И чего испуталась, — расстрела!

У Сашки вспрыгнули брови:

— Что ж таскаешь его? Брось и всё. Даже убивать не надо. Брось просто.

— Нельзя. — сказал Колька. — Офицер. Мой же офицер.

— Да чхать на него, что офицер он! Я б его!..

— Ну, у тебя другое...

На этом прекратился разговор. Не мог Колька сказать, не мог даже объяснить, почему таскает японца, и почему бросить его нельзя. Только нутром, кровью своей знал, до мозга знание это никогда не

дошло. Нельзя бросить потому, что — враг. Друга и врага одинаково нельзя бросить в беде. И тот и другой — кость от кости твоей, плоть от твоей плоти. Даны тебе в жизни, чтобы шел с ними до конца, и никогда от них не отрывался.

Узнал он в тот момент, когда прошли танки, дымный след оставив за собой. Еще вдалеке гудели моторы, а здесь уже было тихо и мертво. Кое-кто стонал, кое-кто пытался подняться. У всех, кто мог еще смотреть, пылало в глазах красное море. Красным было небо, краснела земля. Сочились красные лужи, растекались, заливали всё. Кое-кто пытался вставать... Кое-кто уже мог. И ползали, и шевелились, и извивались на земле не совсем еще мертвые тела, не совсем уже живые души. Колька переползал из лужи в лужу, от человека к человеку, считая на себе: всё ли на месте, можно ли встать, можно ли пойти. А этот лежал, глотая пыль. И смотрел вслед такими глазами, которые и зверя остановят.

— Чё ж ты его таскаешь?

Вспыхнуло Колькино лицо и погасло. Погасло и солнце. Тени хат стали гуще, перекрестились, легли одна на другую. Колька выполз из канавы, поднялся на ноги, потянулся онемевшим телом. Впереди был город, счастье и судьба. Что было впереди? Огни, темнота, вечер, переходящий в ночь...

9.

Только две лампы, с толстыми, салыными стеклами, освещали ханушку. И еще фонарь у входа, у широкой, просторной двери, что на ночь закрывается ставнями и станет стеной. Под фонарем старик с длинной, седой бородой (такая редкость среди китайцев!), жарит лепешки. К самому фонарю, к блестящему глазу лампочки тянется синяя струйка — дыма, аромата. В синем, в цветном пляшут бабочки, летящие на смерть. Они кружатся и кружатся, и, вдруг, зажмуриив глаза, кидаются, и слышно скрежетание разбивающихся черепов.

Только один столик занят. Все остальные пусты. По ним текут холодные тени, останавливаются и глядят на Кольку и пытаются его испутать. А Колька тянет в себя длинную лапшу, швыркает, постанывает... И тогда только складывает на стол палочки, когда тянется рука его за маленькой фарфоровой чашечкой. Зажмуриив глаза (как бабочка!), запрокинув голову, льет он в себя — быстрее бежит кровь, громче постукивает сердце. И нет больше страхов. И кажется, в только что темную комнату внесли светильник, и сразу стало ясно, что стул с растянутым на нём пиджаком — это стул с растянутым на нём пиджаком, а не привидение. Всё так хорошо. Так ласково светит фонарь. Такое милое лицо у старика. Его морщины, его такие привычные морщины: — разве не такие же морщины и у «нининой бабушки?»...

А вот, вовнутрь, в самую ханушку пошел рикша. Остановил у входа, у стены двери свою коляску, вышел прямо к фонарю. И уже наевшийся, насытившийся Колька наблюдал, как рикшу встретила хозяйка, как они стали друг против друга. Рикша долго копался у пояса. Снял его. За ним открылся кожаный бумажник; рикша расстегнул бумажник, покопался в нём, и тогда только зазвенели, наконец, по прилавку медные монеты. И долто еще, жадным, страдальческим

взором, следил рикша за тем, как монеты, его монеты скрывались в сундучке хозяйки.

Рикша потянул ко рту фарфоровую чашечку и, крикнув, выпил. Сплюнул. С сожалением поглядел в чашечку, сплюнул еще раз, теперь промче и нахальнее — не всё ли равно! Вот-вот уходить!

Хозяйка думала иначе. С опаской взглянув на Кольку, она наклонилась к рикше, протянулась к нему через прилавок, и шопотом, слышимым за сотню шагов, расплакалась:

— Опять пришли! — простонала она. — Когда сына моего брали, их не было, а нынче снова пришли. Ввалились, и пьют. Даром хотят пить. Я тут одному голову чуть бутылкой не прошибла.

Она снова бросила взгляд на Кольку, и рикша поглядел вслед за ней. Ему, видно, расхотелось уходить. А вдруг тоже платить не захочет! А вдруг драка! Так бедна событиями жизнь рикши, а тут такое зрелище и совсем дешево. Он потоптался на месте, потом, ренившись, разом выпил чашечку, и опять полез в свой кожаный бумажник. Хозяйка яростно плюнула на землю и растерла плевком. Толстое лицо её распухивала злость.

— Одни ушли, другие приходят, — заговорила она. — Всех молодых в городе забрали. Эти берут, говорят — работать, те забирают — воевать надо, говорят. Так ведь и детей не хватает. Ты им рожай, а они забирать будут. Пускай нарожают своих, и берут куда хотят — куда работать, куда воевать...

Рикша тянул и тянул из чашечки. Узкие глаза его мерцали почти невидно. Он спрятал их за густыми бровями, и только слушал. Он был рикшей, уже старым; он устал, и вся жизнь его текла теперь по сухому руслу его любопытства. Когда он бегал, он смотрел; когда собственное дыхание не мешало, он слушал. Только раз, чтобы не показаться совсем уже невежливым, он подтвердил:

— У тетушки Чжао тоже забрали...

И улыбнулся своей осведомленности.

Толстой, пухлой рукой хозяйка била по стойке:

— Кому он нужнее? Матери нужнее? Им нужнее? Кто на поле работать будет? Кто сено уберет? Чем я кормиться буду теперь?

Она ревела, а глаза из-под дутого локтя зорко следили за рикшей, и ждали его сочувствия.

Колька, пошатываясь, подошел к стойке...

...Колька шел по улице. Шатался. Каждый фонарь раскланивался перед ним, доставая косящим глазом до мостовой. Колька каждому отвечал поклоном. И еще приговаривал что-то вежливое, чуть ли не извинялся. Туманом застелило мир. Всё стало неясным, неопределенным. Но зато совершенно пропала тоска, но зато не было страха. И шел он совсем свободно, не ожидая что может его кто-нибудь остановить. Вспоминал: как говорил мне «восемьдесят один», так и будет — восемьдесят один!

Улицы были пусты. Вначале Колька всё ждал, что появится перед ним кто-нибудь и он, Колька, спросит дорогу. А потом вспомнил: куда дорогу? Вспомнил, что спрашивать ему нечего. И вот он шел и шел. Из улицы в улицу. Спотыкаясь.

В городе японцы.

— Наши в городе!...

Колька семялся в пустую улицу.

— Наши-и-и!

Вот выходит кто-то... вот... кто это? в форме. В какой форме? Ах, мало ли форм в наше время, когда все убивают друга, когда убийство стало профессией, ну вроде, профессии врача или педагога. Чуть ли не в гостиных спрашивают: вы кто по профессии? — И отвечают: Я-то? Нормальная у меня профессия. Убийца я.

Несутся рикши с пустыми колясками, голыми пятками хлещут мостовую. Рикши даже не пытаются зазывать пассажиров. Станными видениями они проносятся по пустым улицам, и пропадают. И Колька остается один, наедине с собственной тенью, с фонарями...

Они меня... они... ждут... Ерунда! Подождут. Ерунда! Всё ерунда. Мы победили. В городе наши.

Колька колотится в закрытые ставни, громко кричит:

— Ну ты, болван! Открывай, но-о, болван! Пи-и-ить!

Пустота. Тишина. Ставни не поднимаются. Никто не отвечает. Город вымер, вымерли дома.

И оглянувшись вокруг, Колька видит, что он уже снова там же, на том же месте, откуда начал. Ну да, вот тут под фонарем жарил свою лапшу старик, тут прямо напортив он сам сидел за столиком. Колька подходит и видит закрытые ставни, и эти закрытые ставни, вдруг, вызывают в нём ярость. Он стучит в них кулаками и ногой.

— Открывай, но! От-кры-ва-ай!

Пустота. Тишина.

— Открывай, говорю. Чего закрылась? Наши в городе. На-ши-и!

Неожиданно, сверху, с невидного неба что-то льется, и обливает Кольку, и чей-то голос из облаков:

— Цу ба! Пошёл!

Колька ушел недалеко. И квартала не отошел от того места, где внезапно окатили его водой.

Вдоль стены редкими цепочками — проститутки. В обреченном городе они одни не теряют спокойствия, они одни не прекращают нормальной жизни. Они даже довольны. К ним придут победители, искать награды.

Толстые и худые, маленькие и большие. С таинственно мерцающими глазами, с подведенными губами. Выпирающие из под халатов груди. Руки, тянущиеся к рукам:

— Лай лай! Иди сюда! Ну иди же, чего ты боишься? Разве мы так страшны? Почему ты боишься маленьких, слабых женщин, девочек? Разве мы так страшны?

— Не хочу, не хочу, не хочу!

Падают фонари, кланяются в ноги. Уйти, уйти. Но почему, зачем? Разе есть такой закон, что был бы настолько жесток, и говорил бы закон, что усталому человеку нельзя отдохнуть, что усталый человек должен свалиться на улицах города, на улицах людного города... И увидеть, как закатываются, как потибают глаза фонарей, как звезды, вспыхнув, погасают, чтобы не зажечься больше никогда; неужели есть

такой закон? Нина, где ты? Неужели и ты можешь быть такой жестокой! Я не хочу, но я должен, я не хочу, но я...

— Иди к нам, иди. Солдату нужно отдохнуть. Солдату нужно...

У старухи лицо — печеное яблоко. Греховные огни горят в глазах, но лучше эти греховные огни, чем погасшая лава, чем погибшая душа... Когтистыми пальцами старуха ухватила за рукав:

— Иди к нам. Всё равно не найдешь лучше. Во всем городе нет лучше девочек, чем у нас. Посмотри...

Она зажигала спичку за спичкой. Каждая вспышка вырывала из темноты накрашенное лицо, узкие тонкие губы, вздернутые брови...

— Посмотри, посмотри... Здесь моя внучка. Свою собственную внучку я тебе отдам. Она будет мягкая, она будет греть...

Последняя колыбельная мысль была: до восьмидесяти-то лет, наверное, успею расплатиться. И, улыбаясь, он полетел вниз...

...Широкая кровать под балдахином. Грязная тряпка наверху глядит прямо в лицо. А если глаза скосить чуть вбок, то встанет перед ними стена, а на ней раздавленные трупы клопов. Будто прошелся по стене итрушечный локомотив и подавил всё, попавшееся на пути. Тусклая вонь полнит комнату. В углу параша с откинутой крышкой. Тонкая стенка, сквозь стенку чужие голоса и чужое приглушенное дыхание. Кто-то пытается справиться с собой, но — как человек — не может...

Узкое тело рядом. Как вода, в которую надо войти. Так много обещания, ласки, тепла, забывтья, и так много страха. А вдруг!.. Вдруг расступится вода и навсегда сомкнется над головой. Вдруг то, вдруг другое — потому и медлит человек. Узкие бедра с выпирающими костями, смешные, детские груди. Тело с куриными пупырышками — замерзшее, изголодавшееся по ласке. Такое тело не так бы надо любить. Совсем бы иначе любить такое тело. С такими глазами, с такими бровями, с таким взглядом. Такой взгляд бывает только у искренне невинных, у незнающих греха.

Она не боится чужих прикосновений, она их не знает. Ну — хочешь — возьми. И не всё ли равно. Также доверчиво ребенок дает руку чужому дяде. Думаете, он знает, для чего нужна дяде эта рука?

— Сколько тебе лет?

— Мне? Мне шестнадцать!

Шестнадцать... А Нина? Как будто это имеет что-то общее, что-то, что связывает эти глупые шестнадцать с Ниной. Да и при чём тут Нина? Неужели она не поймет? Не оправдает? Не простит? И нужно ли здесь прощение?

Ей страшно, мне тоже страшно. Вот мы пришли сюда вместе, и хотим друг друга согреть. Пусть каждый отдаст другому часть самого себя. И собственного тела, потому что душа в теле, как тепло в огне. Не может быть тепла там, где нет огня. И пусть, и пусть!

Он уже готов был опуститься, закрыть глаза и плыть, плыть, ощущая всякую струйку. На том берегу всё начнется сначала, но то будет на том берегу, а здесь — это здесь, и здесь это я, и я с ней...

— А тебя как зовут?..

Метнулась всем телом и легко легла на него, навалившись грудью.

— Как тебя звать?..

Всё лицо её было над самым его лицом. Он молчал, и потому она ответила за него, — что тишина была невыносима (неужели им нечего друг другу сказать? Зачем же они здесь тогда? Зачем они вместе?).

— Меня зовут Чи Юн! — сказала она.

Чи Юн. Аромат Осени. Это имя? Или просто звук? Такой, что человек иной раз услышит во сне и потом целый день или даже целую неделю, целую жизнь пытается припомнить, будто в нём и спрятана последняя тайна, та, для которой живет. Ещё дальше ушла Нина. И в ту секунду, когда ему сильно захотелось иметь её рядом, он даже не смог припомнить её лица. Что-то темное, как на непроявленной фотографической пленке, и скрылось. Нины не было. Была Чи Юн. Осень. За окном стучал дождь. Шел густой дым. Чего-то расплывающегося, умирающего, погибающего. Такого мира, — уходящего навсегда...

— А войну мы, брат, проиграли, — громко сказал Колька, и глаза его, которыми смотрел в грязный подол балдахина, были детски-удивленными.

— Ши ма? Что? ... — вспорхнули кверху ресницы, открылись глаза, но ничего не увидели, и вновь закрылись.

— Войну проиграли — подтвердил Колька.

Внезапно он повернулся к ней. Так заныло в нём и так потянуло — забыть, забыть, бросить, будто и не было никогда. Никогда не играли в войну, никогда никуда не шли, ничего не искали. И то, что есть еще двое, заблудившихся, которых нужно выводить. И эти восемьдесят один год — ведь каждый из них надо жить.

— Послушай, а я таких японцев не видала еще ... Ты странный какой-то!

Рядом с его глазами сияли, не знающие греха, глаза. Ресницы поднимались всё выше и выше — всё большее и большее открывали в ней ...

Мне не нужно твое тело — заныло, заболело в Кольке. Не нужно, понимаешь? Нужна ты мне вся, вся ты мне нужна. Такая как ты. Или другая. Нина. Чи Юн. Как ты сказала? Женщина. Он хотел поцеловать её, но ее губ уже не было у его лица. Она ловко увернулась, погрозила ему пальцем и вдруг стало её лицо совсем серьезным.

— Слушай, — зашептала она. — Слушай. Я хочу японский язык учить. Ты мне можешь словарь принести. Знаешь, укради там где-нибудь. Ты же можешь, ты солдат ...

Она сказала это, как комплимент — «солдат»! Но Колька ничего не понял.

— Что, японский? — глухо переспросил он. — Что японский? ...

Еще раз увидел он рядом с собой глаза, всё ниже и ниже, всё выше и выше ... Вчера еще вот так же смотрелся в горные провалы, вниз, в бездонность. Они уходили вглубь, далеко, далеко. И там где-то, в глубине, переставали быть глазами, переставали быть обвалами, становились ужасом, которого человек не мог перенести. Горные озера, с колыхающей водой. Горные озера, подернутые рябью. Бамбуковые рощи. Офицер. Японец. И тот, Сашка, неожиданно вышедший из лесу. И Нина. Где ты, Нина? А ты кто такая? Какая, какая? Кто? Чи Юн. Аромат Осени.

Колька приподнялся на постели. Шум ясно приближался. Для це-

лого мира это было слишком тихо, и слишком громко для одного человека. Шум поднимался по лестнице, шум колотился в дверь, шум что-то кричал по китайски.

Дверь слетела с петель. В комнату просунулось сразу несколько голов. Увидев Кольку, они испуганно скрылись. Чи Юн слабо пискнула и потянула к себе одеяло. Дрожала голова её, мелко прыгала нижняя губа. Глаза её стали широкими, широкими, и становились всё шире и шире.

— Стой! Куда вы? — стыд и страх. Высокий, по меньшей мере, до потолка волной — стыд и за ним, наплывал, — страх. — Да как же это можно? Да что же это такое?

Колька судорожно водил перед собой револьвером. Револьвер прыгал, дрожали руки, обиженно, по-детски дергался колькин рот. — Как же... это? — А потом вопль снизу, с лестницы, и ни единого звука из побелевших колькиных губ.

Знакомый голос, где-то слышанный. Но где? Где слышан был этот голос? Как он громок. Как много он стал вдруг означать в жизни, которая раньше его и не знала. Да, ведь, он мог сюда и не прийти, он мог прийти в другую деревню — разница всего в десять километров; километры исчисляются даже единицами, а не десятками. Тогда её не было бы, ничего не было бы. Он спокойно доспал бы до утра, и ушел. И всё бы кончилось.

Револьвер неожиданно выстрелил... Толпа испуганно шарахнулась, кто-то с криком покатился по лестнице. А снизу всё несло и несло.

— Вот такие же... бандиты. Только одеты иначе. Пришли, говорят... да... И сына забрали. Забрали: а-а-а! А этот пришел, и спрашивает, и выспрашивает. В форме, а лицо белое, крашеное лицо. А потом ночью тоже пришел и кричит: давай, кричит, другого сына, давай другого сына. А у меня нету, не-е-ту-у! другого! сына!

Колька спускался по лестнице; впереди него, дрожа, спускался револьвер. Однажды он уже выстрелил, а сейчас его утоваривали снизу. Снизу, оттуда, где виднелось несколько форменных фуражек, утоваривали:

— Всё выяснится. Не надо стрелять. Всё в порядке. Всё хорошо. Не надо стрелять. Револьвер сюда... надо.

Колькина нога провалилась сквозь трухлявую половицу. Он яростно потянул её вверх, поцарапал. Еще он тянул на себя свои штаны и пытался их надеть. Он не замечал, как это смешно и как это страшно. Он только думал: А как же насчет восьмидесяти одного? Как же это, а?... — думал Колька. Еще он пытался просить:

— Я же валл. Я же с вами. Такой же...

И прыгающей рукой тыкал себя в грудь, указывая на свою форму.

— Да, да, конечно, — соглашались внизу, — только револьвер...

В припадке отчаянного страха Колька револьвер опустил. На секунду стало совсем тихо. Откуда-то, сзади, чудом каким-то попавшая туда, на колькину голову с треском опустилась табуретка. Это произвело первый звук, и вслед за ним бешено заревела толпа.

Колька пошатнулся. Еще мелькнуло перед глазами его, лицо этой, оставленной позади и, наверное, стало ему обидно, что последней

вспомнил он её, а не Ниңгу. Или, напротив, понял он, что она отдала ему свою последнюю ласку, и меньшим не мог бы он ее отблагодарить. А потом закатились его глаза, и сам он, переворачиваясь на ходу, ступаясь затылком о ступеньки, полетел вниз...

10.

Офицер брился. Он будто играл собственной смелостью — брился осторожно, неторопливо. Четко водил рукой, опуская её к подбородку и вновь занося над самым виском. Всё и все готовы были к уходу. Со двора доносилось галдение солдат, порой настолько громкое, что офицера тянуло выглянуть во двор и рявкнуть. Однако, он сдерживался и, подавляя в себе злость, брился еще медленнее.

Солдаты нервничали, нервничали унтер-офицеры. Им казалось это глупым. Что ж, в них что ли нет храбрости? Конечно же есть. И, конечно же, это не первая опасность в их жизни. Но зачем затягивать, зачем искушать свою и без того искушенную судьбу? И не один внутренне проклинал офицера — и этого, и вообще офицеров, созданных в наказание солдатам. Порой кое-кто высовывался из строя, пытаясь заглянуть в офицерское окно. Тогда взмахивали кулаки и нарушитель влетал в строй. И долго потом тупо ворочал глазами, утирая кровь. А унтер-офицеры чувствовали себя спокойнее и на некоторое время даже про себя переставали ругать офицера, сосредоточиваясь на солдатах.

Офицер кончал. Смахнул с лица остатки пены, старательно отбрасывая горячим полотенцем, провел по щекам пальцем. Ощущение голого, ровного было приятным, и он невольно улыбнулся. Когда он кончит, они уйдут. И враг (разведка донесла, — в десяти милях, не более, — враг!) найдет пустой, покинутый город. В городе останутся трусы, которые готовы встречать любого, был бы силен. Но торопиться не к чему. На то он офицер. Офицер не может небритым появиться перед солдатами. Ктому же, их нужно учить храбрости — много храбрости понадобится им, прежде чем они перестанут быть солдатами и офицер перестанет быть их офицером.

Он еще раз поднял бритву и посмотрел её на свет. Томно блеснуло тонкое лезвие — на секунду показалось оно леденящим лезвием катаны, занесенным для харакири. Но об этом еще рано думать...

В дверь вломился адъютант. Заикаясь, запинаясь, он закричал на офицера: — Шпиона поймали, русского шпиона поймали!..

Офицер нахмурился, отложил бритву. Он пошел на адъютанта — у него сжались губы, сжались кулаки. Офицер пошел на адъютанта и в глазах адъютанта взбесившимся зверьком забегал страх. Одна рука офицера спрятана была за его спиной, и адъютант знал — именно эта рука ударит. Так всё было привычно, испытанно. Новое только в том, что враг в десяти километрах (или уже в пяти) и то, что поймали шпиона.

— С кем говоришь? — Голос офицера был тусклым, бесчувственным. — Как с начальством говорить нужно? Как нужно говорить с твоим командиром?

— Там шпион... там во дворе...

У адъютанта дрожал и прыгал голос, а глаза его искали выхода, косясь от двери к потолку, и там застывая в немой тоске. Уйти, убежать бы, забыть бы! Неужели нельзя сейчас быть где-нибудь в другом месте, с кем-нибудь другим?

Где-то далеко, далеко, но отчетливо, ясно застрекотал пулемет. За ним ощутимой волной пронеслась тишина. Тишина напоминала о том, что наступает. Офицер забыл о том, что он хотел.

— Конь готов? — спросил он.

— Готов, готов...

— Ну хорошо...

Он подошел к зеркалу, оглядел себя с ног до головы. Всё на нём было подтянутым, чистым. И он улыбнулся отражению в зеркале. Он улыбнулся, будто хотел сказать: вот так и умирать будем! Мысль его полна была этим: возможностью смерти, неизбежностью смерти, идущей за ним по пятам. Мы проиграли войну, мы умрем. Всё. Ясно и просто. Больше ему не о чем было думать. Ах да, русский шпион... там на дворе он... поймали его...

— Приведи его сюда... — начал офицер. Затем на минуту, жестом задержал адъютанта. В той же стороне, где только что строчил пулемет, рванула граната. Мелко задрожали стекла, не скрывая своего страха. Лицо офицера побледнело. Очень заманчиво было то, что он начал, но благоразумие всё же победило. «Я еще успею показать свою храбрость. Да и кто не знает о ней!» — это мелькнуло в лице.

— Ладно. Стреляйте!... Шпиона... — приказал он.

11.

Под утро, на самом рассвете, часто, пачками стреляли в недалеком городе, иногда глухо бухала граната. Звенела труба. Даже как будто слышны были голоса. Но только, кто разберет их — чьи они, на каком языке, о чем кричат? Так похожи были голоса кричащих о помощи на те, что праздновали свою победу.

Небо полыхало зарницами. И в небе шел бой. Вспыхивали синекрасные огоньки и потасали. Волнами шли облака, закрывая звезды. Порой выныривала из под них луна и неслась, бежала куда-то, кому-то на помощь. И вдруг, прямо рядом с луной, взрыв зарницы. Отдаленный удар грома. Нет луны. Подбили. Ан есть еще. И, вынырнув, вновь несется кому-то помогать.

Затем наступил рассвет. И надо было куда-то деваться, потому что Колька не пришел, и о спасении думать не приходилось. Японец лежал в канаве, положив голову на её край. И ждал. Смотрел далеко впереди себя. И ждал! И ждал! Но тропинка оставалась пустой. Когда брызнули первые лучи игривого солнца, в городе прокричал петух. И смолк. Тогда пришла тишина. И осталась с ними. Очень скоро они испугались её. Оба враз заговорили. Японец по-своему, непонятно, невнятно, даже смешно. Часто повторяя «р-р-р». Сашка сам для себя. Глядя на японца. С ненавистью. Сбжигающим взглядом.

— Откуда ты взялся? Ну, откуда? Чего «р-р-р»? Вот смотри, хороший парень из-за тебя сгорел. А ты кому нужен? Желтый, идиотский какой-то.

— Чатто матто кудасай — Пожалуйста подождите!

Японец клал подбородок прямо на черную землю и на секунду закрывал глаза, отдыхая.

— Брошу вот тебя и уйду — прозился Сашка. — И не приду, брат, никогда. А что, думаешь, не смогу уйти? Врешь, смогу.

И никуда не уходил, хотя и знал, что Колька не вернется. За это он злился на себя. — Нюня какая-то. Идиотик. Ну что он мне? На кой он мне дьявол сдался? Уйти бы и поискать. Всё равно наши везде уже. Всё равно мы выпитрали. Кто со мной что сделать может? Выйду в деревню, скажу — рус. И отведут в штаб какой-нибудь.

— Ну, ты!..

Японец даже не поворачивался. Если и говорил что-нибудь, то всё это в воздух, скорее самому себе, также как и Сашка, уговаривая себя самого.

— Чатто матто, чатто матто!..

Время шло. Солнце забиралось всё выше и выше. В городе было совсем тихо. Уже отпирались кое-какие лавки, уже кое-кто осторожно скользил по улице, но еще стояла тишина и еще не решил город, что будет делать с ним новый хозяин. Еще, как гаремная раба, попав в новые руки, не знал, что это за руки. Сильно ли прижмут? Будут ли любить? Не задавят ли в медвежьих объятиях?

И здесь тоже было совсем тихо. Два человека в упор глядели на рощу. Там колебались высокие стебли. Ветер чуть слышно распевал, проносясь над их головами. Ветер поднимал пыль на дороге. Становилось прохладно, приятно, тепло. Клонило ко сну. Но они глядели, они ждали и ждали. И Сашка не мог уйти.

— Не было вас, желтых, — говорил он, — и мы жили спокойно. Кто вас трогал? Чего вы в драку полезли? Что, с нами воевать захотелось? Вот, как дам тебе в зубы!..

Приближался вечер. Потянулись серые тени. Солнце начало падать. Стала ощутимой тишина. И безнадежность. Зайдет солнце. И даже выстрелы не нарушат тишины, ничто её не нарушит. Она будет полновластна. Она и безнадежность ночи. Она. И два человека, не понимающие, не знающие друг друга. Как понять человека человеку? Чем понять?

Японец пополз к Сашке. Пополз, опираясь на здоровую руку. Дотянувшись до ног его, стал рыться у себя за поясом. Взымал форму, поднимал кверху желтые хлопья одежды. Оттуда вытянул револьвер. И еще один. Он протянул Сашке черную игрушку, показывая назад, в горы.

— Р-р-р!.. — что-то быстро проговорил японец.

Сашка не понял.

— Лежи ты. Ну, лежи! — пытался уговаривать он.

Офицер отчаянно мотал головой и, казалось, вот-вот подломится под ней тонкая шея и она покатится в пыль, закатывая обрывающиеся глаза — сама черная, крашенная, страшная.

Они сидели рядом. Офицер часто сердито что-то бормотал, покаявая рукой на горы. Сашка не слушал. Сашка был полон своего, необычного.

Вот, скажем, наши. Должны же быть наши где-то. Ночью была стрельба. Кто кого стрелял? Наверное, наши стреляли японцев. И придут сюда. Тогда и будет конец. И начало. Конец и начало вместе. А японец? А что японец? Не убьют же его. Возьмут в плен. И всё. Будет трудно, конечно. А мне не трудно было? В плену! Вытянул, и он вытянет.

Сашка с сомнением оглядел японца. Тот лежал, прильнув к земле, прижимая к себе револьвер. — Хотя черт его знает! — подумалось Сашке, — такой, пожалуй, и не дастся. И постарался забыть японца. Всё еще светила ему надежда: придут... наши... придут...

Он услышал голоса. И шаги.

Несколько человек шло по тропинке. Они поднимались выше и выше. И уже скоро должны были головы их вознестись над канавой. Японец сжался и весь ушел в землю. Только рука его поднималась вверх. Сашка сидел, напрягая каждый мускул в своём теле и каждый мускул своей надежды. Потом он чуть слышно окнул, и теплые слезы покатались по его щекам. Сашка сидел, по мальчишески размазывая слезы кулаками, и ему казалось, что всё кончилось. В этот момент и грянул выстрел.

Японец стрелял, целясь в знакомые фуражки с округлым козырьком.

— Да ты что! Да ты!..

Сашка сорвался с места и побежал к японцу. Снизу раздалось сразу несколько выстрелов. Огнем обожгло сашкино плечо. Он повалился вниз и, кувыркаясь, покатился на японца.

Офицер обернулся к нему. Внезапно мелькнули его белые, чистые зубы. Внезапно встала перед Сашкой его улыбка. Офицер смеялся, смеялось всё лицо. Он махал рукой и показывал на горы.

— Дура-а! там свои! — отчаянно закричал Сашка.

Тогда офицер вновь повернулся к нему и, нацелившись поверх его головы, выстрелил.

— Р-р-р! — показал он рукой. — Р-р-р! Уходи!.

В последнем усилии последнего отчаяния, Сашка вновь поднялся во весь рост. И крикнул, сложив руки трубочкой у рта:

— Не стреля-я-яй!..

Вслед за этим грянул залп. Мимо. Ни одна пуля не оцарапала Сашку, будто был он заколдованный. И только рана от первой, уже давней, жгла его плечо.

Солнце уже совсем село, и стало почти темно. И вновь бежали по небу частые зарницы, сверкали, вскрывали мягкое тело туч, прорезая их ножевыми ударами. Пахло мятой, немного потом, пахло смертью, но не той смертью, от которой несет только вонью лекарств и скукой постели, а той, что знает аромат полей, цветов, травы, земли...

Сашка пополз к японцу. Он шептал, прижимаясь к тутому телу земли-матери:

— По своим стреляете, гады! По своим! Я вам покажу, гады!...

Всё мешалось в его гологе. И уже трудно было бы ему сказать — кто свой, а кто чужой. По надежде его — были они своими, а по человечеству санкиному — самым близким и своим стал ему офицер.

— Ну, давай что ли!

Он лёг рядом с японцем, ощутив локтем своим его локоть. Он еще потеснился, давая место третьему. Это сделалось само по себе, невольно. Так Сашка привык: их трое, и каждому своё место. И в этот последний миг должны они быть все вместе.

Не целясь, Сашка выстрелил вниз...

Бад-Гомбург,

Март 1954 г.

ИЗ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Олег Ильинский

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Защевелилась мода, ожидая,
Сменен жакетом джемпер шерстяной,
И запах лужи, почек и трамвая
В смещении называется весной.
Последний снег заляпан грязью рыжей,
Апрельский воздух горек на губах,
И булькает натаявшая жижа
В трамвайных рельсах, словно в желобах.
Апрель самолюбив и неустойчив,
Неделю мокнет, день живет в тепле,
И тащится по улицам стекольщик,
Диск солнечный качая на стекле.
Сухой бульжник проглянул местами,
Широко сохнут камни мостовых;
Шкафы, диваны, этажерки ставят
На подкативший к дому грузовик.
От неба всё отсвечивает синим —
Окошки, крыши, камни мостовой;
Пыхтит, ползая к концам трамвайных линий,
Тяжелый зад машины грузовой.
Поблескивают стекла магазинов,
И от маркиз витринам веселей;
И с запахом жестянки и бензина
Смешался горький запах тополей.

* * *

Из комнаты второго этажа
Глядит окно во влажный палисадник,
Где зелень веток, солнечно дрожа,
На самый подоконник нависает.

По деревянным клеткам и жердям
Усатый плющ добрался до окошка;
И пахнет правий каплями дождя
И прелой тенью двориков заросших.

Ты сразу заблудилась в переплете
Кварталов и заборов из досок, —
Ты знала лишь сапожника напротив
Да зеленой ларек наискосок.

Но на исходе первой же недели
Ты два квартала знала наизусть,
И, продираясь в комнаты сквозь зелень,
Ударом веток говорила — «пусть»!

Сапожнику ли, зарослям плюща ли,
Просохшему ли камню мостовых
Ты, проходя, невольно сообщала
Миллионы милых черточек твоих.

Я слышал, ты уедешь этим летом,
Две комнаты подругам завещаю,
И будет мне, узнавшему об этом,
Немного жаль усатого плюща.

БИБЛИОТЕЧНАЯ ВЕСНА

Здесь книги тесно разместились,
А за окном, над полкой книг,
Смятченной влажной перспективой,
Проспект асфальтовый возник.
Отвлекаясь на момент от книги,
Гляжу с шестого этажа
На крыши, улицы, на выгиб
Канала, как на чертежах.
Отсюда виден каждый тополь,
И на ладони каждый дом,
Как в стеклышке стереоскопа,
Рельефен город за окном.
На горьких почках сгустки клея;
Бульвары, парки и сады,
Автомобили в пропиллеях
И запах сохнущей воды.
Я целый день над книгой сидя,
У скучных авторов в плену,
Скорей придумав, чем увидев,
Сквозь стекла чувствую весну.

ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАЗИН

Заглядываю в стекла тех витрин,
Что издали влекут к литературе,
Где карандаш свой дротик наострил,
И циркуль саркастически прищурен.
Сверкнет навстречу черным огоньком
Кубический флакон китайской туши,
И, кажется, разбей такой флакон,
И будет разом зимний день потушен.
Поблескивает вечное перо
Изяществом игрушечной торпеды,
Рожденное для банков и бюро,
Для фраков дипломатов и полпредов.
Раздоры с ним не кончатся добром —
Газетный босс (печати не до шуток!)
Изящно торпедировал пером.
Правительство и банк солидный рушит.
В сухой мороз жемчужно легких зим,
С притертой к стеклам пленкой из тумана
Блестит писчебумажный магазин —
Хрустальная приманка графоманов.
Непревзойденно точен наш язык:
Пищит бумага под пером пиита,
Чтоб после мыши в кипе старых книг
Бумажной пищей вдоволь были сыты.

ЛАРЕК ПЛЕТЕННЫХ СТУЛЬЕВ

Было в семьях так во время оно,
На уютно-дедовский покрой:
Папа вслух читает «Робинзона»,
А у мамы «Лорд Фаунтлерой».
В козьей шапке, на манер папахи,
Робинзон являлся. А у нас
На диване шкура росомахи,
С дырками от моли, вместо глаз.
Лампочка в зеленом абажуре,
Из фарфора попугай в кольце,
Локоть в стол уперт, и челка, жмурясь,
Виснет на внимательном лице.
Волосы читать мешают глазу,
А часы показывают — спать.
Так читалась по второму разу
«Робинзона» крупная печать.
«Робинзон» учился плести корзинны,
В детстве, у приятеля отца,

Чтоб потом, когда зима грозилась,
Мог плести корзины для овса.
Жизнь с ассоциацией столкнулась:
Робинзона я вообразил,
Заскочив в ларек плетеных стульев,
Камышевых кресел и корзин.
1955

Андрей Ермаков

* * *

Талый снег у опушки рощи
И подснежника глаз голубой.
Мне казалось — чего же проще?
Вешний ветер и мы с тобой!
Бесконечно синели дали,
Запах снежной воды, земли:
Высоко в небесах проплывали
Нашей юности корабли.
И когда, и куда причалят,
Где оставят незримый след?
В облаках журавли кричали;
Это — счастье и... двадцать лет!

ХОПЕР

Хопра голубая излучина,
Как ты от меня далека!
Недаром меня ты замучила,
Польнная горечь, тоска.

Песчаные, белые косы,
Густой краснотал у воды,
Над вербой жужжащие осы,
У брода коровьи следы.

Под кручей сияюще-белой,
На правом, крутом берегу
Пласты обнаженного мела
С разбега нырнули в реку.

Вода неподвижно застыла
И только лишь стремя рябит.
Безмолвие остро прошила
Кузнечика звонкая нить.

Да чибиса крик одинокий,
Как всплеск, над рекой прозвучит.
Да слышно — далеко, далеко,
По шляху арба проскрипит.

Сухой и пьянящей отрадой
Исходит стенная трава,
И жаждет вечерней прохлады
Пылающая голова.

А полдень звенящей жарою
Над стенью, как марево, сник:
И гонит коней к водопою.
В гвардейской фуражке старик.

Борис Нарциссов

ИЗ ЦИКЛА «ЖИЗНЬ»

2.

По всем романам нам известно,
Что в них всего важнее любовь.
И от любви на полках тесно, —
И все ж по старой теме — вновь ...

О, ты источник виришей длинных,
О, ты романов книжных ось!
Тебя мне отроком невинным,
Любовь, изведать привелось!

Нет мест опасной Аризоны:
Тому порукою Майн Рид.
Но в том повинны не бизоны,
И не индейцев мрачный вид.

Для нас в двенадцать лет опасно:
Её похитил Джим-злодей;
Зовут Жанетт; она прекрасна;
И спас — отважный Мак-Ферлей.

И это было самым лучшим
Увы, — из бывшего потом.
И вот, стучусь, как сын заблудший,
Я в детство, точно в отчий дом.

3.

Никогда так не было зелено
На дворе весной от травы,
И над серым забором расстелено
Столько пламенной синевы.

Тожe сумерки помню осенние,
И в канаве рыжела вода,
И блаженное оцепенение:
От того, как светит звезда.

Вы, конечно, сами припомните:
Если с дачи вернуться домой,
То совсем по особому в комнате
Пахло после ремонта сосной.

И такое простое, обычное
Было ярким, как сон наяву;
Это было, как чудо привычное:
Я все слышу, все слышу — живу!

Фридрих Гельдерлин

ГЕРМАНИЯ

(1801 г.)

Ясные лики богов, те, что явились в Элладе,
Вас ли мне звать в этот час, когда болит моё сердце
И накаплиются скорбью светлые реки отчизны?
Много народов сейчас в ожиданьи притихло,
Знойное небо склонилось над нами, и в полдень
Реки томятся, застыв под раскатами грома.
С неба надежда придёт, но чудится также угроза.
Нет, я пристанища больше не буду искать, как бывало
В скиниях древних богов, меня заштитивших когда-то,
Я не нарушу их снов и не стану звать их на помощь.
Ни отречения они от меня, ни мольбы не услышат.
Ибо, когда исполняется срок и алтарь опустеет,
Первым повержен бывает священник, а после кумиры.
Всё исчезает в долине теней, и дым золотистый
От погребальных огней тихо уносится к звездам.

Но из лесной глубины мы новый услышали голос, —
В небе орёл молодой летит, с востока, от Инда.
Лёгким взмахом крыла он пронёсся над снежным Парнасом,
Море потом миновал, миновал итальянские горы,
После над Альпами с криком парил он. Светились
Новые земли внизу, и вот он нашёл среди многих
Светлых Отца дочерей ту, что хранила молчанье.
Странное было у ней это безмолвье. Сердцем
Всё она знала и видела ясно очами

Тучи смертельной грозы, что над ней собирались.
Чуяло сердце, однако: не гибель идет, а спасенье,
Вестник узнал её сразу и так про неё он подумал:
«Это, конечно, она. Для таких не опасно крушение.
Твёрдою речью пора теперь испытать её силу».
Вслух он сказал ей: «О дева! Тебя мы нашли и избрали.
Знай же и ты: твой удел — тяжелое, трудное счастье».

Помню то утро её, когда в отдалении от мира
В спящих лесах, и сама опьяненная цветом весенним,
В уединении ждала, и я незаметно оставил
В дар ей созвучия слов. Иного не мог подарить я.
Вдруг посреди тишины новое слово раздалось.
Как бы сама для себя она говорила. Но реки,
Слово приняв и храня, донесли в отдалённые страны.
Дева священной земли! Дай имя всему, что ты видишь.
Пусть не останется тайным, что долго неведомо было.
Нет, целомудрия ты не нарушишь. Ты можешь
Трижды поведать о том, что небо и землю связует —
Лишь победившие хаос и смерть услышат твой голос.
Слово твое лишь для них. Но реки попрежнему льются,
Быстрым потоком одни, тихим разливом другие.
Время всё так же царит. Но близится праздник, и гости,
Голос реки разгадав, ищут дорогу к истокам.

Перевод Н. Татищева

СОЛДАТЫ

(Главы из романа)

1. ПРОВОДЫ*)

Солнце только что поднялось над садом, когда приезд сыновей встряхнул полковника. Он ждал их к ночи, и вот — прощаться. В походной форме, новенькие ремни, бинокли...

— Да - да... на три часа, только?.. — несвязно говорил он, щурясь, — догоните полк?.. Валяйте, валяйте... так-с... Да, Европа... придется повозиться... Я еще к вам подъеду!..

— Тебя еще нехватало!.. — сказал капитан. — Покурим лучше.

И когда полковник брал вертлявую папироску, у обоих подрагивали руки.

— Ну... пока самовар, в сады пройдемте.

Он обнял капитана и потянул с террасы.

— Идем, Пашуха... — захватил он и младшего. — Яблонька-то твоя, «Поручиково — любимое»... помнишь?.. — и у него пересекло голос.

Молча обнял его поручик. Насвистывал через зубы марш, поглядывал по верхушкам сада.

— Почему это — «нехватало»? — нарушил молчание полковник. — Я еще молодцом! Когда Суворову было...

— Чего — Суворову... «Пульки» свои сыграл, с одной и сейчас гуляешь... сады свои насадил, вот и посыпай песочком!

И высокий, плечистый капитан — в отца, черноусый только, — прихватил старика за плечи и покачал. Поручик шел и насвистывал.

Да ты обо мне что же...? — вскричал полковник; и не успел капитан опомниться, как полковник свалил его.

— Под Карсом, в редуте так... то-же капитана, «песочком»!..

Навалился на них поручик. И солнце играло с ними, на новых ремнях и толенищах, на розоватом полковничьем затылке...

Побывка была до поезда. Когда заложили тарантас, и слышалось от сарая ржанье, полковник опять повел сыновей в сады.

Было жарко, до духоты; Давно прогуляли поезд. На припеках трещали кузнечики, кололо глаза от блеска. От пыльных елок закраины томило смолистым жаром.

— Антошка-то разделявает! — показывал полковник. — А вот — «Поручиков-то — любимое»... помнишь, Паша?..

*) I-ый этюд: Добавление к роману.

Не узнал яблоньку поручик. Шутя посадил, а вот... какая! Сажал — загадывал: когда будешь поручиком — станет она, как эти. Он стал поручиком...

Они прикусывали деревянные еще яблоки и пускали через верхушки, в блеске. Зеленая кислота вызывала в них вольность детства. Они шутили, но в глазах их была забота: другое — ждало за садом.

Поручик, белокурый и тонкий станом, — в покойную мать-казачку, — сказал, мечтая:

— А знаешь, папа... а я ведь в отпуск хотел к Успенью, на твои яблочки! Сюрприз бы тебе привез...

— Сюрприз?! — оживленно спросил полковник, — по-детски вышло, — и отвернулся, щурясь. — Невесту, что ли?..

— Сюрприз. Эх, па-пка!..

Капитан подшиб кузнечика фуражкой, поймал за ножки и крикнул — «смирна-а!» Кузнечик зыгнулся и замер. Они смотрели.

— Ну... — остановился полковник у старой яблони, словно сюда и вел.

— Сады сажал — о вас думал. Но это не то... Теперь... один у нас сад... Россия! — сказал он поникшим голосом, и яблони застыли паутиной. — Ну, понятно. В поход... и надо, вообще... У тебя как, Степа... есть кто-нибудь? Вашего я не знаю...

— Серьезного ничего... — сказал капитан в усы.

— Если что, пусть ко мне адресуется. Понятно, если ребенок. Помер?!.. Эх, вы... Надо было... след по себе оставить! А ты, Паша?..

— Ну, что ты, папа, с глупостями! — смущенно сказал поручик.

— Мальчик, не глупости! — потянул его за ремни полковник. — Самая жизнь и есть. Но... теперь обрублено. Там — другое. Невеста у тебя, в Калуге? не связан? На войну идешь — подберись, завязки чтобы не путали. Мы — солдаты!

Сильней, чем раньше, почувствовал полковник кровную связь с ними, с мальчиками-солдатами, которые не оставляют ему следа.

— Нет, папа... — тихо сказал поручик, — не связан. Мечтали только...

Они вернулись плечо к плечу. У крыльца поджидал Аким на тарантасе, покуривал.

— Шесть сорок, товаро-пассажирский... — сказал полковник. — Всегда запаздывает. Успеете...

— Поспеем, не на свадьбу... — отозвался с ленцой Аким.

— Неводком бы теперь, Аким! — поручик заглянул под рукав. — Нет, не поспеть!..

— Лещей бы захватили! — сказал Аким. — Денек бы хоть погуляли?

— Догонять эшелон надо...

— Так точно, нельзя! — по-солдатски сказал Аким: был он ефрейтор, в годах, и сам ожидал «срока».

Оставалось самое трудное, они знали. Знал и полковник — и все оттягивал. Затем и приезжали. И вот подошло оно.

— Пройдемте... — сказал полковник.

Он привел их со света в спальню, с неоткрытыми ставнями, с не-прибранною постелью. Теплилась синяя лампадка.

Они тихо вошли, в томлении, подчиняясь всему покорно: время всему приходит. Полковник, строгий, перекрестил молча и надел каждому образок Николая Чудотворца.

— Тебе, Степан... дедовский, Севастопольский... — тихо сказал полковник, благословляя капитана. — Тебе, Павел, мой... Кавказский. Да сохранил вас... А этот — мне... — показал он на темный, в серебре, на затертом малиновом шнуручке, — давний наш, Бородинский, прадедов. Помните... вы — солдаты!..

Они знали темные образки, священную их историю. Смущенно поцеловали их и стали спешно выправлять за шею.

— А это, дети... — полковник показал на Казанскую, — покойная мать вас благославляет. Будьте... крепки!

Они перекрестились и поцеловались молча. Он ткнулся к жестким воротникам, тер и колот щетиной и с нежностью мят за плечи.

— Ну... всё.

Вышли опять на солнце. Полковник обнял обоих, объединяя собой, радуясь молодости и силе и пританной ловко походной форме.

— Матери нет... поглядела бы хоть, какие стали! Нет, лучше не... Помни, ребята: солдата береги, назад не смотри, зря голову не подставляй!.. Ну, ладно.

Уже садиться, — поручик вынул из внутреннего кармашка и показал полковнику:

— Вот... хороша?!..

— Хороша... — сказал полковник, не разглядев.

Он проводил их за край садов. Шагал, держась за крыло тарантаса, толкуя о мелочах, наказывая Акиму забрать отрубей у Куманькова... На речке помахали фуражками: не хотел в вагон провожать полковник.

Возвращаясь садами, остановился у шалаша и сел. Услыхал поезд, свисток от полустанка...

— Опаздывает... без четверти семь...

Пустыми показались ему сады. Вспомнил кузнечика... Пошел к дому. Стоял на террасе, зяблика слушал, думал.

Садилось солнце — огромным кровавым шаром.

2. МЕТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ*)

Через неделю взяли на войну садовника Михайлу, правую руку полковника. А там забрали и кучера Акима, бывшего вестового.

Полковник каждого проводил честь честью, до конца сада, и расцеловался. Подарил на дорогу по пятерке. Наказывал:

— Пиши, в какую назначат часть, как и что... Может еще и встретимся.

И тот и другой сказали в одно слово:

— С вами бы, ваше высокоблагородие, довелось!..

Стоял сентябрь. Яблоки были сняты и проданы. Сады редели. Дни

*) 2-ой этюд. Добавление к роману.

выдавались сухие, солнечные. Остался полковник с мальчишкой, да со старой Василисой. Сам кормил поросят и кур. Попиливал сушь в садах, складывал на зиму подарки, — сады прибирал с мальчишкой. К вечеру выходил на бутор — на запад. Там багрово садилось солнце. Там шумела война. К ночи долго читал газеты, радовался, ругался. Ночью ждал телеграмм...

Телеграммы пришли, — и ночью. В конце октября, в заморозки, узнал полковник, что оба сына в госпитале, ранены под Луцком и Рава-Русской, но поправляются, — «будь покоен». Оба — с боевыми отличиями — Станислав и Анна с мечами. Тому и другому полковник послал по телеграмме:

«Поздравляю, благословляю».

Выслал по сту рублей — «на яблоки» — и по ящику пастилы. Поехал в Рожново, отслужил молебен. И казалось ему, что сегодня праздник. Объехал знакомых по усадьбам, делился радостью.

Ходил на рябчиков, по можжухе, ставил в речке вентера на наливов. Радовался, что галки появились на усадьбе, — ранняя зима будет. Показывал Василисе карточки Степы и Паши, с фронта, в кругу солдат. Стучал пальцем и говорил:

— Там уж, понимаешь, как семья... солдатская! Ро-сси-ю защищают... Там уж не служба, а... как обедня!

Вздыхала Василиса. У ней тоже забрали, Гаврюшку-внука, да только и слуху нет.

— Однова всего отписал... под этим вот, под германцем, будто... при пушках ходит. А то и слухов нету...

— Это пустяки, при пушках! — говорил полковник. — При пушках убьешь невелика. А вот в пехоте нашей... мои вот где!.. На ней — все. Пехота — святое дело. Без пехоты ни шагу: на самые пушки итти должна!

— У-у-у... на пушки?!.. — вздыхала Василиса.

По первому снегу, в ноябре, пришло из под Варшавы измазанное письмо от кучера Акима. Писал Аким, что ранен в ночную вылазку, как проволоку хотел резать, — и заработал Егория. Послал ему полковник десятку на поправку. А на Николу получил телеграммы от сыновей, с фронта: «Хорошо все, здоров».

Не сиделось дома, горело сердце. По веселому снегу покатила полковник в село на саночках — размотаться. Даже к Куманькову в лавку зашел, — свежей икрой Куманьков хвалился, «донского выпуска», пригласил с порожка:

— Ва-ще Превосходительство! Икорка — прямо... недосягаемо!

— Да что икорка... — поговорить приятно.

До темной ночи мотался по дорогам, по усадьбам, — покою не находил. Хотелось ему метели: солнце со снегу глаза кололо — кровавое солнце на закате. По газетам видел: большие идут бои.

С рассветом пришла метель, на Стефана Преподобного, девятого числа, — день Ангела Капитана. Ездил полковник на полустанок, отправил телеграмму. Насилу домой добрался...

Засыпало-замело сады невиданною метелью, — столбами сыпало, вытряхивало кули небесные. Выше ворот сутроб намело с вихром. Сто-

ял полковник, в широкое окно смотрел как потонула зеленая водовозка, — одне отлобли торчат, с вершок, — свету Божьего не видать! Смотрел и думал: «там у них тоже, небось, метели»...

Пошел в темную спальню и затворился. А когда вышел, смотрит — пирог на столе стоит: упомянула старая Василиса Преподобного Стефана! Поглядел на пирог полковник, да и задумался, — и пирога не тронул. И уж затемнело, засинело в окнах, а все стегает. До ночи все тосковал, метался, прикладывался к окнам. Сыпало еще пуще.

А на утро — мороз, прочистило, ярко-ярко. И на новой, по сахарной, дорожке приехал начальник полустанка на розвальнях, привез от Степана телеграмму — «благополучно, будь покоен». Крякнул полковник, потерь лицо, встряхнулся — отмахнулся:

— Прямо ты меня... спрыснул! Метель эта, понимаешь... пуля у меня живет под сердцем... Выпьем.

Выпили с гостем «на черствого именинника», закусили пирогом вчерашним, как из печки, — морозила его Василиса и прогрела, — с куманьковской икрой, — ничего икорка! — потолковали о метели, сыграли в гусарский винт. Напраздил полковник начальника полустанка пачкой новых пластинок граммофонных:

— И оставить можешь. Только «Трубят голубые гусары» и «На смотру» верни обязательно! Игулы у тебя плохи, царпают.

В январе пришло, наконец, письмо и от садовника Михайлы: был ранен под Перемышлем, остался в строю и снова ранен — в живот «накось», но ничего, выпишут скоро на поправку. И ему послал полковник десятку.

Пришла на Сретение телеграмма от Павла: «поздравь Владимиром»! Заплакал, как прочитал, полковник. Опять места не находил. Вынул из рамочки на стене свой портрет, вставил в рамочку телеграмму, повесил. И сказать некому, а что Василиса понимает! Сказал себе, о Павле думая:

— А какой был тихой!

Взглянул на портрет покойной жены, сказал портрету:

— Ка-кой т в о й -то!...

К весне стал задумываться полковник. Стали снега сходить, стали деревья плакать, крыши капель потнали. Стали ворчать ручьи и днем, и ночью. Заиграли по зорям галки. По-весеннему мягко запахло дымом и навозом. Воробьи заточили-завозились на потеплевших тесовых крышах, по тополям, в ледяных проточинах принялись на солнышке купаться-подчищаться. И вот — зашиптели грачи за окнами, а там и скворцы примчали на скворешни, — и пошла, и пошла весна.

Стало трепать сады теплым, с дождями, ветром, пушило соломенную оутку молодняка, — в сады манило. Ходил полковник в высоких сапогах, смотрел просыпающихся и спящих, — любимые свои яблоньки — разматывал оутку.

Теплые пролили дожди, пригрело, — и стало надувать почки.

В мае стали сады цвести.

В мае неожиданно приехал старший, тоже теперь полковник, с орденами, — и без ступни.

Ахнул старый полковник, глазам не верил:

— Да ты же писал?!... Да как же... я-то не знал?!...

— А зачем тебе знать, полковник? Это еще когда!.. под Горлицей потерялось... в самый день Ангела, полковник!

— В день... Ангела?!... А как же... телеграфировал..?

— Ну... это тебе бригадный, из уважения, ну... по моей просьбе, полковник. Ну... жив остался!.. Все уже откатилось...

И вспомнил полковник метельный день, снеговые столбы и вихри, и свое метанье...

3. ЗЕРКАЛЬЦЕ*)

Вот уже скоро и год, как проводил сыновей на войну, и сколько всего случилось за это время, но полковнику особенно почему-то помнилось, как остался тогда один. Забыл и ночные телеграммы из Львова и из-под Прасныша — ранения Павла и Степана и об отличиях, ожестивших страхом, радостью; забылось и «сумасшествие», как выбежал ночью в бурю и кричал черным, пустым садам и в стегавшее ливнем небо — «молодцы мои... молодцы!» — и плакал и утирался ливнем; и Степины костыли забылись. А «провода» почему-то закрепились. В бессонные ночи думалось, и во сне приходило — повторялось, и до того живо виделось, что не скажешь, где — сон, где — явь. Стыдился себя полковник — «как старая баба, право!..» — и вспоминал — томился. Сколько прошел походов, видал смертей... и в Туркестане, со Скобелевым, и Карс штурмовал, — с пулькой турецкой ходить, — это не вспоминается. А тихий июльский вечер, с огненным солнцем в яблонях, когда затаенно слушал, как промывает поезд, выходит из головы, из сердца, — ошибка Павлика? «Пустяк, понятно...» — разбирался в себе полковник, — «естественно, волновался мальчик... вполне естественно...» Но этот «пустяк» не стерся.

Выйдет в сад полковник, порадует — полны, урожай, прямо... не запомнишь! И потянет под Пашину яблоньку, «поручиково — любимое», — на цинковый ярлычек взглянуть, с острой пометкой ножичком в день прощанья: 29.VI.1914. Глядит и думает... Надо бы «VII» пометить, июль-месяц, а он ошибся, и вышло — 29 июня, самый его день Ангела, Петров-день. Вполне естественно, что тут думать! А думалось.

Глядит полковник на ярлычек, — сияли царапины на цинке, теперь померкли, — и все-то сосет на сердце. И пойдет разворачиваться болью...

Благословлял в полутемной спальне, — приехали под утро, так и остались ставни, — надевал походные образки. А они смущенно-горючливо, словно им было стыдно, заправляли крутившиеся шнурки за ворот. Вышли на яркую террасу, жмурясь, — кололо солнцем. Он обнял их, накрепко потянул к себе, объединяя собой обоих, и сказал, зажимая боль, бодро сказал, отчетливо, радуясь молодости и силе их, и ловко прищипанной, уже походной форме: «так вот... ребятки... солдата береги, назад не гляди, зря голову не подставляй». И тут подумал — ныне уже решенное: «будет и мне там дело». Ходили в садах, возились,

*) 3-ий этюд. Добавление к роману.

чтобы унять разлуку. Проводил за сады, до речки, — на полустанок не захотел, где люди, — шагал у тарантаса. Расцеловались, помотали фуражками. Помнилось Пашино лицо... нежное, как у девушки, незагорающее никогда, — «мамочкино лицо», «свежее молочко в румянце», — влажно блеснувший взгляд, и ободряющий оклик из взметнувшейся клубом пыли: «па-па... ты не скучай-а!» Это вот — «не скучай»... «Пыль, ничего не видно, и крик за пылью...» — так и застряло в сердце.

Возвращаясь тогда садами, полковник сел у шалашика, курил и думал. Не думал, а мысли путались. Смотрел к закату, в огненный отблеск неба, в огненные просветы сада. Высвистывал зяблик в яблоньке, словно жалел с полковником — как же пусто! С полустанка свисток ответил — пу-у-сто!.. И пошел удаляющийся рокот. «Уехали...» — со вздохом сказал полковник и покрестил затихающую даль. Пустынями, нежилыми смотрели теперь сады.

Он пошел напрямик домой, и вот — стрельнуло ему в глаза огненно-вечеревшим солнцем, с красной травы стрельнуло. Он нагнулся и увидел карманное зеркальце с трещинкой на алом шелке. Вспомнил, как здесь возились, боролись с ним, — старались закрыть прощанье. Смотрел на зеркальце... — кто обронил из них? Вышито было по шелку золотцем «взглянешь — вспомнишь»; а в уголку, чуть видно, золотцем тоже — «Мила». Людмила?.. Помнилось — на труди у Паши выглядывала алая полоска... невеста в Калуге, кажется... писал недавно — «после маневров яблоки есть приеду... очень важное расскажу!» Ну, понятно. Покачал головой над зеркальцем, ласково попенял — «вечный-то растерё-ха!» — и увидел бурое, хмурое лицо в сине-седой щетине, скучные влажные глаза, глядевшие на него расстроено. Стало тусклеть, мутиться... полковник с досадой отвернулся и спрятал зеркальце. Шел, не видя, в огненно-сероватых брызгах сухих кузнечиков. Вспомнил, — в глазах осталось, — без четверти 7 указывала стрелка, когда поезд пошел от полустанка: смотрел туда, на запад. Решил отослать Паше, только вот установится отправка. И каждый день вынимал зеркальце и глядел.

Время пришло, бережно уложил, отправил. Жалко как будто стало... да зачем ему зеркальце — напоминание: сердце его — вот зеркальце!

Павлик после ему писал: «а я-то горевал!.. заветное, ведь, оно». Радовался полковник, что не разбили тогда, в возне, уцелело под сапогами, — хорошая примета. Полковник в приметы верил.

В июне видел полковник сон.

Сидит у шалашика в саду и кого-то нетерпеливо ждет. Сад вечерний, в огнистых пятнах, косое солнце. Глядит на свои часы: черная стрелка показывает четко — без четверти семь. Поезд вот-вот слышится. И уже слышит, как набегает рокот. И вдруг — за спиною шорох... сушью шуршит в шалашике. А поезд уже докатился, визгнул, дает свисток, но — важное что-то, за спиною!.. Оглядывается полковник, а из темной дыры шалашика крутятся черная змея, в серо-зеленом крапе... прыгнула на него и прокусила сердце. Вскрикнул от ужаса полковник — и проснулся. Колото сердце. Душная была ночь, в ста-

внях синело молнией. Долго не мог опомниться, в холодном поту лежал, в удушьи. Как наяву было! Нашарил спички — нет ли проклятой тут, заглянул даже под кровать. С неделю не свой ходил, даже и спать боялся. Шорохов стал путаться, змеи проклятой. А не было змей в округе.

Под Петров-день пришла телеграмма из Смоленска: ранен Павел, в госпитале, зовет. Полковник понял: если зовет — плохо. И с ночным выехал в Смоленск.

Строго вошел он в госпиталь. Ярко было на воле, жарко; а в старом госпитале с истертыми камнями — прохладно, сумрачно. В белом, отжившем, кителе чортовой кожи, с белым, забытым, крестиком за забытый Карс, твердо шагал полковник, забыв про сердце, искал офицерскую палату — 3. Долго плутал; показывали ему небрежно — туда, направо. Таилась где-то эта тяжелая палата — 3. Гулко шагал по коридорам, тяжело отбивая в мыслях влившееся крепко слово — «тяжелая палата», не понимая смысла, но чувствуя. Увидал — «3» — на стеклах, увидел грязные носилки, на которых под простыней лежало. . . — понял. Думал остановить . . . увидел твердое восковое ухо, черный вихор волос . . . — нет, другой.

Огромная палата, устроенная строем коек, вздыхала, стонала, бредила. Несли тазы, сестры держали шприцы, метались лица. В странном закутке — в ширмах — ? — в сердце полковника толкнуло — темнел священник, скорбно склонившись ухом, светя крестом. Полковник шел по рядам, выпытывая лица, не находя. Теплый и липкий воздух, налитый сладковатой прелью и лекарством, мешал полковнику, путал мысли. Спрашивала сестра — «у вас разрешение? . . .» Он не понял, шел за своим, не видя, не слушая, не отвечая, окидывая взглядом головы. Они метались, молили мучительно глазами, зубами, ртами. Кто-то кричал — ура-а-а! . . . Кто-то остановил полковника, махнувши градусником в глаза.

— Поручик Буреав Павел . . . — кому-то сказал полковник, кто его спрашивал.

— Мм. . . а, в четвертом, кажется, ряду. . . в углу, — кто-то сказал нетвердо, выкинув туда градусник.

Но он уже узнал её, белокурую голову, единственную из всех — темных, седых и светлых.

Маленькой, точно детской, и такой одинокой, жалобной — показала она полковнику. Он задохнулся от жалости и боли, не совладел с волнением. Она была вдавлена в подушку там, глубоко, в углу. Он шел подтянувшись, твердо, страпсась зацепить за койки, за желтую чью-то ногу . . . — дошел, и искал глаза — ?

— . . . Морфий . . . — шепнула сестра сзади.

Он опустился на табурет, кем-то ему подставленный, и глядел; задавив дыхание, боясь дышать.

Павлик — показалось полковнику — сладко и крепко спал. Смякшие, в блеклом налете, губы выпячивались знакомо, детски, как будто тянулись поцелуем; но что-то в них было новое . . . что-то в них было . . . — горькое удивление? . . . боль? . . . Что-то таилось в них, в тоненькой, к краю, складке, в плёночке утоллка, где муха. Полковник спугнул

мужу движением пальца, но она села на щеку, и он не решался больше. Незагоравшее нигде лицо, ставшее маленьким, было теперь лимонного цвета с отблеском, словно натерто воском. Полковник с болью подумал — желчь?!.. Видел подавшиеся виски, с влипшими волосками, темные брови, кинутые враскось, родные, завалившиеся под лоб глаза, обведенные черной тенью, плотно прижатые ресницы, в капельках... Понял, что пот это на лице — не отблеск. «Морфий — осталось в уме полковника странным страшным звуком, внежизненным. Он повторил про себя, силясь понять его, — мо-рфий... мор...фий?... и с ужасом увидал, что задвигают его ширмами, от других, как там, — и понял, что умирает Павлик.

Он поглядел на сестру, взявшую руку Павлика, словно спросил — зачем? Она повела глазами, меряя Павлика, и шепнула полковнику, как бы в ответ на взгляд: «в живот, осколком». Он в страхе взглянул туда, в закрытое одеялом что-то, и взглядом спросил ее — «что-же?..» Она взглядом ему сказала. Он согнулся на табурете — и так сидел. Через койку — видно было в неплотную створку ширм — накрыли желтой простыней спавшего крепко капитана, спавшего — показалось полковнику, и потом понесли куда-то. А Павлик все крепко спал.

Полковник видел все ту-же, знакомую полоску — рубчик у подбородка, — в детстве разсек подкожной его жеребчик, — теперь почему-то темную. Эта полоска детства пронзила ему сердце, и он, всматриваясь в сестру, сказал: «а как же... жизнь?» Но она не ответила. Он согнулся совсем на табурете, спрашивал руку Павлика, серое одеяло, на котором сидели мухи: «а как же... жизнь?» Недавно было... когда жеребчик?... Да как же... ж и з н ь ? ! ..

Полковник не мог осмыслить. Недавно все было ясно: родина, долг, присяга, честь, доблесть, надо, жизнь требует, жизнь велит. Жизнь... Ну, а жизнь-то как же, его-то жизнь, эта вот, на подушке, с рубчиком?... Там, в садах, при прощаньи, в солнце, в пригнанной ловко форме, казалось ему все ясным. Куда-то теперь расплылось, осталось там, за дрожащими ширмами. Было же только детство, вот этот рубчик... а где же — все?..

Показалось полковнику, что Павлик сейчас проснется.

Тело чуть повело, голова провалилась глубже, рука поползла по одеялу, ощупывая с дрожью: множество мелких капель, похожих на сероватый бисер, выступило на лбу, сливалось, слилось — и крупная капля слезой покатилась к глазу и замерла. Полковник услышал стон, грудь поднялась под одеялом, что-то заклокотало там... «Агония»... — сказала тихо сестра, щупая руку, словно лоя в ней что-то. Полковник слышал, понять не мог. Но понял сердцем. Он наклонился ближе, лоя дыханье.

— Па...ша?... — позвал он вздохом, — Павлик...

Уходил Павлик, но шопот отца учуял: повел губами, губами потянулся, — показалось полковнику. И сестре тоже показалось. Полковник взял утасующую руку и пожал тихо-тихо. Шопотом, из нутра, позвал:

— Пашута!... Па-ша...

Этим шопотом из нутра, голосом общей крови, вызвал полковник

сына из темного провала: чуть приоткрылись немеющие глаза из ям, и эти глаза, родные, узнал полковник. И они узнали. Сердцем это понимал полковник. И нежно, едва касаясь, пожал холодеющую руку. И его руке отозвался Павлик — чуть слышно отозвался. Сердцем это узнал полковник.

Когда все кончилось, он перекрестил усопшего и поцеловал его лоб благоговейно. Кто-то шептал ему: «успокойтесь... милый, успокойтесь...» Полковник перекрестился и твердо ответил: «я спокоен».

Он был спокоен. Не было уже никаких вопросов, — «а как же — жизнь?» Жизнь заключилась смертью.

Он похоронил сына в монастыре, поставил крест, дал денег и наказал монахиням убирать цветами. Распоряжался обдуманно и точно. Не плакал даже наедине, в доме отставного генерала, дальнего родственника, у которого остановился. Когда ехал с кладбища, вдруг вспомнил, что Павлик умер в день Ангела своего, Петра и Павла, — осветилось и потеплело в сердце. В нем осветилось...

И только глубокой ночью, разбирая оставшиеся вещи, увидев зеркальце на алом шелке, полковник дрогнул и зарыдал. Прыгало в руке зеркальце, и прыгало в нем трясущееся лицо полковника. Никто не видел. «Твердо, твердо», — приказал сам себе полковник, и зеркальце перестало прыгать. И увидел струившееся сквозь слезы золотцем, — «взглянешь — вспомнишь». На мерцающей мути зеркальца не себя увидел полковник, а сына, в жизни. Увидел все, что помнилось, а помнилось все, что было. Все увидал, услышал: от первого лепета из колыбели, до последнего оклика за пылью — «папа... ты не суча-ай!..» — последнего слова от живого. И вспомнил — и ошибку, и черную стрелку, наяву и во сне казавшую все одно, — без четверти 7, — так и скончался Павлик, — и сон, прокусивший сердце. Все осветилось в нем, все показалось не случайным, все показалось связанным: какие-то нити протянулись сюда — оттуда. Ушел, не умер, не кончился. Есть между ними Кто-то, Кто указывает сердцу, объедает все, вяжет живых и мертвых. Собою сливает их, вяжет не здешним, — тем. И укрепился духом:

«В Лоне Его мы свидимся».

Он привел в порядок оставшиеся вещи, запаковал и отослал в «Яблонево», домой. Оставил себе только зеркальце, у сердца спрятал. Оставил письма невесты и карточку, где они были сняты, и выехал в Калугу — решил передать лично. Знал — тяжело это будет, но не мог поступить иначе: так бы распорядился Папа, если бы мог распорядиться.

В день отъезда ему показали сообщение штаба, где он прочитал строчки о сводной роте, славной ее атаке, о выводе из опасного положения Н-ской дивизии, взято 9 пулеметов, четыреста пленных. Этой «сводной», — сказали ему — командовал его сын, Бураев Павел, принял ее в бою, был дважды ранен — в плечо и живот осколком, приказал солдатам нести себя в атаку, не оставил строя до конца боя. Полковник перекрестился. Думал:

«Жизнь... за других... для других. В Лоне Его мы свидимся».

КАТЯ

Они познакомились на заводе в Берлине. Стефан и Катя. Он — военнопленный, черный, высокий и непомерно худой. Катя — «остовка», небольшая, коренастая. Перед комиссией, для отправки на родину, Стефан объявил Катю своей женой. Иначе и быть не могло. Ехали с транспортом. Ехать было нудно и долго. В дороге Стефан рассказывал Кате о себе, о родном селе, об отце, сестрах, о том, как он мальчишкой бегал за овцами, ходил в школу с сумкой из домотканной шерсти, через плечо; с сумкой, в которую, кроме прифельной доски мать совала ему горячую лепешку и кусок брынзы; как он захотел учиться дальше, и отец отправил его в город... О том, как жарко сейчас в этом городе, как на базарах вздымаются горы арбузов, как вокруг арбузных гор толпится народ: выбирают арбузы, тут же держат пари — желтый или красный — взрезают, и липкая сахарная жидкость течет на мягкий от солнца асфальт. Проигравший платит и угощает арбузом выигравшего и зрителей.

— Вот увидишь, Катя, наш народ — веселый, добродушный. Он всегда готов на шутку, на острое слово. В блюда паприку так и сыпет. На храмовых праздниках за ножи хватается, потом от сердца мирится... Балканы...

Катя старалась понять Стефана, его гортанный язык, куда он вплетал русские, польские слова и тот десяток немецких (все глаголы в неопределенном наклонении: «их коммен, ду кохен»), который знали они оба.

Приехали... Стефан, уже идя с вокзала, узнавал и не узнавал родной город. Знакомые с детства улицы поражали теперь непривычной новизной: «Бульвар Красной Армии», «Улица маршала Толбухина», «Проспект Октябрьской Революции». На стенах домов и на заборах плакаты: «Записывайтесь в Народный фронт», «Смерть фашистам», «Смерть капиталистам». Смерть, смерть!.. Заколоченные досками, некогда нарядные магазины. И люди! Они больше всего поразили Стефана. Понурые и угрюмые, точно прибитые...

Недалеко от вокзала жил старый часовник. У него изучал ремесло Стефан, у него же и работал до самой мобилизации. Старик обрадовался Стефану, как сыну: обнимались, плакали... Потом, точно что-то вспомнив, старик засуетился, нырнул в большой красный буфет, вытащил из него и поставил перед Катей вазочку с уже засахарившимся вареньем (верно еще с довоенного времени бережет, подумал

Стефан), стакан с холодной водой, и ласково погладил Катю по голове. Громко (ему казалось, что чем громче, тем понятнее) старался объяснить Кате, что скоро вернется из города его старуха и приготовит ужин и комнату.

Катя не участвовала в радостной встрече. Она вдруг почувствовала себя до слез одинокой в этой чужой для нее стране. Но слова старика звучали ласково, его подслеповатые, под толстыми стеклами очков, глаза смотрели на Катю приветливо. От его сморщенной, с набухшими венами, руки, которой он гладил Катю по голове, от успокаивающего тиканья часов, развешанных по стенам маленькой комнатки, на душе стало тепло и уютно. Старик, обращаясь к Стефану, быстро заговорил:

— Ждали, терпели и всё ждали, — этим и жили. Пришли, освободили от немцев, а нам каких-то самозванцев насажали. Да, да — самозванцев!.. — Старик постучал трубкой по столу, и табак рассыпался по скатерти. — До сих пор их никто не знал... Все врагов народа обличают и столько их, этих врагов!.. Вчера еще почтенный человек — Спиридон, помнишь, что бакалейную лавку на углу держал, сегодня оказывается — враг. Крутом враги и мы с тобой враги — я рассказываю, а ты слушаешь... Весь мир праздновал 9-ое мая окончание войны, и французы, и англичане... Сам по радио слушал: какая радость! Ну а мы точно кого похоронили. «Эти» по домам ходили, народ на улицу сгоняли — петь и плясать. Иностранные миссии в городе, надо же показать иностранцам, как мы счастливы!..

И долго еще сокрушался старик; наскоро перешел к домашнему, к наставлениям, расспросам...

На другой день Стефан с часовщиком договорились, что Стефан останется у него работать.

— Пока не прикроют, — усмехнулся старик.

Перед тем, как Стефан съездит с Катей в село повидать родителей, они пойдут в район — без прописки в городе жить больше трех дней всё равно нельзя, да и комнату за собой закрепить надо. Часовщик торопил.

— Живите у нас, будете нам, как родные. Не дай Бог, вселят кого-нибудь из «этих»... — и рукой махнул.

В районе, под портретами неизвестных Стефану людей, сидела «власть». Черные, сверлящие глаза, густые висячие усы, шрам от носа до уха, и красная звезда на груди — памятка партизана 41 года.

— Документы! — услышал Стефан, и протянул свою военную книжку.

— Гм... значит в Германии, в лагере за родину сражался...

— А вы, гражданка, ваши документы, — обратился звездносец к Кате.

— Это моя жена, она не понимает по-нашему.

— Что, немку привез? — грозно вскинулась «власть».

— Нет, она русская.

— Ах, русская... Ну хорошо, заполните анкеты. Подпишитесь.

Сверлящие глаза, красная звезда, и это «ах, русская!» — преследовали Стефана целый день.

А ночью за Катей пришли. Стефану посоветовали не жаловаться, не просить, молчать...

Метался Стефан по маленькому домику часовщика, сам с собой разговаривал, сжимал кулаки, грозил кому-то, худел пуще и пуще. На все уговоры часовщика в село съездить, родных повидать, — он только руками отмахивался:

— Никуда не поеду!..

Потерял Стефан счет дням: прошла неделя, может — две, три... Только как-то ночью вдруг услышал он в открытое окно:

— Стефан!

За окном стояла Катя. Живая, настоящая Катя, худая, оборванная, босая и... улыбающаяся.

Дополняя непонятое фантазией, переводил Стефан часовщику:

— Погрузили нас и повезли. Поезд всё равниной шел. И только, когда на станциях услышала я, что люди говорят по-другому, чем ты, Стефан, дотадалась я, что мы уже переехали границу и едем по другой стране. Конвойный в нашем вагоне попался неплохой парень — не обижал нас, дивчат. Он нам и сказал, что везут нас к морю, там перегрузят на пароход — в Одессу. Я и решила: всё равно, когда умирать, сейчас или позже, улучила момент... Ночью через щель вывалилась из вагона прямо под откос. Переждала. Не заметили. Вдоль рельс и пошла, только в обратном направлении. Днем с дороги сходила, в кукурузу пряталась. Это пока дальше не отошла... Встречала баб и мужиков, знаками просила хлеба и воды, и твою родину, Стефан, называла: мол, туда пробираюсь. Показывали дорогу, иногда подвозили на телеге. Так и добралась...

Решил Стефан отвезти Катю к отцу; старик посоветовал: «Там уж «они» не същут!»

Трудно приходилось «народной демократии»: предстояло вести наступление на село, но что могла она пообещать крестьянину? Землю? Это в стране-то, которая не знала никогда ни помещиков, ни латифундий! А был там крестьянин хозяином земли. Его отец, его дед, его прадед. На небе Бог, а в доме своем хозяин — крестьянин. Слушаются его взрослые сыновья и невестки и подросшие внуки. Иной сын уйдет в город учиться. И диссертацию, смотришь, защитил и по заграницам поездил и, казалось бы, порвалась связь с родным домом, а придет к отцу в гости — и он и его нарядная горожанка-жена в ноги отцу поклонятся и руку поцелуют...

Позже посылала «народная демократия» карательные экспедиции в села, отбирала зерно и скот у крестьян, а их самих, непокорных, везла скованными в город, в тюрьмы. Позже загоняла в колхозы, всё это было позже...

Стефан довез Катю благополучно. Только некогда отцу праздновать возвращение и женитьбу сына, некогда зажарить на вертеле барана, выкатить бочку крепкой сливянки и назвать в гости полсела...

Забегали невестки и сестры Стефана. Катя сама себя не узнает. На ней юбка широкая, колом стоящая, из домотканной материи; блузка, обшитая грубым домашним кружевом; на голове — платок. Вместо городских туфель, которыми снабдила её сердобольная жена часов-

щика, — на ногах, вывязанные из домашней шерсти, черные чулки, и мягкие кожаные лапти с носами, загнутыми кверху.

Стефан торопился обратно. Может, кто-нибудь из соседей оболтнул, или видели Стефана, когда шел он с Катей на поезд, но только «власть» привязалась к Стефану. Вызывали в район, подробно расспрашивали, куда ездил он (будто не знали!) и зачем, но про Катю ни слова... Засылали в село активистов, чужих, городских — сёла своих активистов не давали. Активисты ходили по селу, заводили знакомства, выспрашивали — что и как. Заходили не раз к отцу Стефана, интересовались хозяйством и пристройками. Старик водил их и охотно всё показывал. Даже на сеновал лазили.

Кати не было. Пропала Катя в народном море... Навсегда?

НЕВЕСТА

(Отрывок из повести «Дуга-Радуга»)

Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова родилась в Москве, в 1882 г. В дореволюционной России М. В. была известна, прежде всего как художница-портретистка. Живописи училась у Репина. Участвовала в выставках «Мира искусства» и парижского «Салона». Некоторые из её картин находятся в Третьяковской галерее. Как писательница М. В. выступила впервые с книгой о Серафиме Саровском.

В эмиграции М. В. с 1922 года. Заграницей она занималась в течение многих лет церковной живописью. Стены ряда храмов в Западной Европе украшены её росписью. В прошлом году в Западной Германии вышла на немецком языке книга её воспоминаний: «Die grüne Schlange». Будучи первой женой поэта Максимилиана Волошина и другом Вячеслава Иванова, М. В. имела возможность хорошо познакомиться с ведущими литературными кругами Петербурга и Москвы пред-революционных и революционных лет, что и отразилось в её книге.

Послереволюционное творчество М. В. почти незнакомо её соотечественникам. Предлагаемая вниманию наших читателей повесть М. В. «Невеста» является законченным отрывком из повести «Дуга-Радуга», над которым М. В. сейчас работает.

Редакция

Ехать пришлось всю ночь. Во время долгих стоянок на маленьких станциях слышно было кваканье лягушек; на рассвете пели жаворонки. Когда я вышел из душного вагона на платформу, тишина полей была так велика, что моя душа не сразу могла её воспринять. Над черной парной землей, в чистом небе возносились золотое солнце.

Старик, похожий на обросшую мхом лесную корягу, взял мои чемоданы. Взглянув на моего возницу, я сразу понял, что вступаю в новое для меня бытие. Прозрачные глаза старика светились из-под мохнатых бровей, как лесные озерца. Во все время дороги он разговаривал с лошадьми и либо вовсе не замечал моих вопросов, либо отвечал на них невнятным ворчанием.

Мы ехали мягкой проселочной дорогой. В овратах там и сям белел еще снег. Яркие полосы озимей сменялись темнолиловой пашней. В лесах сырой запах прошлогодней листвы смешивался со свежим березовым духом. Два раза пришлось переезжать вброд речку, тогда мой возница со словами: «Господи, благослови!» снимал шапку, крестился и пускал с горы лошадей. Вода, журча, доходила до дна пролетки, кони фыркали и выносили на крутой и скользкий берег.

Проезжали через деревни с серыми бревенчатыми избами, крытыми соломой. На бубенцы нашей тройки открывались маленькие оконца, и бородатые мужики выглядывали из них. Бабы в коротких синих сарафанах, по большей части босые, легко и свободно ступая, несли на плече коромысла с ведрами к скрипучему колодцу-журавлю. В одной деревне грязь была такая непролазная, что пешеходам приходилось пробираться вдоль изб. Раз нам пришлось с трудом объезжать увязшую и распряженную телегу. Белоголовые дети в розовых и белых рваных рубахах бежали за нами к околице и, встав рядом и пятясь, ее подымали.

Вскоре ухабы дороги меня укачали. От весеннего воздуха и ослепительных просторов кружилась голова. Я понял, что вчерашняя моя лихорадка не проходила и даже стала еще злее. Наконец старик показал кнутовищем на группу старых лип и берез: «Успенское».

Мы въехали на зеленый лут двора, окруженного бревенчатыми постройками. Над старыми, еще голыми, липами кричали грачи. На крылечко одноэтажного дома, перед которым остановился тарантас, выбежало мне навстречу несколько девушек, а за ними я увидел тетюшку Анну Григорьевну, которую сразу же узнал по большим черным сияющим глазам. Но я видел всё как сквозь сон.

Она обняла меня, повела по узкому коридорчику с пестрыми половищами в мою комнату и, поняв, что у меня сильный жар, не тратя слов, сама меня уложила в постель и, навалив на меня гору шуб, напоила малиновым чаем. Треск березовых дров в печи, крик грачей за окном и особый свежий запах простынь напоминали мне детство, и мне было бы очень хорошо, если бы не какой-то паяц. Я чувствовал его в себе, он то, вытягиваясь, ломил мне кости и жаром палил простыни, то вдруг, выростая, косо падал на стену и распластывался на ней. Его лохмотья складывались в мои картины. Я спешил, чтобы избавиться от него, закрашивать новые холсты новыми картинами, но пятна краски складывались вновь в его фигуру и снова передо мной кривилось знакомое лицо. Оно надвигалось на меня из пространства, кто-то ударял в бубны перед самым моим носом, пространство лопалось, и я падал в ничто. А то давший старик вез меня по дороге, вдоль которой бежала речка. Я просил его остановиться. Меня мучит жажда, говорил я, но старик, казалось, не слышал. — «Я выпиваю все твои слова», говорил кто-то, сидящий рядом со мной, «меня мучит жажда». И я узнавал паяца. Часто мне казалось, что я кружусь в воздухе в хороводе знакомых мне людей, которые держат меня крепко за руки горячими руками.

— Целебная, девятичасовая вода от лихорадки, из двенадцати источников в нашей горе. Перекрестись, — говорит старик.

Я перекрестился, перекрестился и он.

— Испей!..

Я глотнул воды из поднесенной к моим губам кружки, и двенадцать прохладных источников, светясь, стали стекаться к моему сердцу, расходясь из него по всему телу и дальше за его пределы. Я видел себя извне, я смотрел из круга на свое сердце, — оно светилось и розовело. Я весь ушел в созерцание этого чуда. Потом, как будто бы со зво-

ном, раскрылся бутон. Среди лепестков розы, в живом струении возникло лицо, почти детское. Всё вновь возникая из жидкого света, оно плыло, не проплывая; я видел две золотые косы, падающие вдоль шеи на грудь. Глаза обратились ко мне; чистота их была почти прозрачной, и я закрыл свои.

С тех пор видения мои изменились. Когда рябь, возникавшая в моем сердце, уводила меня из себя в страшные пространства, я обращал свою волю к центру, где в розе находил лицо девушки и возвращался к себе.

Но скоро я понял, что это существо имеет свою, независимую от меня жизнь. Оно приходило и уходило. Но уходило оно, как будто только для того, чтобы что-то приготовить для меня. Однажды оно покрыло меня белым полотном, и с тех пор я ощущал себя всего одетым прохладным светом.

*

— Ну и напугал же ты нас! — приветствовала меня Анна Григорьевна, когда я наконец очнулся после долгого забытья.

— Хорош приехал, нечего сказать! — Я начал, было, шопотом извиняться. Она не позволила мне говорить и горячо поцеловала.

Я лежал тихо, ни о чём не думая, чувствуя себя окутанным прохладным светлым покрывалом, слушая весенний пересвист птиц, и благодарно принимал заботливый уход тетки.

Через несколько дней утром, еще очень слабый, я встал и подошел к открытому окну. Был серый день. Между еще обнаженными листьями просвечивали зеленыя поля, тихо звеневшие тенями жаворонок. В саду между бурой прошлогодней листвой лиловели тнзездьшкками фиалки.

На лужайке перед беседкой я заметил высокую девушку. Она стояла спиной ко мне на зеленом ящике и привязывала к перекладинам беседки ветки грушевого дерева лозинками, которые подавал ей снизу колченогий старик, — в нём я узнал моего возницу.

Розовое, выплветшее платье, из которого девушка, казалось, выросла, обтягивало ее сильное стройное тело; две золотые косы падали до колен. В наклоне ее головы, в нежности всех ее движений мне показалось что-то знакомое. Смахнув несколько раз со лба развивающиеся и падающие ей на глаза мелкие пряди волос, она повернула голову против ветра и, взяв из рук старика лозинку, стала повязывать её вокруг головы. Я видел её закинутые к затылку сильные руки и обращенную теперь ко мне, в профиль, небольшую голову с закрытыми глазами. Красота этого, почти еще детского, лица была необычайна.

— А, какво работает моя девушка? — спросила меня с гордостью, оказавшаяся под окном, тетка. — Машенька!, — позвала она.

Машенька спрыгнула с ящика и пошла к нам по росистой траве.

— Как ты бледен! Тебе нельзя еще вставать, — всполошилась, оглянувшаяся на меня Анна Григорьевна. — Ложись, ложись, я сейчас принесу тебе чаю.

Я лег в постель с сильно бьющимся сердцем.

— Может ли это быть! Я видел её наяву, девушку моих снов. Вероятно она входила в мою комнату, пока я был в бреду, и это она окутала меня световым покрывалом.

Я вспомнил, — Анна Григорьевна писала много лет тому назад, что взяла на воспитание сиротку, и с тех пор в письмах всегда писала «мы». Я уже справился с собой, когда тетка внесла мне поднос с яйцами, чаем, сливками, оббитым маслом, ситным хлебом и медом в сотах.

— Это весенний воздух тебя оглушил. Весеннее солнце ослепляет даже сквозь облака.

— Да, — сказал я, и вдруг засмеялся от счастья, и ни о чём не спросил. Зачем? Буду ждать, терпеливо ждать, думал я, лежа один: она под одной крышей со мной.

Но в двери постучались, и Машенька появилась с кисейным белым пологом на руке. Она, застенчиво улыбаясь, спросила меня, как я чувствую себя, и объяснила, что Анна Григорьевна посылает мне полог от комаров. Встав на стул у моего изголовья, она набросила один угол покрывала на угол железной жерди над кроватью, и затем, перенесла стул к моим ногам, натянула полог на другой ее конец. Я видел ее розовое лицо сквозь кисею над собой.

— Ты узнал свою сестру милосердия? — спросила, входя в комнату, Анна Григорьевна, — Маша часто дежурила при тебе по ночам, сменяя меня.

Я хотел поблагодарить, но слезы навернулись мне на глаза, и я не мог выговорить ни слова.

— Подремли теперь, ты еще слаб... Надо оставить его одного, — добавила она, обратившись к Маше.

Ах, зачем так скоро, зачем одного? — подумал я с огорчением.

— Надо только затянуть полог, пока не забрались под него комары, — сказала Машенька, возвращаясь от двери, и заботливо, как мать, скрестила края покрывала.

— В сумерки я принесу горящих можжевеловых шишек, и мы их выкурим перед ночью...

Она снова пришла в полдень и принесла мне обед: щи с краюхой черного душистого хлеба, пречневую, запеченную в горшочке, кашу с густой сметаной.

— Кушайте побольше! — сказала она и ушла.

А за посудой пришла не она, а суровая на вид, босая, хромоногая девушка Лукерья, с густыми бровями и низким альтием.

Я прислушивался к доносящимся из сада сквозь весеннее пение и свист птиц, голосам. Я слышал, как Анна Григорьевна сказала:

— Сеять будет Маша, у неё легкая рука.

Перед заходом солнца поливали гряды, черпая воду из кадки, стоявшей под водосточной трубой недалеко от моего окна. Я слышал, как лейки ударялись о кирпичный фундамент дома, как под ногами скрипел песок дорожки, как земля впитывала журчащие сильные струи. В окно потянуло сырым ароматом травы, прокричали болотные птицы, заквакали громким хором лягушки.

Давно сумерки, подумал я, меня забыли!

— Я не забыла — сказала Маша, внося жаровню с тлеющими углями, — но надо было высеять все семена перед полнолунием.

*

Странно, я помню каждое слово, каждое движение тех первых дней в Успенском, а когда делаю усилие — могу припомнить все дни этого лета. Всё было значительно, даже самое простое. Мне стали стелить ковер в саду, под вишневыми деревьями. Пучки из белых цветов гудели и шевелились от тяжести пчёл. Я слушал весенний гомон и пересвист птиц, шум листвы, кваканье лягушек в пруду, голоса девушек, работавших в саду, и ни о чём не думал. То одна, то другая девушка проходила мимо меня деловито, с граблями или ящиком рассады. Маша издали улыбалась.

Три девушки помогали ей в работе. Длинноногая Флёнушка приходила в Успенское издалека. Ее голубые глаза вечно щурились, либо от разбиравшего её смеха, либо от шалости; ее светлый голос слышался чаще всего. Вторая, Ариша, дочь лесника, была молчалива. Она всегда так низко надвигала платок на глаза, что нужно было нагнуть-ся, чтобы, заглянув под него, увидеть её красивое лицо и тихие страшные глаза окаймленные длинными темными ресницами. О третьей, ретивой в работе, кухарке Лукерье я уже упоминал. Кроме нее на усадьбе жил Макар и пастушок Федоша.

Я стал было поправляться, но, поправившись, не принялся за живопись, как того ожидала Анна Григорьевна, а просил, чтобы меня взяли в садовники и поступил на обучение к Маше и ее девушкам. Мы копали гряды, высаживали из парников зеленые росточки, полотли и поливали цветник и огород. Когда Маша, нагнувшись к грядке, так что ее золотые косы падали на черную землю, мельчила в руке чернозем, чтобы засыпать им корешок светлозеленого росточка, я понимал, почему говорят о её легкой руке.

Она постоянно нянчилась с какими-нибудь выпавшими из гнезда птенцами, придавленными цыплятами, щенятами и другими зверьками, выхаживая их. Однажды я смотрел, как она давала кроликам корм. Поставив поддонник со свежей водой перед большой крольчихой, она погладила её по спине и задумалась. В эту минуту выражение ее глаз, устремленных в лесную даль, было полно такой нежной серьезности, что я невольно спросил:

— О чем вы думаете, Машенька?

— О крольчихе, что ей скоро родить.

По вечерам, собрав со стола ужин, мы шли к пруду за ворота; сидя на изгороди, смотрели, как за опоясанными туманами лесами догорает закат, и слушали лягушек. Когда зажигались первые звезды, Маша ложилась на спину и глядела в небо. Она знала имена и пути звезд. Дождется, бывало, восхода какой-нибудь определенной звезды, обрадуется и идет спать, пожелав мне спокойной ночи.

На ее обязанности лежало по субботам печь пшеничный хлеб. Я вспоминаю, как, вынув его из печи, она выносила к нам в столовую на полотенце горячую золотую булку, каждый раз радостно объявляя:

— Постел!

По воскресеньям она вставала на заре, ту же обычного заплетала

свои косы, сама запрягала шарабан и в белом платье уезжала с Федошей к обедне в дальнее село Городище.

— Это у неё своё, — заметила Анна Григорьевна. — Я её церковности не учила; она уже ребенком копила серебряные пяточки на просфоры и свечки.

Анна Григорьевна взяла Машу к себе семилетним ребенком и удочерила. Но Маша говорила ей «Анна Григорьевна» и «Вы», и свою горячую постоянную нежность облекала в форму шутливой почтительности. Анна Григорьевна обращалась с ней даже с некоторой напускной суровостью. Но она знала о своей воспитаннице то, что нужно было знать. Точно по уговору мы с ней никогда о Маше не говорили, вместе храня какую-то прекрасную, нам самим непонятную тайну.

Однажды Анна Григорьевна и я стояли на крыльце. Машенька босая, с высоко подоткнутой юбкой и до самых плеч засученными рукавами, развешивала мокрые простыни, вынимая их из корзин. Всякий взмах ее рук был прекрасен, во всех движениях ее была крылатая сила и ритм.

— Знает ли она сама о себе, какая она? — не вытерпел я, обращаясь к тетке.

И вдруг она на меня напустилась:

— А что ей знать о себе? Да она вовсе о себе и не думает, и не спрашивает, а смотрит вокруг, где чего надо, и всякий недохват заполняет своим избытком, вот как она о себе знает! Не больше и не меньше! И уже, конечно, не в пример больше тех, что стоят, не спуская с себя глаз, забыв о мире и не замечая, какую они тем самым представляют из себя для мира жалкую фигуру. Но вам этого всё равно не понять!

— Кому это — вам? — обиделся я.

— Вам, эстетам. Но знай, если ты хоть одной мыслью не по правде её коснешься, — продолжала она, сверкнув своими темными глазами, — знай, что есть правда Божья, есть...

Но я перебил её.

— Как вы можете так говорить, когда самые мои лучшие, самые мои чистые чувства...

Она не дала мне договорить:

— Чистые чувства! Твои чистые чувства! А не думаешь ли ты, что может быть такая чистота, что самые чистые твои чувства окажутся скверными рядом с этой чистотой?

— Машенька! — закричала она. — Не вешай белья, смотри, какая туча... — Потом, дотронувшись до моего плеча, она мягко прибавила: — Прости меня, я обидела тебя. Знаю, что ты хороший и, дай Бог, останешься таким всегда.

Я помню, что не понял тогда странной вспышки Анны Григорьевны, но мрачная тень вошла в мою душу и долго оставалась в ней.

Накануне Троицына дня мы запрягли телегу, положили в неё сена, на сено ковер и поехали в бор. В поле пахло травой и цветами. На опушке хвойного леса мы привязали лошадь и стали в сырой тени рвать ландыши. Какие они там были крупные, холодные, белые! Таких я нигде больше не встречал.

Не успели мы наполнить ландышами взятые с собой глиняные кувшины, как в лесу потемнело и запахло прелой травой. Птицы жалобно защебетали и притихли. Мы вышли в поле. В опрокинутом хаосе изжелта-серого неба шла черная туча, вся содрогалась от молний, за ней на горизонте двигались полосы дождя. Где-то глухо промывало. Вдруг перед нами забушевала, как море, молодая рожь, дорожка запылилась, заскриптели за нами стволы сосен. Удары грома, один другого сильнее, заглушали шелестевший по траве и хвоям ливень. Мы укрылись под развесистой елью. Девушки притихли, словно испуганные пташки. Маша смотрела в небо тем взором, который я изредка улавливал у неё. Бывало, когда среди работы шла беседа, она вдруг вскинет глаза и обведет ими пространство, как будто измеряя глубины, точь в точь как тот орленок, который испугал меня в детстве желто-золотыми колесами своих глаз. Такие же озирающие беспредельность, только синие колеса я видел в глазах Маши.

— Как хорошо! — обратила она ко мне радостное, мокрое от дождя розовое лицо.

Но проза уже удалялась. Над нами сияла лазурь. На кустарниках и березках горели брильянтами капельки. А над дорогой в Успенское, опираясь правым концом в лесные, а левым в полевые дали, сияла яркая радуга и, словно привратницей у этих ворот, стояла Машенька в розовом своём платышке на мокрой изумрудной траве.



Вслед за шиповником распустился жасмин, зацветала рожь, цвели липы. И в изумрудных их шатрах и в густой прозрачной ржи за оградой стоял звон и гул от пчёл. Дни, исполненные благодати, катились чередой среди первозданной свежести и великолепия, и я ни о чём не думал. Во мне, за меня думала земля и солнце, а я только старался ничего не пропустить из того, что вокруг меня происходило; смотрел, вдыхал, слушал.

Перед заходом солнца, над землей, от невидимых за лесами деревень подымался крик затонявших стадо детей, слышались колокольцы, мычание, блеяние и скрип околиц. В саду клены, ясени, березы стояли пронизанные лучами, напряженно принимая последние дары солнца. Когда же солнце скрывалось за горизонтом, в самый тот миг по листве пробегал трепет, и в деревьях происходила едва уловимая перемена, как будто строго и послушно они вступали в другое, вечернее, бытие. Я всматривался в догоравшие в небе облака, чувствовал подымавшийся туман. Клевер складывал свои листочки. Неслышно летели ночные мотыльки. Всё мне хотелось принять в сердце, на всё ответить. Но ответа я не находил. И как-то так произошло, что счастье, переполнявшее мое сердце, обратилось в муку.

Чем прекраснее становилось к концу лета, как бы начавшая пробуждаться от сна и дурмана природа; чем ослепительнее сияла мне красота Маши, такая ясная в своей простоте, тем тяжелее мне становилось. Заметив мое состояние, Анна Пригорьевна решила, что мне пора вернуться к искусству и стала просить меня написать ей Машин портрет.

— Зачем мне её писать? — возразил я. — Ведь портрет имеет смысл, если художник может выявить высшую, скрытую правду о человеке. Но Маша сама правда. Она явленная тайна. В ее лице дух уже создал свой совершенный образ.

— Это отговорки! — рассердилась тетушка, и я принялся покорно за работу.

Я стал писать Машу во ржи за садом после захода солнца, когда всходила луна, а хлеба светились как бы своим собственным светом. В тот час её лицо без теней казалось прозрачным. По правилу иконописцев я начал со «света» (так называют они фон) и, написав розовое небо с восходящей луной и гущу ржи с реющими в ней, как золотые рыбки, колосьями, приступил к лицу, которое должно было сосредоточивать в себе окружающую его сферу, из нее рождаясь. Неожиданно для меня, сквозь детское лицо Маши проступило другое. Глаза испугали меня своей почти грозной чистотой, сомкнутые губы были строги. Между бровями я заметил складку, какая бывает на древних иконах Архангела Михаила. И вот тогда вместо васильков, которые сперва я дал Маше в руку, я написал серп.

Когда портрет был окончен, все его хвалили. Даже суровый Макарь сказал:

— Как есть её справедливое лицо.

Но я не был удовлетворен своей работой. Чего-то другого требовало от меня это лицо, а через него и вся природа.

В праздник иконы Казанской Божьей Матери меня с Машей снарядили в Городище на ярмарку, за ситцами и корытом. Ранним утром тарантас повез нас по холмистому плоскогорью, с которого во все стороны открывались дали. Видно было, как дороги белыми лентами ныряли в хлеба, входили в синие ущелья лесов, снова появлялись, чтобы снова уйти в синеву, в которой там и сям белели сельские церкви. При быстрой езде полосы золотой ржи, голубых овсов, изумрудного льна и белorozоватой цветущей пречижи разворачивались и свертывались как веера, в разных направлениях и с различной скоростью. Над всем веяло наполненное лесными и полевыми ароматами дуновение. Мы проезжали мимо помещичьих усадеб, которые как острова подымались над волнующимся хлебом, с липовыми парками, темной стеной елей, защищающей с севера плодовый сад, рядами седых гитантских берез, домом и церковью, в архитектуре которых преческий дух в непостижимой прелести сочетается с русским ландшафтом.

Маша правила и потоняла лошадь, боясь опоздать к обедне.

— Успеет, — говорю я, — еще стоимся, обедня идет медленно, слишком медленно для современного человека.

— Медленно? Не успеешь перевести дух и уже пронеслась! Медленно! — и она с недоумением качает головой.

— Кто вас так рано будит каждое воскресенье? — спрашиваю я её, желая перевести разговор.

— Моя мать. Она завещала мне, умирая, принимать за упокой ее души просфирку. Я была тогда маленькой, вот она и боится, что я просплю, — улыбнулась Маша. — И всякое воскресенье я просыпаюсь

от того, что кто-то меня окликнул или склонился надо мной. Только, — обратилась она ко мне серьезно, — я еще об этом не говорила ни одному человеку.



Село Городище расположено на высоком берегу речушки, синие рукава которой образуют ряд островов. На яркой их зелени паслись гуси. От белой церкви вниз по улице, еще безлюдной, выстроились лавки ярмарки. Обедня уже началась, когда мы вошли в битком набитую праздничным народом церковь. На клиросе громко пел хор. Солнце, проникая полосами через сводчатые окна, освещало клубы синего ладана. Огоньки тонких восковых свечей дрожали, как золотые пчелки.

Я вспомнил слова одного иностранца, который говорил мне, что в русской церкви, даже в самой убогой, всегда какой-то особенный воздух, какой-то живой, будящий воспоминание о рае, дух.

— В чем он заключается, я не знаю, — сказал он. — В наших католических церквях тоже пахнет ладаном, но это не то. В русской церкви ощущаешь то же, что и в Палестине: и там и тут чувствуешь себя в сердце мира, в изначальной ячейке его, в предвечно-родном.

Я встал направо, к мужикам, Маша налево, к бабам. Бабы в этом краю родные, широкие в плечах и узкие в бедрах. В будни они ходят босиком или в лаптях, а по праздникам надевают высокие сапоги. Их короткие темносиние сарафаны обшиты алой и серебряной каймой и подпоясаны малиновым шерстяным поясом. Белые рубахи вышиты на плечах богатым узором. Ситцевые платки у богатых по праздникам заменяются шелковыми переливчатыми, подвязанными под подбородком. Плотнo прилегая ко лбу, они топорщатся по сторонам, как повязка египетских сфинксов.

Я заметил, что женский тип здесь очень отличен от мужского. У женщин прямые носы, удлинённые глаза, а в форме лица нечто львинообразное; в то время как глаза мужиков сидят в глубоких орбитах под густыми бровями, а носы часто орлиные. Шалки волос и бороды здесь необычайной густоты и курчавости и то черны как уголь, то русы. Есть и огненно-рыжие, а старцы белы как лунь. Старухи здесь сами белые, ходят во всём белом, и сарафан и рубаха и платок белого холста, окаймленного кумачем.

Когда старенький священник вознес покрытую полинялым воздухом чашу (я видел её над волнующимися за окном хлебами) и дрожащим голосом возгласил слова «Тайной Вечери», то я понял, что слова эти относятся ко всей земле; живое естество земли — тело, а сок растений — кровь Христа, с тех пор, как пролилась с креста Его кровь. В церкви поднялся неистовый плач грудных детей, которых подносили к причастию, но, заглушая этот плач, раздался другой, страшный, нечеловеческий крик. Два мужика волокли к амвону кликушу. Она выгибалась и билась. Насильно закинув ей голову, священник ввинул ей лжищу в рот и поднес чашу для лобызания. Она добровольно её поцеловала и уже одна, тихая, но очень бледная, пошла пить «теп-

На паперти меня поразило количество юродивых, калек и слепцов. Они хором причитали, протягивая морщинистые и сведенные руки. Между тем ярмарка уже гудела народом. Над толпой между рядами поднятых оглоблей (они казались мне воздетыми к небу руками), сидели в телегах, неподвижно, как божки, бабы с грудными детьми. За телегами на лугу — цыган нахлестывал под живот клячу и клялся в чём-то мужику, почесывавшему в раздумьи чатылок.

Мы долго толкались в рядах, торгуя корыто, покупая ситцы в красном и баранки в обжорном ряду. Я очумел в этом аду, где непрерывно играла музыка-карусели, хрюкали свиньи, гоготали гуси подмышкой у продавцов, скрипели телеги, плакали дети, пели слепцы и ругались пьяные. К полдню всё было пьяно, мужики, бабы и юродивые. Только дети и лошади не являли вида одержимости. Как страшна показалась мне в этот день Россия!словно в бреду, словно дух ее отлучен от тела...

Мы слушали слепцов. Они сидели на земле у колес телеги, держа перед собой деревянные чашки с медяками. У большинства из них лица были изрыты оспой, волосы густы и всклокочены. Они пели, непомерно раскрывая рты, и словно выкрикивая свои слова в небо. Их неподвижно устремленные перед собой, тусклые глаза произвели на меня неизъяснимое впечатление, равно как и однообразный дикий ритм их песен. Они обрывали стих на середине, иногда даже на полслове и начинали новую музыкальную фразу с последнего слога. Над этими, почти нечеловеческими лицами, слушая их, с благоговением нагнулась Машенька.

Солнце склонялось к вечеру, когда мы собрались домой. Мы ехали, с трудом пробираясь в тарантасе сквозь пьяную ярмарку, осторожно объезжая валявшихся в пыли пьяных и обгоняя телеги с горланящими песни людьми. Глубокая грусть теснила мне сердце. В первый раз я осознал весь ужас русской деревни.

Маша повернула лошадь на мало проезженную луговую дорогу, которая привела нас в лес, и только когда тарантас покотил по мягким лесным колеям, и свежие березовые ветви стали шелестя задевать лицо, я заметил, что мы едем в объезд.

— Мы поедем мимо святого колодца, — сказала Маша и, угадав мою думу, прибавила: — Да, много у нас темноты, много терпения. Дядя Иван, что живет у святого колодца, говорит, что России положено много и долго терпеть до поры.

Тогда я спросил ее о дяде Иване.

Я узнал, что это грамотный мужик. В молодости он был разбит параличем и лежал двадцать один год без рук, без ног и без языка, пока однажды ему не явилась во сне Божья Матерь. Она велела ему встать, повела его по мукам, показывая мытарства грешников в аду, но, дав ему сосуд с водой умыть свои руки, сказала, чтобы он плеснул воды в ад, и от этого грешникам стало легче. Потом она указала место, где он должен был очистить ключ и в нём найти Ее чудотворную икону. Эту икону велела Она ему поставить у целительного ключа и жить при нём, рассказывая народу о своём исцелении и хождении с Богородицей по мукам. Мужики построили над ключом часовню. В ней дя-

дя Иван живет летом, а зимой его по очереди кормят крестьяне, т. к. работать он как следует все-таки не может, зато он читает им Святое Писание и Жития.

— Говорят, он прозорлив, — прибавила Машенька.

Когда мы выехали из лесу, я увидел в поле у оврата группу берез, на которых висели белые с красной каемкой холсты, бабы пожертвования Богородице. У одной из берез была привязана лошадь с телегой. Подъехав и выйдя из тарантаса, я увидел внизу в оврате маленькую бревенчатую часовню. Две бабы и молодой мужик подымались от нее нам навстречу. Мужик был красен в лице и не тверд на ногах, но сквозь хмель проступало в лице умиленное волнение. Помогаю себе руками, он старался что-то растолковать бабам:

— Поняли, бабы? Как обвела Она его по всем хатам в аду, то в самой последней сидели белые-белые, неподвижно, словно из камня. Сидят подперши так голову, (он показал как), а Богородица толкует ему, это те, говорит, что проклинали мать родну, мать сыру землю и Мать Пресвяту Богородицу, их мука горчайшая: их смерть не берет...

Конца я не расслышал. Телега со скрипом уехала.

Мы остановились на пороге часовни. Сначала в темноте я не мог ничего разглядеть. Две тоненькие свечи потрескивали на кануне. Где-то журчала вода. Наконец, я заметил человека, стоявшего к нам спиной с воздетыми руками. Мы молчали; он несколько раз оборачивал голову, как будто к чему-то прислушиваясь, и опять продолжал молиться; потом он протянул в нашу сторону свои как бы зрячие руки и наконец обернулся сам.

Машенька подошла к нему и низко поклонилась.

— А Заря Заряница, Красная Девица, здравствуй! Давно к нам не была. — Он помолчал. — А кто же это с тобой?

— Гость наш, — отвечала девушка.

— Так, так. По делам?

— На лето приехал гостить, племянник Анны Пригорьевны.

— Ну что же, хорошо! А чего же ты так упал духом? — спросил он меня. — Отчего же, потрудись, — дело твое доброе.

Теперь свет падающий из двери озарял его лицо. Оно было без возраста, изборождено глубокими и скорбными морщинами, глаза (бессонные и полные заботы, не своей заботы) устремлены были не на собеседника, а немного поверх его. Он всё время, как будто во что-то вглядывался, к чему-то прислушивался.

— Какое же дело твое? — спросил он меня.

— Я художник.

Дядя Иван не расслышал.

— Он живописью занимается, иконы пишет, — громко пояснила Машенька.

Тогда лицо его вдруг просияло неизъяснимо детской радостью.

— Так вот ведь, как оно хорошо! Чего уж лучшего-то?

Лицо его опять стало строгим.

— Я не ученый, понимать ничего не понимаю, а что Бог мне на сердце положит, то и высказываю... — Он еще говорил, но несвязно, как бы с трудом выговаривая каждое слово; многого нельзя было по-

нять. Я привожу уцелевшие в моей памяти отрывки.

— Неужто мы турки и татары? Только турки да татары этого не понимают, а мы знать должны, что Христос пришел затем, чтобы дать свой лик, а не затем чтобы снять... И когда Евангелист Лука Пресвятую Богородицу с Младенцем писал, то это Он, младенец, восхотел дать людям Свой лик. И куда бы ты ни взглянул, всюду на земле: в камне, в солнце, в каждом облаке, и в каждом цветке Он Свой лик являет... Ты только очи души отверзи и сердце созижди чисто. А женщина-то, ведь всего только полотенец протянула, простую подала холстину, (дядя Иван сделал обеими руками движение вперед), а образ Свой Он дал. Так и ты подай свою душу. Молись, чтобы Бог твои труды к Своим причел, в твоих образах Свой образ узнал, через твои иконы Свои чудеса творил, ибо и Он по Своему образу в людях томится. Молись, по ночам вставай и молись. А что скорбь и тьма бывает, то ведь пророк Иона святой был, а и то во чреве китове три дня томился; а как же уж нам-то грешным! Ах, человек, и чего тебе больше нужно, какой другой доли?..

Потом он обратился к Машеньке, и его лицо просияло невыразимо.

— Бог, где хорошо! О сколь хорошо! — и помолчав: — Кто она тебе будет? Сестра аль невеста?

Я смутился и не ответил. И мне послышалось, что он тихо сказал:

— Вместе... Бог поругаем не бывает. Голубица же сия нашего рода. А Он её для себя сохранит. Это знай. А теперь приложитесь к иконе, так. Теперь водицы испейте, испейте водицы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Машенька первая зачерпнула ковшом из колодца воды, отпила и подала его мне. Мне не забыть её глаз, на меня тогда устремленных.

— Бог с вами, — сказал Иван, — теперь идите.

Я поклонился ему и хотел выйти. Машенька, вынудив из узелка две связки баранок, положила их на лавку.

— Это тебе, дядя Иван.

И вдруг я увидел, потрясенный, как девушка и старец, опустившись друг перед другом на колена, поклонились друг другу в землю.

Мы молча ехали домой.



О беседе у колодца мы не сказали ни друг другу, ни Анне Григорьевне ни слова, но все трое чувствовали, что что-то новое вошло в нашу жизнь, хотя внешне ничего как будто не изменилось. Только по вечерам после рабочего дня, когда я садился курить на ступеньке крыльца, Машенька, как доверчивый ребенок, подсаживалась ко мне, точно само собой разумелось, что это место было её.

Хлеба из золотых стали розоватыми. Дали определились, белые облака оформились и веренищами плыли в невысоком небе. Зрели плоды. В полях повсюду, вблизи и вдали, насколько хватало глаз, полосы пестрели жнищами и скирдами. Множество работавшего люда изменило лицо земли. Она показалась мне священной и древней. Я следил за движением жниц, как они, срезав у корня солому и поддерживая серпом колосья, кругообразным взмахом рук складывали сжатую рожь возле себя на землю, как вязали сноп и несли его на голове, глядя из-

под шелестящих и осыпающихся колосьев, как складывали скирды — и думал: кто их научил так двигаться, и почему, несмотря на всю темноту и тьмоту их жизни, здесь встречаешь столько красивых и правдивых лиц?

Земля освящает человека, — сказала раз Маша.

У нас говорят: «Корми, как земля кормит, учи, как земля учит, люби, как земля любит». А то еще: «Не моги солгать, земля слышит»; или: «Свят Дух в земле живет».

Пруд за серыми тесовыми воротами посинел, дали приблизились. В саду шумела и мерцала на ветру листва, а над сжатými нивами, навыводя на них беглые тени, в синем небе неслись гряды облаков. По вечерам в темноте мы бродили по дорожкам сада, прислушиваясь к тому, как то тут, то там, срываясь с веток, падают на землю плоды. Вот одно за другим где-то вдали сорвались два яблока, вот совсем близко еще одно, и ветка на которой оно висело еще дрожит. Словно, исполняя положенные сроки, дары солнца передавались земле. Все было полно таинственной жизнью, и земли, и неба, по которому быстро бежали облака, то скрывая, то открывая мигающие звезды.

В то время я много работал. Я собирался написать цикл «Мать Земля». Обсуждался план устройства для меня мастерской, и мы решили перестроить под нее старую, пустовавшую ванную комнату. Сделали смету, выписали из Вязьмы мастеровых; как вдруг Макар привез мне со станции заказное письмо из Петербурга. Меня вызывали срочно в театр. Работы по постановке новой оперы начались. Только болезнью моей и бредовым состоянием перед приездом сюда я могу объяснить, что так основательно мог позабыть о подписанном мною контракте.

— Уплати неустойку, — предложила мне тетка, — и оставайся. Но я не считал себя вправе так поступить.

Накануне отъезда мы шли с Машей по пригретому солнцем жнивью. Наши ноги скользили по колючей золотой соломе.

— Сейчас начинается самая красота, — говорила Маша, — а вас здесь не будет! Летом некогда бродить по лесам, а в эту пору мы ходим по грибы. Сколько тут белых, березовых, подосиновиков бывает! Бельевыми корзинами носим! За боровиками ездим в бор. А опять больше всего в лесу за болотом, мы их ножами с пней режем. Знаете их? С коричневыми пятнышками на головках. Рыжиков, волнушек, сыроежек — тьма. Мы их сушим, солим и маринуем. А маслят даже не берем. В лесах наших, что в храме! Каждая поляна — придел с иконостасом: золото, киноварь и лазурь.

— Машенька, — сказал я вдруг, — ведь нам нельзя быть врозь, мы должны всегда быть вместе.

Она серьезно посмотрела на меня и тихо ответила:

— А если должно, то и будем.

Я взял ее за руку. Она не отняла своей.

Так мы дошли до старых берез, которые отдельным островом стояли перед красневшей осинами лесной опушкой. Маша прислонилась к стволу и стала смотреть в синеву, темневшую в прорези золотой листвы. Весь свет просторов, золото и пурпур сгустился в образ этой де-

вушки, и синева неба, которая всегда так пугала меня своей бесконечностью, теперь обратила ко мне свой любящий взор.

— Машенька, вы... ты моя вечность...

Она опустила глаза.

— Гриб, — закричала она, — и еще, смотрите, еще!

И мы набрали к ужину полную шляпу подберёзовиков.

Когда на другое утро под окном зазвонили колокольцы тройки, сердце мое невыразимо зануло. Длинные тени от сараев лежали на росистом лугу двора. Над прудом за воротами белела полоса тумана. На крыльце обняла меня взволнованная Анна Григорьевна:

— Возвращайся скорее! Помни, что мы с Машей ждем тебя.

Машенька села рядом со мной в тарантас, чтобы проводить меня до брода. Девушки побежали через сад к старой липе, откуда видна была дорога, и махали мне за калиткой платками. Мы ехали быстро мимо тающих в дымке розовозолотистых полей. Перед спуском к реке Макар осадил лошадей. Маша обняла меня за шею, крепко поцеловала в губы и спрыгнула с подножки. Под колесами зашумела вода, и тройка вынесла меня, всего обрызганного пеной, на другой крутой берег.

За рекой стояла Маша и махала мне платком. Как непонятно было мне возрастающее между нами пространство. Я чувствовал ее поцелуй в переполненном светом сердце. Машенька, которая была во мне и во всем, что меня окружало — в свете, изливавшемся из ясных небес на поле, в воздухе, которым я дышал, во всей красоте развертывавшихся передо мной далей, — Машенька была в то же время маленьким синим пятном в полях, и, становясь все меньше, обращалась в точку.

Я понял, что Успенское осталось позади, только когда вошел в душный, прокуренный вагон второго класса.

Опера, для которой я должен был писать декорации, была в духе картин, выставленных мною весной. Я понял, почему именно я был приглашен для этой работы. Вскоре меня заинтересовали задачи театрального искусства, мои эскизы удались, и я с помощью мастеров приступил к писанию самих декораций.

На чердаке театра, на полу, занимавшем всю необозримую площадь зрительного зала, лежали холсты, которые мы расписывали, макая длинные малярные кисти в расставленные на полу горшки с краской. Весь день приходилось работать при ослепительном свете электрических ламп. Пол обрывался пропастью сцены. Туда спускались занавесы и оттуда подымались к нам снизу звуки оркестра, пение и плеск аплодисментов.

Художник, заведующий декоративной мастерской, должен был по болезни взять отпуск, и на меня свалилась часть его работы по другим постановкам. Дел было очень много. К тому же по обычаю, введенному моим предшественником, наша мастерская была своего рода клубом, куда во всякое время приходили театральные работники. В одном ее углу стоял стол с закуской, на котором бесменно кипел самовар. По вечерам, во время спектаклей, к этому столу среди буфаторских кустов, искусственных лун, драконов из папье-маше и масок собиралась у нас самая пестрая публика: музыканты, режиссеры, поэты, кри-

тики. Артисты и артистки приходили к нам наверх зачастую в приме и в костюмах, в сопровождении своих поклонников и поклонниц. Это общество видело во мне «хозяина дома», и я должен был поневоле принять на себя эту роль, продолжая, впрочем сам в это время работать.

Душа моя жила в Успенском. Все, что меня окружило, казалось мне призрачным. Как только я возвращался к себе в гостиницу и оставался один, я чувствовал близость Маши.

Все, что делалось вокруг меня, интересовало меня, не затрагивая лично, и может быть именно поэтому окружающие посвящали меня во все истории театральной жизни, в свои планы, просили советов, художественных и личных. Мне постоянно приходилось играть роль посредника, утешать, умирять страсти. Особенно артистки отнимали у меня немало времени. Под какими только масками, ангельскими и демоническими, не являлись они передо мной! Казалось, моя независимость была для них невыносима, и они наперерыв старались заинтересовать меня собою.

В конце сентября в мою мастерскую вошел мой дядя, Лев Иванович, ведя под руку молодую артистку:

— Вот наша изумительная Мария Ильинишна Коренева, — сказал он по-французски. — Она вчера вернулась в Петербург и будет, как ты знаешь, исполнять главную роль в опере, для которой ты пишешь декорации. У нас есть просьба к тебе.

После первого, беглого взгляда на артистку, я почему-то решил, что просьбы ее ни за что не исполню.

— Дело в том, — продолжал дядя, — что мы разрабатываем с Марией Ильинишной танец семи покрывал. Эта роль создана для нее. Ты слышал о ее голосе и о ее драматическом даре, но она обладает сверх того гибкостью тела, доходящей до акробатики. Я называю ее моей змейкой. Этот танец, восстановленный мной по археологическим находкам, будет ее триумфом. В прошлом году Мария Ильинишна завоевала себе первое место в опере, в этом году мы победим балет. Наша просьба... впрочем, пусть она скажет сама!

— Весной, — начала Коренева, смущаясь и торопясь, — я видела на выставке вашу Саломею. Я хотела просить вас (меня удивляло, что знаменитая артистка может так смущаться, — она даже немного задыхалась, говоря)... просить вас, набросать для меня эскизы костюмов... подобрать грим... выбрать цвета семи покрывал...

Костюмы рисует мой коллега... — я называл художника.

— Знаю, — сказала она, — но он сам хочет просить вас об этом.

Я отказался под предлогом недостатка времени, но Лев Иванович не отступал, пока я не согласился. Тогда они ушли.

Вечером, перед сном, я вспомнил это посещение и подумал: почему я был так нелюбезен? Чего я испугался? Передо мной теперь четко встало ее лицо. Самым замечательным в нем были брови. Они темной, высокой дугой, обведя глаза, опускались к переносице, как два меча, готовых скреститься. Несмотря на сосредоточенный огонь ее глаз, взор их как будто о чем-то молил. Во рту, еще детском, особенно в верхней, немного оттопыренной губе было движение, какое бывает у рыб, выброшенных на сушу.

Когда на другой день я встретился с Львом Ивановичем, он спросил меня:

— Ты верно удивлен, что я раньше не говорил тебе о моей протеже и не познакомил тебя с ней, когда она жила у меня в Париже? — И он рассказал мне, как, увидев Кореневу еще девочкой на экзамене в балетной школе, он сейчас же угадал в ней ее драматический талант, потом открыл ее голос, а главное ее темперамент.

— Мой милый, в этом ребенке я почуял Дионисово безумие, — его огонь горит в этой женщине, как ни в ком другом.

Она была безродной сиротой. Лев Иванович послал ее за свой счет учиться в Милан, а два последних года перед своим выступлением на здешней сцене она провела у него в Париже, где он сам работал с ней.

— У меня было большое искушение показать ее тебе тогда, — сказал он, — но это могло быть опасным для всех нас троих. Теперь сама судьба свела вас в театре. Я уже убедился, что к женщинам ты равнодушен, и потому можешь быть моим союзником по отношению к ней. Маруся уже любит тебя, я читаю в ее душе, как в открытой книге. До сих пор она верит мне, хотя изредка в ней поднимается мятеж против меня. Подчинить ее себе так же пленительно, как обуздать арабскую лошадь. Эта задача становится для меня с твоим появлением вдвое заманчивее.

С тех пор Мария Ильинишна часто проводила в моей мастерской свободные от репетиции часы. Она сидела обычно на диванчике, подобрав под себя ноги, подперев подбородок рукой и, кутаясь в черную шаль, — следила за моими движениями. Я мало замечал ее, поглощенный работой, которую спешил закончить, чтобы поскорее вернуться в Успенское.

А из Успенского приходили посылки с орехами, медом, сушеной рябиной в сахаре и милые письма, написанные детским, ясным почерком, в которых сообщалось, что начались заморозки, рубят капусту, солят огурцы. Эти письма, несмотря на простое их содержание, я перечитывал бесчисленное число раз.

Когда был готов костюм, сшитый по моему наброску, Мария Ильинишна послала за мной, чтобы мне в нем показаться. Я спустился в ее артистическую уборную, где она, уже одетая, ждала меня. Я остался чрезвычайно доволен сочетанием красных, оранжевых и пурпурных тканей. Артистка подала мне остроконечный венец, чтобы я прикрепил его к ее волосам. В ее взгляде и жесте я прочел озлобление.

— Вы не довольны? — спросил я ее.

— Костюм прекрасен, я благодарю вас, — отвечала она. — Теперь будьте добры испробовать грим.

Она села перед зеркалом.

— С вашим лицом, — заметил я, — можно сделать все, что угодно.

Я надел ей венец и принялся замазывать брови.

— Да, — отвечала она, — говорят, я так меняюсь на сцене, смотря по роли, что не только мои движения становятся другими, но меняется и самая форма моих рук. Ах, если бы это было только на сцене! —

воскликнула она с горечью. — Ужас в том, что я так же меняюсь и в жизни, смотря по тому, кто меня окружает, и я сама не знаю, где настоящая я... Если бы вы знали всё о моей жизни, вы, может быть, не стали бы со мной говорить.

— И вам по душе эта жизнь?

— По душе? — Я ее ненавижу, но иначе не могу. Тоска моя меня толкает в бездну. Но и в бездне нет любви. Разве меня любят? Любят славу мою и свою страсть. А я верю, что нашла бы себя, если бы меня полюбил кто-нибудь настоящий и меня настоящую. А то я не знаю, где я, кто я. Вот сейчас я вижу в зеркале ваши милые, с участием устремленные на меня глаза, а если бы рванулась на их свет, то наткнулась бы на холодное стекло зеркала и на свое страшное, вами, вашим гримом искаженное лицо. Что вы сделали со мной? За что и для кого так меня обезобразили, надо мной надругались?

Она плакала и ее слезы смывали грим, делая ее лицо полосатым.

— Я думал, — сказал я, рассерженный этой сценой, — что вы, как артистка, будете рады, что нам удалось так сильно воплотить зло. Ведь в нем нельзя усумниться... Я сам этой попыткой очень доволен. Теперь смойте краску, переоденьтесь и приходите ко мне наверх. В этот час нашей беседе никто помешать не может.

Когда она пришла бледная и заплаканная наверх, я указал ей место на диванчике. Она хотела, чтобы я сел рядом с ней и протянула мне руку, но я сел поодаль на табуретку. Когда она подвинулась с диванчиком к табуретке, я в свою очередь отодвинулся с табуреткой прочь. Она вдруг расхохоталась, как ребенок.

— Вы как будто меня боитесь? Хотите оградиться от зла? Разве вы так уж слабы? Вот я расскажу вам одну историю, — начала она. — В монастырь пришел странник. В церкви, стоя на хорах, он смотрел, как инокс сходятся к службе. Вошел один старец. Его сияние ослепляло, странник видел, как бесы разлетались от него в разные стороны прочь. — Это, наверно, самый святой ваш отшельник? — спросил странник монаха, стоявшего рядом с ним. — Нет, сказал тот, мы почитаем другого, идущего за ним, больше. И странник увидел другого старца. Его сияние не было так ослепительно, но на его свет слетались к нему со всех сторон бесы и преображались в этом свете, становясь добрыми духами; превращение же это затемняло его собственный свет.

Рассказ этот очень понравился мне. А она прибавила:

— Вы не хотите, чтобы такие бесы, как я, к вам приближались?

— Полноте! — ответил я, — расскажите мне лучше о себе, теперь я готов слушать вашу исповедь.

— Исповедь! Если мужчины не подлы, то они высокомерны, — прошептала она, точно обращаясь к кому-то другому. — Я не собираюсь исповедываться у вас; у меня есть человек, которому я всё могу сказать. Это Лев Иванович, ему я всем обязана, всем! И он заботится обо мне и руководит мной. Девочкой я была в него влюблена. Но он, в сущности, ко мне равнодушен, и я не знаю, чего он от меня хочет. Он умнее, интереснее, заботливее всех людей, без него я — ничто, и все же я хотела бы уйти от него на край света! Кто может спасти меня от моей призрачной жизни? Я безродная. Помню, что в раннем детстве моя мать

по ночам молилась перед кивотом о возвращении жениха и требовала от окружающих, чтобы меня называли княжной. Люди над ней смеялись, а потом отвезли ее в сумасшедший дом. В детстве меня отдали в казенный приют, оттуда в балетную школу. Теперь я в славе, но на что мне слава, когда во мне тоска и злоба? Пожалейте меня!

Она опять протянула ко мне руки, но я сказал ей:

— Вам никто не нужен. Не ищите опоры во мне, это будет опять обманом, ищите ее в себе, в вашем искусстве, в творчестве.

— Может быть, в той змее, которую вы из меня нынче сделали и которая ужаснет и восхитит публику? Себя в себе? Спасибо за совет, спасибо за вашу мудрость! — Мария Ильинишна встала. — Спасибо за ваш совет, от которого так холодно!

И она вышла, не подав мне руки.

*

Однажды, в числе ближайших друзей Льва Ивановича я был приглашен посмотреть танец Кореновой. В большом зале за рядом ламп, поставленных на полу на подобие рамп, артистка выступила в костюме и гриме.

Лев Иванович дал знак музыкантам. Окутанная в лиловый покров, артистка сперва не шевелилась, но затем ее голова вместе с шеей задвигалась слегка вправо и влево. Упало лиловое покрывало. В эту минуту движение перешло в опущенные руки. Они стали медленно подниматься, вращаясь в суставах и изгибаясь так, что казалось они преломляются в воде, образуя круг извилистых линий. Прозрачное синее покрывало волновалось вокруг нея, как вода. Вот и оно скользнуло на землю. Теперь перед нами предстала зеленая змея; руки плясуньи, пальцы которых были сложены так, что походили на головки змей, казалось получили самостоятельную жизнь; стали двумя, а потом и многими змеями, которые, взвиваясь и перекрещиваясь, обвивали ее стан. Однообразный, но все ускоряющийся ритм музыки захватил постепенно всё ее тело, которое, изгибаясь, превратилось само в змею. Полужакрытые глаза, из-под век которых виден был один белок, казались мертвыми. Танец же становился все живее и причудливее, изгибы тела все невероятнее. Она выгибалась назад так, что завернутые в мелкие спирали рыжие волосы парика доставали пола. Оранжевое покрывало вставало над артисткой, как пламя, в то время как невозможные изгибы ладоней, невозможные углы и повороты шеи, поясницы и бедер нарушали все линии и формы человеческого тела, как будто бы целью этой пляски было разбить образ человека, его идею, освободить человека от человека, воплотив одну нечеловеческую страсть. Наконец дикий, страшный вихрь, охватив это тело, бросил его в пространство, скрутил его в нечеловеческом порыве в колесо. Казалось вот-вот запрокинутая голова коснется пятка. Красное покрывало трепетало как от ветра. Уже плясунья шла на ладонях, касаясь лбом земли, когда я отвел от нее с содроганием глаза. Не знаю, сколько времени еще длился танец и как он кончился.

— Так! Прекрасно! — отчеканил голос дяди.

Я услышал возгласы восхищения. Артистка, почти обнаженная, стояла неподвижно и неподвижными глазами смотрела в лицо Льва

Ивановича, который подал ей бокал с вином. Она, как лунатик, взяла его, но продолжала стоять, не двигаясь. Потом, медленно отведя глаза от дяди и переведя их с одного на другого, словно кого-то ища, остановила на мне беспомощный взор. «Похвали же нас, художник!» — зывал ко мне нетерпеливыми знаками Лев Иванович.

Я молчал.

Маруся вздрогнула и, медленно повернув голову к дяде, едва слышно спросила:

— Или это было нехорошо?

Тогда мой сосед, банкир, выступил с речью, которая кончалась словами: «Мы все потрясены, и каждый из нас, как Ирод, готов отдать артистке все, чего она ни попросит!»

Тут случилось что-то невероятное: Мария Ильинишна вдруг схватилась обеими руками за голову и не то захохотала, не то заплакала.

— Ироды! Ироды! — повторяла она сквозь этот хохот или плач. — Я не стану больше плясать для Ирода, я уйду, уйду...

Гости один за другим спешили выйти из зала, а Лев Иванович, весь красный от гнева, кричал на меня по-французски:

— Вот, что вы наделали вашим нелепым поведением! Это снова ваша Prüderie мешает вам признать великое достижение в искусстве. Или вы посмеете сказать, что танец, свидетелем которого вы были, не был единственным по красоте и подлинности творением искусства?..

Я отвечал Льву Ивановичу, что восстановление танца, бывшего уже в свое время явлением упадка, потому что тогда уже низведено было в область низменной чувственности то, что было некогда космическим культом, я не могу считать искусством; это темное колдовство, которое уничтожает человека в человеке, отдавая его во власть низшим инстинктам.

Лев Иванович, уже справившийся с собой, отвечал мне с язвительной улыбкой, что слова мои являются для него величайшей похвалой и доказывают, что он достиг своей цели.

Через несколько дней после того вечера, я надел уже шубу и собирался идти в театр, как в мой номер вошла Маруся. Меня поразили лихорадочный блеск ее глаз и необычайная бледность лица. Она заговорила со мной, задыхаясь и обращая ко мне на ты. Сообщила, что Лев Иванович на несколько дней отозван в Париж, и что она решила с ним навсегда расстаться, и потом вдруг, встав передо мной на колени, сказала:

— Ради Христа, спаси меня, возьми меня туда, где правда!

Она дрожала всем телом. Я нагнулся к ней, чтобы поднять ее, но она скользнула вверх как змея, прижалась ко мне и прильнула губами к моим губам... Мгновения длились, или время остановилось.

Наконец, почти грубо отстранил Марусю и не вышел, а выбежал из комнаты. Кое-как нахлобучив по дороге шапку, не застегнув шубы, я бежал по улице, словно от погони, в то время, как все мое существо рвалось обратно к Марусе.

На дворе мела метелица, но я ощущал только огненный вихрь, поднявшийся во мгле.

Смеркалось, и метелица улеглась, когда я очнулся в совсем незнакомой мне части города от громко сказанных мною самим слов.

— Нет, — говорил я, — есть высшие роковые силы, против них смертным бороться нельзя.

Я посмотрел на часы: теперь она должна уже быть в театре. И кликнул лихача — «в театр».

Но в театре ее не было. Из ее квартиры на телефонные звонки не отвечали. Несмотря на ожидавших меня в театре сотрудников, я помчался посмотреть, не у графа ли она, моего друга; но там никого не застал. Несколькими днями граф не возвращался. В театре, особенно в дирекции царил тревога, так как для роли Кореневой не было достойной заместительницы. Я безумствовал, подозревал графа, что он увез ее, воспользовавшись ее отчаянием. — И только через несколько дней мы узнали, что он действительно увез ее в сопровождении врача и сестры милосердия в психиатрическую клинику в Ригу, где главный врач был его друг.



Граф, потрясенный до глубины души, рассказал мне по возвращении о душевном состоянии Маруси. Она никого не узнаёт и переживает себя в аду, навеки осужденной. Это лицо, эти стоны и вопли говорят о такой нечеловеческой муке, о такой бездне, для которой на нашем языке нет слов.

В связи с переменной репертуара на меня навалилась огромная, почти непосильная работа. Моя страсть к Марусе утасла, сменяясь жалостью. Я распечатал письма из Успенского, которых за последнее время не читал. Они были полны сдержанной тревоги, невысказанного вопроса, ожидания моего приезда на Рождество. «Впрочем, если вы не раздумали...»

Маша, моя Машенька, как мог я, как мог? Ее образ, во всей ее неказанной прелести, встал передо мной и я стал вспоминать, картину за картиной, прошлое лето. Вспомнил, как однажды в жаркий полдень мы ворошили сено и прилегли отдохнуть в тени. Машенька, прислонясь к стогу сена, склонила голову на правую руку, опиравшуюся на левое приподнятое колено, и задремала. Я видел вблизи ее зарумянившуюся щеку и ощущал сквозь тонкую ее кожу обращение солнечной крови. Я чувствовал во всем ее теле то же цветение, то же реяние света, как в окружавшей нас летней природе, и тогда я подумал: такое райское цветение сил можно ощущать только в спящем ребенке... Почему я видел в этой расцветшей красоте только ребенка? Теперь я чувствовал ее иначе, и страстное нетерпение снова увидеть ее, ощутить ее близость, охватило меня.

Рождество приближалось.

Не могу без стыда и ужаса вспомнить те последние дни и ночи в Петербурге; теперь я видел Машу и нашу любовь другими глазами. Я рвался в Успенское всеми силами моего существа, страстные желания, которые теперь кажутся мне кошунством, охватили меня со стихийной силой. Я повторял себе, что только теперь знаю, что такое любовь.

Казалось, все сговорилось, чтобы задержать меня. Наконец, девятнадцатого декабря, я вырвался и поехал на вокзал. Я торопил извозчи-

ка, боясь, что ввиду праздничного времени не смогу достать билета. Подъезжая к вокзалу, я заметил обогнавшего меня в санях господина, который почему-то показался мне знакомым, но мне некогда было подумать о том, где я раньше уже видел его. Пока я платил извозчику, он избежал по ступенькам в здание вокзала. Перед кассой стояла длинная очередь. Я считал ожидающих передо мной, поминутно взглядывая на часы. До отхода поезда было уже не долго. Наконец передо мной оказался только один человек. Я услышал, как он спросил билет на станцию Сафроново. Это была та маленькая станция, с которой ехали в Успенское. Я вздрогнул. Выдав ему билет, кассир объявил, что билетов больше нет и захлопнул окошечко. Пряча бумажник и спеша на платформу, господин оглянулся на меня через плечо, и я узнал свое собственное, но бледное и искаженное страстью лицо, которое насмешливо на меня посмотрело. Господин пропал в толпе. Я бросился за ним.

— Этого не может быть, этого не должно быть! — повторял я, — он к ней не уедет!

Я всматривался во все лица, но в толпе его найти было невозможно. Я посмотрел на часы. Поезд ушел. Все кончено...

— Решительно я не в своем уме, — сказал я сам себе, улыбнувшись своему бреду, и вернулся домой, взяв билет на поезд, отходящий следующим утром. Однако тревога меня не покидала.

— Все кончено, — говорил я себе, — уже непоправимо, и я допустил это.

Так я провел ночь без сна, в смертельном томлении. В комнате стало светать. Я лежал с открытыми глазами и прислушивался к чему-то. Слабый белый свет, заколебавшись, как пламя, стал у моей кровати, у ног.

— Машенька! — прошептал я, — Маша! — Прости меня.

Она смотрела на меня грустными, строгими глазами. Черты ее подернулись скорбью и побледнели. Я увидел ее руку, которая, благословляя меня, начертала в воздухе светящийся крест, и погасла; мгновение еще в воздухе светился один только знак креста.

На другое утро я выехал. Ехал день и ночь. Еще солнце не вставало, когда я вышел на занесенную снегом и слабо освещенную фонарем станцию Сафроново. В синих снежных сугробах я узнал стоявшего на платформе Макара.

— Ты здесь? — спросил я его, — как ты догадался, что я приеду? Я же не писал. — Ехал на телеграф. Вам телеграмма, — отвечал он угрюмо, и подал мне исписанный рукой тетки клочек бумаги.

Я прочел: — «Машенька скончалась в эту ночь от воспаления легких».

— В три дня. Не приходила в себя, — сказал Макар.

Я сел в сани, и мы ехали по бесконечным снежным буграм. Неизвестно, где кончалась земля и начиналось небо.

— Что это? — спросил я Макара, увидев пунцовый шар.

— Солнце. Нынче большой мороз.

Наконец мы въехали на занесенный снегом двор. Дом и сарай казались совсем низкими, я едва узнал усадьбу. В сенях меня встретила Анна Григорьевна, стройная в своем черном платье. До сих пор я все

надеялся, что это сон, неправда, но взглянув в ее глаза, которые мне показались тогда невероятно большими и черными, все понял. Она мне что-то говорила, не могу припомнить что; потом она провела меня в комнату, которой я сперва не узнал. Это была столовая. Только стол стоял иначе, поставленный наискосок к образам, и на столе между двумя серебряными подсвечниками, под серебряным покрывалом, лежала моя Маша. Я знаю, что такое чистота. Я видел ее. Я знаю, что такое храм духа, я видел его. Заря играла в морозных цветах на окне. Срезали розы, которые она готовила в теплице к рождеству.

Утром, за день до похорон, Анна Пригорьевна попросила меня одеть крест на могилу, «пока хоть самый простой из двух сосновых дощечек», и повела через двор в сарай. Там в полутьме на земле лежал уже кем-то начатый крест. Одна короткая перекладина с выемкой была готова; тут же валялись топор, пила, долото, чьи-то пестрые рукавички.

— Это ее рукавички, — сказала тетка, — верно это она мастерила для елки крест. В день, как ей захворать, она ходила в лес выбирать елку. Из неоконченной перекладины сделай продольную часть. Вот тебе гвозди, — и вышла.

А я остался один и взял в руки пилу, которую Маша положила на землю. Я продолжал ее работу, чувствуя ее движения в моей руке; ведь я хорошо знал, как она работала, как склонялась ее голова, как падали ее косы на землю, как сдвигались от усердия брови. Вот мы работаем вместе, Маша и я.

— Я сделаю для тебя крест повыше, чтобы он возвышался над снегом; тонкие дощечки опущу со средней перекладины на боковые, чтобы крыша защищала от снега икону. Мы сперва повесим образок, который висел над твоей постелью, а потом я напишу другой, для тебя специально.

До обеда крест был готов. Я заметил на балконе лыжи и следы от них в саду.

— Ее следы, — сказала тетка. — Что значит безветрие и мороз, как будто бы только что их провела!

Я надел лыжи и пошел рядом со следом; он повел меня через сад за калитку к лесу, через то поле, по которому мы шли перед моим отъездом, мимо острова старых берез... Тогда земля была горячая и золотая. Мы шли по крепкому снегу, рука об руку. Ходили в лесу от ели к ели, потоптались на поляне у одной самой стройной, и обошли три раза вокруг нее, как вокруг аналая... Потом след вывел меня на узженную санями дорогу, и потерялся. Я остался один...

На другой день на развалнях отвезли сосновый гроб на маленькое кладбище, в поле, куда раз в год на поминальной неделе приезжает служить панихиды священник. Я слушал «Вечную память» и в первый раз понял ее слова. Мне всегда казалось раньше, что они отдаляют от нас близкого в области воспоминаний; а теперь знаю: «Вечная память», это Христос, непрерывность сознания Его и нашего. В «Вечной памяти» мы неразлучны.

Дома было в те дни тихо и хорошо. Работали дружно, с радостью исполняя Машину повседневную работу, радостно о ней говорили, как

о живой. Она была среди нас, в движении одного, в улыбке другого. Никто не плакал; и только на девятый день, когда после панихиды Фленушка, прогостившая у нас эти девять дней, стала собираться домой, девушки вдруг расплакались и хором, по-деревенски нараспев, заголосили:

— Улетела от нас наша голубка, на кого оставила нас!..

Помню, как я смотрел Фленушке вслед, как в белых полях между черными вежами мелькал ее рыжий тулупчик, и как нестерпимо тяжело было думать, что она уходит от нас в даль земных пространств.

*

Я ходил каждый день на могилу. Выходил, когда еще не светало. В этот час утренних сумерек, когда снежные поля сливались с небом, и в белом не было ничего кроме белого, я чувствовал Машу особенно близкой. Тишина и белизна полей, тишина моей души, в которой не было ни надежд, ни желаний, помогали мне воспринимать новое ее бытие. Как тихое озеро отражает возносящееся в небо облако, отливая его цветами и с ним вместе изменяясь, так и моя душа отражала жизнь ее души, и в ней происходили ее изменения.

Днем мне приходилось исполнять работу Макара, который после смерти Маши не слезал с печи. Я колол дрова, качал воду, ходил за лошадьми, ездил на станцию за почтой и провизией. Так прошли январь, февраль, начало марта. Солнце стало пригревать снег, капало с крыш, и я испугался, что наступит весна, что надо жить дальше. Возвращаясь раз в солнечное утро домой с могилы, я обогнал скорбленного мужика, несущего на спине вязанку хвороста. Меня поразили пергаментный цвет его кожи. Я окликнул его и предложил пособить. Он поднял глаза, зрачки их были черны, как уголь, и занимали всё пространство радужной оболочки. Это лицо было так чуждо всему, что нас окружало: и снегу, сиявшему серебром, и нежному ясному небу и краснеющим веткам берез. Я узнал его. Это был дядя Иван. Но он смотрел на меня сурово.

— Не узнали? — спросил я.

— Как же тебя не узнать! Ты сперва справишься-ка со своей собственной ношей. Подыми, понеси! Гость наш! — Старик сурово помолчал. — Спугнул голубку-то. Думаешь, нам без нее легко? Я один что ли по ней плачу? По ней земля вздыхает. Тоже нашелся помощник! — И, махнув рукой, мужик пошел по насту, круто свернув с дороги.

Письма о Канаде*)

ДЕТИ

Признаюсь, я очень боялся канадских детей. Приятели и добрые друзья, вернувшиеся, как они мне потом говорили, по причине бесконечной глупости, назад в Россию, как раз во время революции, рассказывали об американских детях, об их безудержной избалованности, дерзости, которой, увы, взрослые потакают и, все прощая и извиняя, говорят: Children!..

Оно, конечно, и я видел, как мамыши дружно и турьбой, весело предвкушая удовольствия parlog-a (пивная), уносились туда шумно-счастливой стайей, а ребятам совали в руки монеты, советуя прогуляться в ближайший кинематограф. Они стояли на точке зрения «модерной педагогики», что детей не только нужно учить, но и забавлять, занимать их. Но все же это исключение.

Ребятишки везде ходят в школы, причем в школах те, кто нормально учится и не много пропускает, каждый месяц получает от государства денежное пособие на свои детские нужды. Учительница их спрашивает и проверяет, действительно ли ребенок потратил деньги на себя и на что именно. Я недаром сказал «учительница»: в школах 90 % учительниц, а не учителей. Многие немецкие педагоги-ученые различают понятие воспитания и понятие образования - учения. Здесь это более или менее связано, и, как правило, ребята очень много занимаются спортом, играми на школьном дворе, где девочки играют отдельно, а мальчики отдельно. За этим часто следит «недреманное» око какой-нибудь мисс. Школа вводит детей в общественную жизнь, пештует клубные порядки, учит, как выбирать, голосовать, создает ряд комитетов для игр, спорта, организации празднеств и т. п. и стремится к развитию ораторских способностей детей. На дом, в отличие от европейских школ, задают очень немного. Домашние работы не отнимают много времени. Ребят учат самостоятельности, и здешняя молодежь меньше знает, но больше умеет, чем наша европейская. Я не раз встречал мальчишек лет 17-ти, знавших отлично мотор, шюферное дело, садоводство, огородничество, плотничье ремесло и к тому же прекрасно стригших машинкой и ножницами волосы своих седых друзей, подобных мне многогрешному. Они страшно удивлялись и просто не верили, что я, понимая кое-что в паровой машине и в слесарном ремесле, не

*) Окончание. Начало см. «Г р а н и» № 24.

умею управлять автомобилем, не знаю мотора и не умею стричь, т. е. умею, но плохо. В школе, начиная с первого класса народной (основной) школы, вы можете увидеть много предметов, сделанных руками учеников, и сделаны они очень недурно. Детей учат и приучают зарабатывать копейку. Правда, это не редкость в некоторых странах Западной Европы, но здесь это правило. На велосипедах, посвиистывая, развозят они, юные рабочие Канады, газеты и журналы, толкают тележки с Кока-Кола. Но здесь нет злоупотребления детским трудом и это больше так: подработать и к работе приучить. Вообще, детей берегут, и для них есть множество удобств в Канаде. Я думаю, что это влияние США. Есть прекрасная детская книжка, изданная в Соединенных Штатах: «Ничего плохого не может случиться». Это о маленьком ребенке, едущем самостоятельно в гости к своему деду.

Для мам и их детей масса всяких удобств. А для вскармливаемых сосунков и малюток всех возрастов, даже в небольших городах и местечках, в кафе имеются специальные креслица, на которых со слюнявчиками вокруг шеи восседают Питеры, Вилли, Дарлины и Дили. Мамаши заказывают им детские блюда. Всё это уже приготовлено и находится на полках в холодильниках кафе в аппетитных консервных баночках. В них герметически запаяны приготовленные уже овощи, молоко, апельсиновый сок, желе и т. д. Поставит повар баночку в чистенькую кастрюлечку с кипящей водой, даст прокипеть воде, в которой стоит только что открытая баночка, и кельнерша, взяв чистой дезинфицированной бумагой баночку в руки, принесёт её на подносе. Думает мамаша, что горячо — так ветер под носом есть, а нет — потребует искусственного льда, чтобы поскорее охладить до желаемой температуры. Бэби редко поднимают голос в кафе, но если это случается, никто не протестует. Однако сама мамаша настолько воспитана, что уберет крикуна.

В больших магазинах, где продают съестные продукты и всякую снедь, мамаша толкает перед собой лёгкую плетёную корзинку на колёсах. В эту корзинку она складывает добытый с полок товар, зелень и овощи, консервы всех сортов, свежее мясо, завернутый в целлофан хлеб, нарезанный тонкими ломтиками и аккуратно упакованный в особую бумагу, сохраняющую его свежесть. А впереди, на особом вделанном стульчике, восседает малыш и забавляется покупками — от ананасов и невкусного винограда до сладкого картофеля и обворожительно завернутой моркови.

О НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ

I

Белый кролик! Ничто не может победить его врожденного легкомыслия. Это самый легкомысленный из всех обитателей Канады. Кролик легкомыслен всегда. В своей белой, подобной пуху, шубке он смело дергает кущим хвостиком и не боится холода. Днём он обычно спит. Но вот ночью, над заснеженным лесом, белой, в синевато-черных тенях, поляной поднимается большой месяц. Сперва красный и весь в зареве, он потом делается золотым на синей ледяной тверди и льёт

обильно невестественный колдовской свет свой. А кролики радуются, словно опьянённые луной. Тих завороженный лес; мягко слетает сыпкая пригоршня снега с лапистой ветки ели, с чёрного, как уголь сука берёзы; сыпется он и призрачно сверкает, переливаемый волнами голубоватого света месяца, что уже стоит высоко. Весёлый кролик подпрыгивает, становится на задние лапки и так, на дыбочках, уморительно свесив передние лапки и прижав их иногда к груди, смотрит и радуется: луна светит, хорошо для гулянки! Поводив своим широким, мягким чёрным носиком и посмотрев вверх, не летит ли сова, он забывает о множестве других своих кровных врагах, жаждущих его теплой крови. На усах его повисает лунный свет, он щекочет его мордочку, пьянит его сердце радостью жизни. С небесного колокола звенит, звенит и льётся неслышная уху, а внятная сердцу голубая и серебряная музыка. Это месяц звенит, это месяц поёт, это он чарует маленькие сердца. И забывает кролик о множестве земных врагов: о волке, рыси, койоте, лисице. Все эти хищники им питаются, зависят от того, сколько кроликов живет в тех местах, где они охотятся. Но легкомысленный зверёк не думает о них. Он становится опять на четыре лапки, подпрыгивает весело, бесшумно опускаясь в ватный снег, и бежит встречаться с другими кроликами. Светит луна. Сторожко лежат тени, а вот дохнул ветерок, двинулись тени, и в них, прижимаясь к снегу, под кустами ползёт что-то гибкое, хищное, виляющее спиной. Я поднимаю винчестер, но не могу выстрелить, не могу нарушить, разорвать голубую тишину, лунный свет. А может, я ошибся, и это не хищник?.. Кролики сходятся, и вся эта кувырколлегия радостно пляшет, играет на полянке, наслаждаясь жизнью, движением, луной. Под утро они разойдутся, будут грызть побег, почки, попадать шеями в расставленные проволочные силки, а потом уцелевшие лягут спать в норках, под снегом, где есть листья и немного мху.

Истребляют их хищники, ловит, душит, стреляет человек, а всё-таки их много, уж очень быстро они плодятся, на радость людям и зверям.

2

Бобр! Умен он, ох, как умен и осторожен, и талантлив, и работяга первой руки, а вот вымирает! Я очень люблю бобров, но бобров ручных я не видел. Тискать, мять и обнимать их, как кроликов, невозможно. Разводить их очень трудно, приближаться к себе они не позволяют, пребывая обычно в воде, и эта моя любовь к бобрам, так сказать, — на расстоянии.

Я расскажу вам о том, как я видел бобров, но придется упомянуть и о приятеле, ничего, — он хороший человек.

Вилфрид, или просто Виль, любил животных настоящей, большой любовью. Но вы отлично знаете, что очень часто большая любовь не находит себе отклика, она, так сказать, односторонняя. Так было и с Вилем. Животные не любили его: кошки царапали, собаки кусали, а коровы хотели боднуть. Однако Виль любил упорно, нежною любовью живые существа. Позвольте познакомить вас с этим моим другом, о нем будет еще речь впереди. Виль — англичанин, 17-ти лет приехавший из Лондона в Канаду. Виль — пропойца, одинокий бобылёк. Где-то

живет его сестра, и он, если не пропьет, шлет ей доллары. Он учился в колледже и когда-то принадлежал к средне-высшему обществу. Теперь ему 57 лет. Сухощавый, с нежно белой кожей и хорошей формы руками, он, может быть, был недурен собою. Теперь щёки ввалились и одрябли, нос свислый, лоб в морщинах, рот разбит и ввалился — Виль был на 1-ой мировой войне. Матовые, добрые, грустные глаза. «Kosty, пойдем рано утром смотреть на бобров! Пойдем, дорогой!»

Меня спрашивать было не нужно. Взяли мы удочки, спички, еду. Я прихватил нож, Виль налил кофе в мой термос и спустил в карман плоскую бутылочку «с содержанием», как он заметил, лукаво и мучительно улыбаясь искосерканным ртом. Двинулись мы до света. Вы знаете — бобр ночное животное и видеть его обычно можно после захода солнца, к ночи, или ранним утром. Тогда «барин» изволит промышлять себе корм, ест, режет кору, подгрызает деревья, устраивает плотину. Редко работает при полном свете.

Подшли мы ранним-рано к бобровой колонии. Бобры любят вместе жить — социальное животное бобр. Правда, и так бывает: заматерее бобр, чуть не 30 килограммов весит (и больше бывает!), оспенится и утром сделается. Не хочет или не может детей иметь, семейной жизнью жить. Осерчает бобр и уйдет. И станет жить один, старым холостяком умереть хочет. Но обычно бобры живут колонией и не осорятся. Коли колония уж очень умножится, соберут с о в е т и, глядишь, выделили одну-две молодых парочки. Они пойдут новую колонию выбирать, да не одни, старая колония им поможет при постройке плотины, если нужно, и в выборе места. Умнейшее животное — бобр! Задумали канадцы великое дело сделать: реку Ничако в Британской Колумбии вспять обратить (и обратили), да из реки и озёр, пробив шестнадцативерстный туннель, спустить воду с 2580 футов высоты на турбины электрического колосса. Это величайшее в мире дело, за которое взялись частные компании. Людей, работающих на высоченном перевале, должны снабжать геликоптеры всем необходимым. Отромнейшее это дело! И чрезвычайно важно, чтобы основание плотины было водонепроницаемо. Думали употребить глину, как писал Ричард Нойбергер, что была недалеко от постройки, да старый лесоруб отговорил: «Глина эта, — говорит, — никуда не годится». «А откуда же ты знаешь, — спросил инженер, — что глина эта не годится?» «Бобры не употребляют её для своих зимних домов» — возразил лесоруб. Послали глину в Торонто в лабораторию, и оказалась глина порозной, водонепроницаемой. И тогда стали брать глину дальше, вверх по течению, ту, о которой старик сказал с уверенностью, что ею бобры пользуются. Умнейшее животное бобр!..

Путём-дорогою к бобрам прошли мы старую плотину. Деревья дюймов по 12 - 13 в поперечнике срезали бобры. Островерхие, уже серо-сухие пеньки с оглоданной корой стояли немymi памятниками, похожие на турецкие надгробия в Малой Азии и на юге Балкан. Подшли мы, наконец, к цели. Стали красться. «Стой!» — мотнул я голову, боясь шептат: звук по воде легко катится. Вот они, милые, за работой! Один, покрупнее, бобр грызет и рвёт траву, понёс её в передних лапках, прихватил ила и грязи и — в воду, к плотине. Ишь ведь:

обеими махонькими лапоньками к груди прижал ношу и дует, как торпеда. Хвостом юлит, вертит, — как черным веслом. Влез на плотину и грязь и траву перемешивает, плотину укрепляет, чтоб мелка вода не была, а то до дна зимой промерзнет и — конец. Ведь зимой он свои запасы в «вигваме» своем на дне кушать будет. Это побеги, кое-какая трава, водоросли, а, главное, кора с деревьев, кора и палки с корою. «Сухомятку» не очень любит. Барин, барин бобр! Но чтобы хвостом он утрамбовывал плотину или стены «дома», так это неправда! Читал об этом, но — врут. Нет, бобр так не делает. Уж на что индейцы хорошо его знают, а и они мне сказали: «Нет, так бобр не делает!» А деревья валит — куда хочет! Не только деревья, склонившиеся над потоком, а и где хочет, он срежет — и они свалятся, как он, бобр, пожелает. Из 100 деревьев «прямых» он только 5 % «плохо» свалил. Подойдет к дереву, которое облюбовал, — к иве, осине, берёзе (дуба он не режет и не ест, как и некоторых других деревьев) и сперва посмотрит, что и как. Поднимется на задние лапы и срежет два кольца по дереву. Потом начнет «глодать» зубами, как долотом, резать и долбить. Щепки в палец и длиннее, в четверть и в полпальца толщиной так и летят. Конусообразно срежет дерево, наклон конусу даст, куда дереву падать... Вот оно затрещало и, чиркнув зелёными ветвями по небу и зелени леса, охнуло и повалилось... Берёза на этот раз... Мы поднялись оба, счастливые. Видели! Насладились! У Вилья в глазах было счастливое сияние. Виль и снял «дровосека». Виль же не Ди-Пи! У него камера!..

Разное: о манерах, жизни и пр.

Мой приятель пишет мне «упрекательное» письмо, обвиняя меня в «литературщине», в излишней лирике и философии, которая никому не нужна и не интересна. «Пищешь ты, замечает он, словно картину рисуешь: «и вот снег засветился, заблестел торжачим отсветом, словно там на далёких вершинах под ним струился незримый огонь». Не пиши картин, а рассказывай, хоть и сбухта-барахты, какие люди там: выпивают ли часто, или по большим праздникам; любят ли королеву; как по улицам ходят, как ссорятся, гуляют; есть ли разные заведения; какой темп работы? Ну, и подобное. А ты: «Под снегом тлеет огонь; голубая музыка; луна на усах у кролика». Я уважаю тень Сократа, но зачем её тревожить? Не соблюдай порядка. Пиши все, что придет тебе на ум, но попрacticalней и без словоизвержения. «Что ж, — сказал я, — может быть, он прав. Попробуем!»

Сдержанная практичность и свой рассудительный подход ко всем явлениям жизни бросается в глаза, как руководящее начало в Канаде, как жизненный принцип. Увидело правительство, что народ очень много пьянствует. Пристрастился к «зелёну вину», пьёт богатырски и дебоширит. И не в том беда, что много пропивает: деньги оборот любят, — а в том, что допивались целыми семьями до зелёного змия, стали запускать обработку полей или на работу неаккуратно приходить. Но, что хуже всего — появилось значительное количество случаев сумасшествия. Всё это привело к изданию интересных законов, в большинстве провинций Канады. Пить на улице, в ресторанах, кафе — нельзя.

В городах и местечках существуют «parlor»-ы — большие, уютные комнаты гостиниц, всегда в нижнем этаже. Там много папиросного и сигарного дыма и бурчания пива. Там пьют только пиво. Напившись, часто дремлют в удобных креслах. Есть города, в которых ни одна женщина в парлор войти не может. Есть города и провинции с отдельными пивными для женщин. Наконец, есть и пивные для лиц обоего пола (Ladies escorts). Чтобы купить вина и водки, необходимо иметь разрешение. Стоит оно недорого. В Альберте, например, — 50 центов в год. Другой не может купить по вашему разрешению. В государственных лавках вы покупаете вино, виски, коньяк всех мировых марок. Его очень аккуратно упакуют, так как вы не имеете права нести открыто по улице спиртное. Нагота пьянства стыдливо прячется. Есть исключения: французский весёлый Квебек свободно торгует вином. Там можно и в ресторанчике выпить Бордо и полакомиться коньяком. Говорят, что подобная свобода существует и в Монтреале.

А по улицам люди ходят чинно, полицию слушаются и очень её уважают. Да и полицейские осанистые, высокие, внушающие уважение к закону. Гости здесь в гости так не ходят, как в старой России или Ютославии. Вы работаете, а они «гуляючи» зашли и остались до полночи. Тут в определённые дни приходят в гости, играют в бридж и редко заходят не во время «покалякать». По улицам вы не увидите плюющих субъектов. Раз в Виннипеге я увидел нарушителя сего похвального воздержания, но приятель сказал: «Пари, что это новоприехавший Ди-Пи». Мы погнались за плевателем, под благовидным предлогом его остановили, и выяснилось, что он всего месяц, как приехал из Европы. «Вот видишь!» — торжествующе сказал приятель. Здесь не только не плюются, но не любят говорить громко: неприлично! И не перебивают один другого или одна другую, волнуясь и торопясь, неизвестно почему. Увы, во многих странах Европы это делают.

Что касается вежливости, то очень часто вас пропустят вперед, откроют дверь и т. п., но дамам ручки не целуют, это не в обычае и сие, почти всегда, знак большой интимности.

Практично же всё от маленьких, размером с детскую колясочку, — снегоочистителей с моториком для домашнего употребления, до удобных ручек-перекладин на качелях — досках для ребят.

*

Доволен ли? И порядка нет и никаких картин. Темп же работы приблизительно соответствует американскому.

СЕРНЫЕ КЛЮЧИ. АВТОМОБИЛЬ ПИО И-ХУКА.

Из молучего бока Sulphur Mountain, обернутой почти до самой конусообразной вершины тёмной зеленью хвой соснового и елового леса, задыхаясь и клокоча, весь окутанный паром, вырывается серный источник. Сокровенное тепло горных недр. Нагрело воду огнедышащее нутро темных глубин, рассердило, распалило кипучую природу, придало ей новые силы, пропитало тайными зельями подземных лабораторий. Вот она, эта вода, зеленовато-голубоватая в строгой раме бассейна, успокоенная, чуть дымится, словно и сейчас под нею языки

земного пламени. А тут скачет весело ручей по окрашенным серо-зеленой серой ноздреватым, бутристым камням и уходит быстро извилисто-гибким течением в лес. Важно покачиваясь, одобрительно шумит темная зелень хвой, отвечая гулко, но уже примиренно шумящему потоку. — Слышь, каким древним сухим шумом сыплют нам на голову старые ели?

Серо-черной, блестяще заледенелой рекой, вьется по горе широкое, гладкое шоссе. Оно ведет к подножью водолечебных серных ключей. А это что такое? Там, за поворотом шоссе, через ели, проглядывало что-то большое, громоздкое, черное. Двое людей, крича друг другу что-то, колотили чем-то по черному и в сильном волнении явно препирались между собой. Мой друг присвистнул и, как большой любитель всяких зрелищ, потащил меня «сокращенкой» к «мятежу». Это верно медведь!

— Какой же медведь даст себя бить? — заметил я.

— А вот увидишь! Это они медведя добивают!

— В Национальном парке Канады? На глазах у любителей pets-ов? Чегуха!

Мы подошли. Люди оказались знакомыми. Один был Пио, высокий молодой швед, с лицом, облепленным веснушками, словно коричневыми оспинками, с набело выгоревшим от солнца хохлом волос на голове. Он работал на площадке для гольфа. Славный был парень и на вечеринках staff-а играл глупого Августа. Другой был его товарищ, кряжистый, широкоплечий, среднего роста ирландец, механик в нашем отеле и закадычный друг Пио. Третий — или точнее третье, был некогда автомобилем марки форд. В Канаде много автомобилей, и старый автомобиль можно купить от 150 до 1500 долларов. Пио и Хук (так звали механика) удосужились купить его, это «нечто», за 45 долларов. Почему они его купили — было ясно: дешевле грибов, и покупка была произведена в пьяном виде на каком-то «кладбище» — свалочном месте старых машин города Калгари. Как они его дотащили, и кто кого довел до отеля, покрытого мраком неизвестности. Каждое утро, до начала работы, и в вечерней прохладе, они занимались своей черной штучкой: что-то прилаживали, подкручивали, завинчивали, подтягивали, прибавляли, пилили и оснащали свою колымагу. Терпеть не могли, когда к ним кто-то подходил поглядеть на их манипуляции. Пио говорил: «Когда рождается новая жизнь, то присутствуют только врачи». Через неделю-другую на площадку через дорогу от отеля притащилось черное порождение — чудище, химера нового века. В ней было нечто от фордов 20-ых годов. Нечто клоунское, актерское, лицедейски фальшивое и механическое, тяжелое и дымящее. После работ сбегался народ, как на зрелище, и держали пари — поедет или не поедет. Пио садился за руль, механик рядом с ним. Иногда со скрипом и злобным скрежетом машина срывалась с места и уносила их вдоль по шоссе. Иногда же она капризничала, портила воздух черными парами, огрызалась оглушительным взрывом и не хотела ехать. Тогда один ложился под машину, а другой шёл к её мотору. Публика расходилась.

Этот-то «форд» и стоял у самого края шоссе. Одно колесо лежало

плащмя. Оба героя были измазаны сажей, и только белки глаз, выпяченные красные губы Пио и кривая усмешка на треугольном лице Хука бросались в глаза. Мы остановились, и мой друг, сочувственно покачивая головой, произнес: «Да, лет 30 тому назад хороший некролот можно было написать этому». «Он прекрасен», — возразил я. Молча, с искренним сочувствием, прикрывавшим хорошо человеческое зло-радство, мы всматривались в работу друзей. Минуты через три, с холодным спокойным бешенством, сжав в руке французский ключ, Хук спросил, что мы делаем и чего хотим.

— Я всегда любил древности, линии античных форм привлекают мое зрение.

— Да, — сказал Пио, — я сужу это потому, как ты часто смотришься в зеркало в отеле!

На помощь пришел мой друг.

— Пойдем, Росте! А то кормилец перешёл на личности.

Хук бросил ключ с остервенением в сторону, и, потрясая крыло автомобиля, возразил:

— Хороши гуси! Нет, чтобы помочь! И вас бы подвезли. А вы измываетесь, да ещё и это оскорбляете, — он указал на автомобиль.

— Мы — люди занятые, — ответил мой друг, — и купаться хотим. А «это» так брыкается, что и подковы летят, — добродушно заметил он, указывая на колесо.

— Что же, по-твоему, если кто стар, так его убить? Каннибал! — взревел Хук.

Вдруг, Пио, начав возиться с мотором, плюнул, подняв обе руки вверх, не то призывая небеса в свидетели, не то сдаваясь, гробовым голосом отчеканил:

— Забудем прошлое! Ударим по рукам!.. За 15 долларов, Хук, продадим его им? Ведь ты хотел купить автомобиль? — обратился он к моему другу. Тот перекрестился.

— Вы будете жалеть! — бросил нам вслед Хук.

Мы ушли. Через три дня мы узнали, что оба друга поехали таки в Калгари — 80 миль от отеля — и по пути продали автомобиль какую-то храбрецу... за 65 долларов.

Напрасны были все наши старания узнать судьбу этого храбреца. Оба, автомобиль и храбрец, исчезли бесследно.

НА БЕРЕГУ МОСКВЫ-РЕКИ

Дорогой друг и все мои друзья, ждущие писем из Канады. Это письмо я пишу на берегу Москвы-Реки! Не путайтесь и не смотрите на штемпель конверта. Далеко от меня красная Москва, так же далеко, как и златоглавая — с её сорок сороков церквей. Но Москва-Река в глинистых берегах шумит передо мною, и я бросаю в нее, отрываясь от письма, комочки земли, и они, булькая, тонут в мутноватой воде. Это канадская Москва-Река, недалеко от устья Ред Ривер. Некоторые историки писали, что Москва — слово финского корня и означает — мутная вода. Я вспоминаю эти догадки, глядя, как мутноватые струи

новой Москвы-Реки играют по ее поверхности. Преудивительное дело, или, как говорит сейчас мой приятель:

— Не мечтание ли сонное? Или это вроде, как навождение? Тут всё есть! Река, слышь, Москва называется; и Лондон есть, город тоже, и Париж какой-то переселился, и в нем парижане живут. И Берлин, говорят, был, да сгинул. Как война объявилась и немцы канадцам противны стали, потому что нехорошим делом агрессии увлеклись, то Берлин переименовали, и нет его больше!.. Раз уж повелось, что всяких принимают, всякие города должны быть, всякого языка, а то может статься, что и Париж переименуют. Поцапаются с французами, нет, скажут, больше не нужен Париж в Канаде, а переименуют его в какой-нибудь Титотаун. А так, как бы мечтание истории сохраняется.

— Послушай, мне так писать неудобно, а ты мне тут еще мешаешь!

— А спички у них, как потушишь, не тлеют после. Ты об этом написал? — сказал мой приятель, закурил и примолк на минуту... — Видишь, как хорошо! Тишина какая сотворилась и Москва-Река шумит.

Слушая многословного друга, я подумал, что англичане не многословят. Разговорчивые они бывают, но многословные — очень редко. Не любят они и не понимают россиян, стремящихся при всяком удобном случае «раскрыть всю душу». Терпеть не могут также того, что у нас говорится «размазывать». Такого субъекта сочтут сумасшедшим, в лучшем случае — неуравновешенным. Здесь признают право быть неуравновешенным только за одним сортом людей — это индейцы. Сии пенсионеры Канады пользуются всеми правами гражданства кроме одного: индейцы не могут покупать и пить спиртное. Пьяный индеец действительно может сделать что угодно. И если русскому пьяному море по колено, то нетрезвому индейцу и океан по щиколотку. В провинции Манитоба закон предвидит строгие наказания для тех, кто даже угостит индейца вином или пивом. Почему так действует алкоголь на индейскую голову, я не знаю, но что это правда, вы можете прочитать у Вилл Хенри — «Оставшихся в живых нет».

Мало осталось индейцев в Северной Америке, и все же они оставили неизгладимый след в истории, в литературе, во всей культуре белых в Америке. Вспомните поэму Лонгфелло «Местъ вождя», «Дождь в лицо», или «Песнь о Гайавате». От Фенимора Купера до Зане Грея, Оливера Кервуда и Роджерса, они (индейцы) заполнили бесчисленные романы приключений, исторические повести; сделались романтическими и героическими персонажами детских игр, от товарищей Тома Сойера до архангельских, вятских и тобольских гимназистиков. И как в экономике, в пище, во всей жизни Европы мы не можем учесть всё огромное, иногда решающее, значение американского картофеля, кукурузы, ванили, табаку и т. д., так и в романтике, в литературе роль индейцев-героев, необыкновенно важна и интересна. И вот здесь, в Канаде, мы видим ясные следы этой своеобразной культуры многолюдной расы. Мчатся автомобили, а на тонких радиомачтах, на этих гибких стальных прутиках, развевается лисий хвост. На маскарадах и балах я вижу покрытые перьями индейские головные уборы. Мягко ступают,

бесшумно проходят сотни тысяч женских ножек, обутых в мокасины. Мода этой обуви прошла через Европу. Значение индейцев, вымирающих, сливающихся с белыми, всё же так велико в жизни Америки и Канады, что надо упомянуть о них. Названия городов, озёр, гор и рек часто остались индейскими. Разные племена, разные народы, но все же индейцы — это индейцы, а бледнолицые останутся бледнолицыми. И только индейские скаву многих племён давали и дают ещё имена своим новорожденным детям по тому предмету или явлению природы, которое первым увидят. Пора кончать это письмо. А вот хочется ещё сказать об особом течении в канадской литературе, литературе такой молодой, ещё неоперившейся. Рядом с английской литературой существует французская и, насколько мне известно первыми, настоящими писателями Канады и были представители французского языка. Я посоветовал бы вам прочесть книжку, описывающую детство городского обитателя француза — Роберта Фонтена «*The Happy Time*» («Счастливое время»). Это тонко описанное детство. Чуткая любовь, игривый, местами глубокий и живой юмор, редкая чувствительность ко всем весёлым и печальным мелочам жизни отличает эту книгу от многих канадских книг. В ней есть особое слияние французского и английского духа. В этой книге вы увидите жизнь такой, как её видел и воспринимал исключительно чуткий ребёнок и почувствуете, вместе с прустью, что всё проходит, как детство, незаметно и невозвратно, глубочайшую любовь к стране, к людям, к животным, к жизни. «Да, — как говорил чужак, дядя мальчика, глубокомысленно и шутливо, — мы весьма короткое время на земле, и очень долгое время будем под землей». «Но пока мы на земле и у нас есть хорошая еда, добрые друзья и музыка, то разве мы не можем считать себя счастливыми и примириться с тем, что получив свое, мы уйдём навсегда», — приблизительно так говорил отец мальчика, утешая его в горестях.

Письмо казалось мне всегда связанным с чем-то крылатым, с чем-то поющим. В детские годы я не мог понять, почему говорили: пришло письмо. Мне думалось, что оно прилетело залётной певчей птицей, а теперь сложило свои крылья, чтобы через секунду затрепетать ими и запеть чьему-то сердцу. И сейчас я хочу вообразить себе, что это письмо долетит до Европы и домчит на своих белых крыльях мою скромную песнь о Канаде.

НЕЧТО ОБ ОТЕЛЕ И СОЦИАЛИЗМЕ

Я написал моему доброму знакомому канадцу о новой жизни в Спрингс-отеле английское письмо. Будучи редактором одной большой провинциальной газеты, он напечатал его, искусно вставив в рамки живой и интересной статьи о новых иммигрантах в Канаде.

Там были только факты, здесь же и мои думы о самом больном вопросе — о социализме.

После полуголорабочей безработицы я приехал на сезонную работу уборщика нижнего этажа огромного отеля Национального парка Канады. Колоссальный, в тысячи квадратных вёрст, парк больше Иелстонского. Тут и реки, и рыбные озёра, и густые леса со зверьём

— от лосей, оленей, карибу и бизонов, рысей, медведей, горных львов до бобров и опоссумов; тут водопады, летящие с головокружительной высоты 1300 футов (поворот, один из них Такхау — третий в мире по высоте падения) и ледники, и пещеры, и озёра, чья глубина больше, чем высота их окружающих гор. Велик, разнообразен, интересен Национальный парк, и так же велик по-своему и Спрингс-отель. Свыше семисот служащих работает в нём в течение сезона, с мая до сентября. Потом отель закрывается, и очень немногие, постоянные служащие поддерживают полууснувшую жизнь этого гиганта. Гости съезжают в иконе и живут приблизительно до конца августа — начала сентября.

Почти весь май отель готовится к приёму посетителей. Чистится, моется, прихорашивается. Поправляются площадки для гольфа, бассейны для плавания, клумбы, сажаются цветы, начинается привоз и приём разнообразных продуктов питания в склады и холодильники...

Ну-с, тут, конечно, и аз многогрешный нужен: чистить, подметать, мыть, убирать, вносить и выносить, дезинфицировать и прочищать. Нижний этаж отеля — тракты питания и «извержения» использованного.

Приходится бегать то туда, то сюда: то в лифте перевернули сливки, то перед холодильником разбили несколько бутылок пива. То ветер могучих вентиляторов разнёс во все стороны стружки и бумагу во время распаковки пакетов, и надо всё собрать и подмести, а воздушная струя уносит с совка уже собранный тобою сор. Словом, беготни довольно.

При этой чистоте и уборке встречаешься со многими служащими всех рангов и специальностей, от молоденьких барышень и «лифт бов» — из пассажирских лифтов, кельнерш, лакеев, мастеров, инженеров, — вплоть до шефов канцелярий. Я жадно прислушивался к горланно-носowym журчащим и внезапно вспыхивающим звукам чужой речи, присматривался к манерам, приглядывался, как ведут себя подчиненные и начальники. В общей сложности впечатление создалось отрадное, и приветливость и доброта многих часто меня поддерживала в одиночестве.

Когда я шёл в город, меня очень часто подвозили на своих автомобилях; ко скромно сидящему в уголке залы отдыха подходили незнакомые люди и старались завязать со мной приятельский разговор. Тут бывали и очень недурно одетые лэди, спрашивавшие меня, действительно ли не хочу танцевать, или не умею. Это меня удивляло, потому что я парень довольно неказистый, да и костюм у меня был того... Когда меня однажды обокрали в отеле, то часть служащих, а именно 25 человек, сделали складчину и вернули мне всё, присовокупив к деньгам и необыкновенно дружеское, с едва заметным налётом юмора, письмо. Потом у меня появились уже и настоящие приятели и друзья, заботившиеся о моей особе очень активно и как-то необыкновенно просто.

Я не слышал, чтобы начальство не только орало, но и повышало голос в целях распекания или приказания чего-либо. Окончив работу к 5 часам, и поужинав, кто хотел, отправлялся в recreation hall; там можно было играть в пинг-понг, танцевать, играть на пианино; часто

бывали вечера, где выступали, приглашенные дирекцией отеля, настоящие артисты на небольшой сцене. Членский взнос за весь сезон был около доллара, и почти все мы были членами рекхолла. Львиную долю расходов принимал на себя отель. Члены клуба были разных занятий и социального положения. Студенты последнего курса консерватории, служившие кельнерами и «босс-боями», чтобы заработать карманные деньги или заплатить за право учения; богатенькие сынки, приехавшие из Англии, по приказу папаш, чтобы свет посмотреть, себя показать, и немножко к делу приучиться; учительницы, приехавшие, главным образом, потому, что хотели подлечить ревматизм, а жить в Беннифе и лечиться — было для них слишком дорого; сыновья фермеров, слесари, водопроводчики и т. д. И вот тут я стал задумываться над тем: возможен ли социализм, а если возможен, то в какой форме здравомыслящий человек может его себе представить? Мелкие сошки в отеле получали жалование около 100 долларов. Не говорю, конечно, об инженерах, поварах и т. п. Питались в столовой с самообслуживанием, где за прилавком вам накладывали еду и ставили на ваш поднос, который вы уносили на свободный столик. Меня поразило после многих лет европейских голодовок и большевистского «рая», что можно было прекрасную пищу, а часто даже и пирожные, брать два раза; что кофе, чай, молоко, можно было пить в любом количестве (конечно, не унося из столовой); что сахар, вкусные соусы употреблялись нещадно, хлеб, салат и в счёт не шли. Кто был обжорой, съедал и тройные порции. Со всех взималось одинаково, а пища была, повторяю это с удовольствием, преобильная: лососина и свинина, индюшати́на и говядина, желе и мороженое, фруктовые соки и свежие овощи. И я подумал: кормят на убой и роскошно, работать заставляют не слишком тяжело, есть выходной день, бесплатные души, бесплатное мыло, каждую неделю меняют постельное бельё и дают новое мохнатое полотенце. Большинство во время службы одето в очень разнообразную и красивую форменную одежду отеля (и её получали бесплатно). Словом, позаботились обо всём, многих уравнили, и жить не трудно, чувствуешь, что подписал контракт, мирно можешь отдаться течению дней, а если платишь около 2-х долларов в медицинский фонд, то и болезней не боишься. Капиталистическим социализмом назвал я наше житьё.

Тут я решил было поговорить и о утопиях, и кровавых утопиях, но, пожалуй, какое дело и моим друзьям-приятелям и всем возможным читателям, что я думаю о социализме Платона, Томаса Мора, Кампанеллы, Фурье или Георгия Валентиновича Плеханова, перед которым так долго преклонялся сам Ленин. Я говорю только, что будучи много лет упорнейшим противником всякого социализма, как опасной и всегда грешной утопии, я задумался над будущим, взвешивая, какие изменения в ходе цивилизации, в рабочий вопрос, в использование сил природы, внесёт освобождённая энергия атома, и каков будет способ устройства большинства людей в новых государствах, как устроена, ну, хотя бы жизнь служащих большого курортного отеля C. P. R. (Canadian Pacific Railway).

ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ

Самый большой здесь праздник взрослых и детей — Рождество. Это праздник, от которого зависит очень сильно business и вместе с тем это национальный праздник всех церквей Канады. Даже скромные, но очень общительные канадцы, посылают штук по 100 да и больше поздравлений с праздником. Кроме того, их дети пишут поздравления своим школьным товарищам, родственникам и родственницам всех сортов. Изумительное множество прекрасных картинок, открыток, «диптихов» и «триптихов» с ёлочками и пейзажами, с наклепными украшениями заполняют витрины магазинов. Все эти поздравления снабжены надписями, соответствующими случаю стихами, пожеланиями, то весело-трогательными, то забавно-шутливыми, то высоко-художественными. На обороте картинки старого Лондона вы прочтете отрывок из Диккенса, или какого-либо другого знатока Old merry England; канадские горы и леса славят канадские писатели. И столько этих привлекательно раскрашенных и со вкусом сделанных поздравлений, что просто глаза разбегаются.

Ну-с, и вот ваш покорный слуга не льком шит, решил хоть потуже подтянуть пояс, но поздравить всех своих знакомых, а их у меня немало. Я пошел в магазин и обратился к прехорошенькой продавщице, сказав: «Я желаю послать поздравления к Рождеству. Покажите мне самые хорошие, подороже и получше». Обворожительно улыбаясь, она спросила: «Вы какие хотите, личные поздравления (Personal greetings), или просто поздравления к Рождеству?» Как же, подумал я, я поздравляю персонально, а англичане и канадцы так ценят personality. «Personal Greetings! — сказал я, — for sure!» Для меня sure и for всегда было погибельно.

Поздравления были очень хорошенькие. Некоторые были обсыпаны каким-то серебристым снегом, на других, у камина, собиралась семья вокруг старых родителей, на третьих ангелы пели Славу Божью меж пастухов и овецек. Придя домой, я выгащил лист с адресами и марки, (конверт прилагается к каждому поздравлению), и быстро подписав все поздравления, не читая английских стихов и изречений (я был уверен, что они прекрасны), я положил картинки в конверты, написал адреса и счастливый и довольный (о, как коротко наше счастье, как непрочно наше довольство!) я опустил их в первый почтовый ящик, красный почтовый ящик с гербом Канады, стоящий на четырех ножках на перекрестках улиц. Придя домой, я был доволен, даже корм для собак, которым я тогда главным образом питался, съел с малым неудовольствием. Вот, говорил я, какой я новый гражданин! Все хорошие обычаи соблюдаю!

Потекли дни, но отозвались на мои поздравления очень немногие. Вскоре после Рождества я получил недоумевающее письмо от одной весьма молодой и хорошенькой особы, которая спрашивала меня, отвечая на мой «personal greeting», с каких пор она имеет честь быть моей женой и какие это дети вместе со мной обнимают её. Я ничего не понял, но как-то внутренне «приуžasнулся». В грустное недоумение повергло меня вскоре ответное поздравление Reverend-a N. N., старого монаха и священника Англиканской церкви. Довольно добродуш-

но, но упорно, он спрашивал, как это меня угораздило «всё стремление сердца вложить в поцелуй черных кудрей моей sweatheart?» Остолбенев, я задрожал, читая его письмо. Схватив в охапку шапку (кушак у меня не было) я помчался в магазин прелестницы и печально улыбаясь, очень попросил показать мне «personal greetings». Она показала мне. И вот к моему смущению прибавился ужас и смятение...

Дорогие друзья, «personal greetings» штука хорошая, трогательная, но «бьёт на личность». Это, как вам сказать, подобрана серия: бабушке, невесте, жене, дядюшке, опекуну и т. д. и т. п. Я всё перепутал и оно выходило иногда оскорбительно, а может быть смешно до слёз. Представьте себе, что мать семейства получила поздравление: «Старый дружище! Ты помнишь, как мы...» и т. д. Древний старик — страстное послание к далеко-близкой. Словом, бабушка стала внучкой, а внучка бабушкой. Да, опасная штука, не зная броду соваться в воду! А кроме того, советую вам всегда читать то, что посылаете как поздравление.

СЧЕТ В БАНКЕ

Вопрос: Отчего у меня нет счёта в банке?

Ответ: Такова твоя планида!

Письмо это разделяется, не совсем ясно, на три части: эпическую, лирическую и драматическую. Но «лирический беспорядок» преобладает: не в деньгах счастье... да! Но... без денег — несчастье. Правда ли?

Канада, и большинство её обитателей, выглядит зажиточно. Разумеется прошли те баснословные времена, когда приблизительно за 1 доллар вы могли купить 25 фунтов сахару или приличные брюки. Но, тем не менее, крутом себя не видишь ни обсосанных голодом лиц, ни рваной одежды, ни заплат, по крайней мере на выходной одежде. На работу все одеваются погрязнее или облакаются в комбинезоны, а чуть конец — переодеваются и часто эдакими фуфусами щеголяют, что просто ахаешь и удивляешься: шляпа, скажем, белая с громадными полями — West; сорочка шёлкопрядно-пёстрая, костюмчик — пара (жилет давно из моды вышел и здесь) синяя-индиго с отливом, галстук — целая картинка на нём в ярких красках, да и все прочее такое же. Галстуков, таких как здесь и в США, я в стареющей Европе не видел, а только слыхом слыхал. Ну, к примеру сказать, на палевом фоне зелёный, лягушкина цвета, кактус и колпочки и пупырышки на нём совсем, как натуральные. Или: женщина руки над головой заломила в эдаком экстазе, а вся, как Ева до грехопадения. Словом, галстуки здесь очень примечательные бывают. Главное же не в них, а в том, что свобода, и у всякого свой вкус, и есть за что купить. Нищих просто не видеть, но знаю, что они есть, ибо на многих дверях в больших городах находятся аккурратно прикреплённые дощечки с надписью: No canvassers — (попрошайкам, нищим приступа нет). Большинство живёт, повторяю, в достатке. Я искренно говорю, будь я моложе — лет этак на двадцать — я бы и сам сколотил себе маленький капиталец.

Средний рабочий 1/8 жалования может откладывать, в банк помещать, и свой счёт в банке иметь.

Встречаясь со многими канадцами, заполняя анкеты, обращаясь в банк, чтобы послать кое-кому десяток долларов, я столкнулся с сердцевинной многих канадцев. Они спрашивали меня, есть ли у меня чековая книжка, и в каком банке я держу свои сбережения. Сперва я глупо, по-детски смеялся и спокойно заявлял: «Нет! Ха-ха-ха-ха, у меня её нет!» Однако, мой добрый приятель англо-канадец посоветовал мне избегать этого. Он утверждал, что и жалования мне всегда дадут меньше и уважать почти совсем не будут, если узнают, что у меня нет счёта в банке. Я приумолк и стал присматриваться. И что же вы думаете? Он сказал мне чистую правду, стопроцентную истину. Я очень пригорюнился. В самом деле, ну, как не запечатлеться: вы помните, что еще в Евангелии сказано: «Легче пройти верблюду сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное». Кроме того, социалисты всех толков от Фурье и Прудона до Робеспьера и Маркса очень нападали на богатых. И что-ж, признаюсь без утайки: я люблю и уважаю богатство и у незнакомых мне богатых людей. Вырвавшись из коммунистического рая, я, помню, полутолодный, с радостью от чистого сердца, благословлял роскошь витрин, весёлые сытые лица среди потока людей на улице, сверкающие лаком бёдра автомобилей. Я думал: это тебе не партиец, ну, как не кровавый чекист, не генерал УДВ или НКВД, а просто гражданин — Х. У. З-ович. И едет он с женой в гости и не боится говорить, о чём хочет, громко и бодро. Я признаюсь честно: я люблю богатство может быть и потому еще, что оно для меня недостижимо и окутано тайной бездны, над коей вьются розовые переливчатые облака неясных желаний — надежд, упований и стремлений. Привлекательная вещь богатство, упоительно заманчивая штучка! О, я хорошо, слишком хорошо помню и скупого Плавта, Гарпагона Мольера, и Шейлока Шекспира, и Скупого Рыцаря Пушкина, и Кир Яно Поповича, и Плюшкина Гоголя, и Скруджа Диккенса... В литературе богачи или комичны, как у древних, или часто трагичны, как у новых. Только Подросток Достоевского мечтал как-то по-своему о тайной мощи богатства. Моя матушка мечтала о богатстве: построить огромный дом для бесприютных и дать им и хлеб, и кров, и работу. Иногда и мне безмерно хотелось богатства, чтобы иметь магическую власть сделать тысячи тысяч подарков и умножить ими радость жизни тысячи людей — собрать друзей — приобрести их «богатством неправедным». И горько, а часто и больно, бывало мне то чувство презрения скрытого, но тем более чувствительного, которое я замечал у канадцев, когда они видели, что «я весь тут, а за душой — ничего!»

Ничего и Ничто почти одной сущности. Мудрый и сентиментальный Храбанус Маурус еще в 12 веке философствовал о прискорбном — Ничто, как о пустом, безобразном, жалком небытии, «над коим состоянием, говорил он, нельзя пролить достаточно слёз».

Я знаю, что мои дорогие канадцы прибыли сюда из той же Европы; я знаю, что с громадными, часто сверхъестественными усилиями создавали они сытость, зажиточность и богатство, комфорт и благосостояние своё и своей новой родины. И вот, тот, кто выбился, кто гор-

бом и рывом, годами «вкалывания» и потом «в семь ручьёв» создал счёт в банке, построил уютный домик, приобрёл землю, открыл фабрику, простроил мост, тот и есть ценный, уважаемый гражданин. А у кого за душой одни грустные думы и в голове «пустобрешные знания» ничемных вещей — тот малоценен. «Может быть, он к тому же и пьянчужка, ленивец, или еще хуже — неудачник? С него пользы, как с козла молока — ни капельки». О, я отлично понимаю, почему в свободной конкуренции свободной широкой страны они, мои новые сограждане, так думают и чувствуют. И всё же я, радующийся их комфорту и веселящийся их богатству, их железно-стальным бегущим коньям-автомобилям, чуть-чуть жалею их. И жалею их совсем не потому, что боюсь и за них и за себя, предвидя всякие революции на матери-земле, и не потому, что они-де богатые, а Лазарь-то я. Совсем нет! Мне хочется, чтобы их не тяготило презрение и не надувало самомнение. Слушайте! Я радуюсь вам без горечи, без зависти, без боли. Я знаю: Господь подарил, Господь благословил труды ваши, обилие дней ваших. Ну же, соотечественники Great Country, вспомните, что Канада носит и вас и меня. И что солнце сияет одинаково для богатых и бедных.

НЕЧТО О ЦЕРКВАХ И ДУХОБОРАХ

В Канаде преобладают три вида христианских вероисповеданий: католики, протестанты и англиканцы. Конечно, существуют и униатские, и православные храмы. В Квебеке (в городе и провинции), а часто и в Монреале, господствует католическая церковь. Первый канадский университет создал католический епископ в 17 столетии. Когда Канада, после семилетней войны, досталась, наконец, Англии, некоторые французские аристократы и дворяне, владевшие землей в Новой Франции — Канаде на почти феодальных началах, выехали, не желая покориться английскому закону. Вот тогда, из представителей трёх властей: военных, административных и духовных остались верными и не оставили паству только духовные чины. С тех пор они имеют огромное влияние во французской части Канады.

Основная масса верующих принадлежит ко всем видам и разновидностям протестантской религии. Среди лучших представителей этого христианского вероисповедания всё ещё живёт и действительно горит пламень, зажжённый Виклифом, Гуссом, Лютером, Кальвином и Цвингли. Они всё ещё протестуют против католичества. Когда-то Достоевский («Дневник Писателя») заметил, что если католичество умрёт или сольется с социализмом, то исчезнут все протестантские веры, ибо не будет того, против чего они протестуют. Это, конечно, жестоко преувеличено, но доля истины есть.

В Канаде развилось так много протестантских толков, что, наконец, в 1925 году значительная часть их объединилась. Это так называемая United Church of Canada. Однако пресвитериане большей частью сохранили свою особую церковь и своё управление.

Когда я бывал на богослужениях в России, на ближнем Востоке в православных, армяногрегорианских, грузинских, католических церк-

вах, — в Соборе ли св. Петра, или в церкви Спаса на Крови, в Триестинском II Дипто или в Соборе Пресвятой Богородицы в Париже — я вспоминал, что церковь есть мистическое тело, «соборное тело, тело Христово — София по преимуществу», «соборное единство — глава ему Христос», что есть и церковь небесная, её же члены святые и праведники.

Когда же люди отбрасывают традицию, забывают святых и Приснодеву Марию, то они (так я чувствую) уже не являются церковью, а представляют собой, может быть, и очень важное, и очень социально значащее, и очень уважаемо-почитаемое, но общество религиозных людей. Это чувство с исключительной силой овладевало мною во время богослужений в протестантских церквях.

Для того, чтобы как-то войти в канадское общество, проникнуть в клубы, слиться с канадским народом, мне кажется, это можно достигнуть тремя путями: путем спорта, путем парлора (пивной) и путем церковных обществ. При церквях существуют всякие Ladies Aid, которые устраивают чаи, базары, организуют детские празднества, хоры. Члены определенной церковной общины помогают при устройстве различных церковно-общественных манифестаций, — кто мускульной силой, кто сандвичами, кто деньгами. Суммы, жертвуемые на церковь, освобождены от всяких налогов. Всё, что покупается для церкви, покупается вдвое дешевле, будь это материя на рясу или нефть для отопления.

Это, конечно, всё хорошо, а теперь я хочу рассказать об одной секте, имеющей отношение и к России.

Еще до первой Великой войны, преданные революционности «деклассированные интеллигенты» рассуждали, как суров был император Александр III и правительство Николая II, проткнув таких добрых, свобододолюбивых духоборов. Им было важно, что духоборов гонит правительство и осуждает православная церковь; что они против войны («долгой оружие!») и вообще против наших порядков, — значит — «мученики». В Британской Колумбии живет самое большое число сих «достохвальных» духоборов, коими так восхищался наш русский Жан Жак Руссо — Лев Толстой. Их около 10.000. Среди них есть, конечно, люди различного толка. Приблизительно четверть принадлежит к особо фанатическому толку «Сыновей Свободы». Канадцы радушно принимали «гонимых за веру» и отвели им недурные участки земель — благо они были поголовно хлеборобами-крестьянами. Эти «мученики» — „Doukhobors“, как их здесь зовут, оказались настоящей язвой. Вот несколько выдержек из канадских газет и полицейских сообщений: «Фанатики... пятьдесят лет уже борются против канадских законов». «Сыновья Свободы» имеют свой главный стан — ставку на юге Британской Колумбии. Они накрали динамита во время минерских работ в копях и на дорогах... На прошлой неделе они сожгли 16 домов... взорвали несколько вагонов в поезде... Сожгли весь свой свезенный в амбары урожай... Плясали натишом вокруг весьма большого пламени и металы в него одежду и деньги...» «Днём и ночью на некоторых железнодорожных мостах должна стоять стража... Ночью освещать

цают мосты, ибо они, крадучись, приближаются и взрывают или жгут»... «Население протестует и требует защиты, троясь самосудом, если власти не воспрепятствуют орде поджигателей... От горящих домов фанатиков воспламеняются постройки мирных граждан...» Тысячи духоборов сидели уже за подобные дела в тюрьмах, но не унялись. Беда в том, что их силой не хотят выселять, ибо хотя они и «unbalanced characters», но и «они полноправные граждане Канады».

КТО И КАК ОТКРЫЛ КАНАДУ

Тысячу лет тому назад климат был вероятно теплее, меньше было льдов около Гренландии и Ньюфаундленда. А в мире было столько неизведанного, таинственного, легендарно-сказочного. «По полярным морям и по южным, меж изгибов зеленых зыбей» летали одномачтовые высоконосные корабли — «ковши» норманнов. Из земли, что рождала только «железо и людей», из Скандинавии плавали они до Неаполя, Сицилии и Царьграда, спускались от Новгорода до Киева «путем из Варяг в Греки». Завоевали острова и земли, захватили север Франции и, наконец, (1066 г.) самую Англию. И у истоков русской истории стоят тени варяжских князей. Крылатые островерхие шлемы северных дружин помогли Св. Владимиру вернуться из Скандинавии на Русь и сесть на «велико-княжеский стол» в Киеве. На рассвете, в неясном сумраке истоков истории канадской земли видим те же норманнские легкие лодки с двадцатью восемью щитами по бокам... Парус рвет и полощет ветер. Плюёт солёной пеной море. Вдали, чуть не у тонкой черты, там, близ горизонта, взлетают и вспыхивают, опадая, фонтаны, блещут на солнце мокрые островки темных китовых спин...

Как-то летом 985 г. примчалась высоконосная ладья пирата Бьярни сына Герульфа. Каждый второй год приезжал он в Исландскую гавань к отцу своему выпить с ним эля, поговорить о подвигах и планах. Так было и летом 985 г., когда он опять вернулся домой в Исландию, но отец как раз отплыл с Эриком Красным помочь основать колонию на новооткрытых скалистых берегах Гренландии. «Но не было в море страха для него», и сын помчался догонять отца, хотя ранее никогда не был в Гренландии. Сбившись с пути (так говорит исландская сага), приплыл Бьярни к низким лесистым берегам земли много южнее. Это была Канада. Бьярни повернул назад, затем на север и уплыл в Гренландию, где и рассказал норманнам о плоской, покрытой лесами стране, «там, далеко на юг».

И вот в 1000 году сын Эрика Красного Лейф Счастливым отправился искать «страну, которую видел Бьярни». Он нашел её и проведя зиму на её гостеприимных берегах назвал страной Виноградной Лозы. Говорят, что с Гренландии и Исландии приехали позднее норманны и имели даже свои колонии на берегах Канады. Правда ли? Так ли? Следы утеряны. Нет археологических данных об этих поселках. Индейцы ли? Цынга ли? Междоусобицы? Голод ли истребил население? Ветер истории замел все следы. И только сто лет назад нашли на одном из островов Баффинова залива пирамиду из камней с рунической надписью: около 1135 г. храбрые норманны были здесь. Спускались они и сотни миль южнее. В центре материка, в североамериканском

штате Миннесота был обнаружен камень с рунами. Они говорят, что в четырнадцатом веке проникли храбрецы до дикого Запада, до страны прерий. В XIII, XIV веках эскимосы разорили поселения исландцев в Гренландии. Забылось всё. И юг Европы и сам Колумб в XV столетии ничего не знал о бывшем за 500 лет до него открытии Нового Света, об отважных викинггах, топтавших берега Северной Америки.

Некто, Джиованни Кабото, генуэзец по рождению, служа посредником богатого торгового дома Венеции, постарался разузнать в Мекке, откуда же это с востока приходят пряности, шелк и кровавые рубины. И чуть не раньше Христофора Колумба возымел он жаркое желание достичь стран шелка и пряностей «Индии богатой», плывя всё на запад по Атлантическому океану. Не знал он, как и Колумб, что целый неизведанный континент загородил «дорогу прямоезжую» в страну пряностей и шелков. Он поехал из Бристолья около 1480 г., поступив на службу Генриха VII Английского. Но первая попытка сорвалась. Ветер и туманы остановили корабль. А твердой веры в путь по океану в Индию и Китай и его рентабельность ещё у людей не было. Но вот, когда узнали в 1493 г. в Англии об открытии Индии Колумбом, собрали кое-какие средства бристольтские купцы, и на легкой посудине, крохотном корабле «Матфей», с 18 человек команды отплыл Джон Кабот (тот же наш Джиованни Кабото) на Запад. Он доплыл до Кап-Бретона в Канаде и водрузил английский и венецианский флаг.

Но хотя эта страна и не имела шелков и рубинов, и пряности не росли на её полях, и хоть ничуть она не походила на «Страну Великого Хана», он всё-таки открыл новые богатства — рыболовные места у Нью-Фаундленда. Его молодой сын рассказывал, что рыбой так кишели воды, «что она иногда останавливала корабль». Это привлекло рыболовов и китобоев в далекие воды Канадской земли. И потом уже многие корабли стали бывать у её берегов. Но первый, кто проник в сердце Канады и открыл её «великий водный путь», был Жак Картье (Cartier), состоявший на службе Франциска I-го, короля Франции.

В 1534 г. вошел его корабль в залив Св. Лаврентия. Он исследовал берега и встретил индейское племя гуронов, одарив их щедро от имени Короля Франции. Индейским девам он преподнес «по маленькому звоночку» и так пленил этим их сердца, что они бросились ему на шею от глубины счастья. Картье удалось прельстить двух сыновей вождя поехать с ним назад во Францию. Перед отплытием он воздвиг на берегу мыса Gaspé тридцатифутовый крест, прибив к нему щит с белыми лилиями и с надписью: «Да здравствует французский король!» Индейцы были весьма встревожены этим крестом-гигантом, но хитрый Картье успокоил их замечанием, что крест-де поставлен прежде всего, как знак-маяк для кораблей. Во второе своё путешествие Картье открыл реку Св. Лаврентия, воображаемый путь в Китай, и острова, где ныне находится город Монреаль.

Ему пришлось зимовать в Канаде. Снег, ветер, холод и цынга косили людей. Вскоре не стало сил даже рыть могилы для умерших: «Земля так сильно промерзла, а мы были так слабы» ... писал он.

Весной Картье сумел вернуться с оставшимися в живых матросами во Францию и спустя несколько лет отважился и в третий раз пое-

хоть в Канаду. Ему принадлежит заслуга открытия великого водного пути к сердцу Северной Америки.

В те времена и столетия спустя, мечтой всех моряков всплыла заманчивая, но несбыточная идея: открыть «Северозападный проход», морской путь в Китай. Сколько знаменитых мореходов, особенно англичан, отдало здоровье, средства и самую жизнь за эту затею! А казалось всё так просто: на север от Лабрадора есть же великое море, свободное временами от льда. И самый вход в это море (теперешний Гудзонов пролив) еще в 1570 г. нанесли на карту португальские мореплаватели.

Давно это было, это было... было, когда Царство Московское, прибрав окончательно к рукам пятинны Новгородские, тянуло к себе купеческими руками земли Хана Кучума, землю Сибирскую. В «Английской Московской Компании», той, что через Архангельск начала торговлю с россиянами, той, чьи серебряные «монеты английские» находят на севере Руси, на местах бывших дворов и складов Компании, на службе у этой торговой фирмы и прославился впервые Хэнри Гудзон. Служил Гудзон и в Голландско-Индийской Компании, достигал он и до тех мест Северной Америки, где ныне стоит Нью-Йорк. Он-то и открыл и гавань и реку, носящую теперь его имя — рыбную реку Гудзон. Храбрый был это и неукротимый морской волк. В 1610 году отплыл он из Англии на утлом судёнышке, по нашему теперешнему масштабу — лодке в 55 тонн водоизмещения, искать «Северозападный проход». Гудзон пробился через льды пролива и, ликуя, ввёл свой кораблик «Discovery» («Открытие») в холодные чистые воды внутреннего моря. Но, увы, это был не путь в Китай, не начало Тихого Океана, а залив, носящий ныне имя Гудзона. Проведя зиму в жестоких лишениях на берегах залива Джемса, он, из-за недостатка пищевых продуктов, решил вернуться в Англию. Безумные матросы взбунтовались, боясь, что припасов не хватит, а, может быть, и раздраженные желанием капитана на возвратном пути исследовать другой берег залива. Только горсточка команды встала на сторону Гудзона. Бунтовщики овладели капитаном, швырнули его без припасов в лодку, туда же бросили его сына и кое-кого из приверженцев морехода и... уплыли домой. Долго еще они видели легкую открытую лодочку среди грозных тловучих льдов и пенных валов... Снежило. Капитан стоял у руля лодки и грозил кулаком бунтовщикам. Угроза его была пророческой. Почти вся команда «Discovery» погибла, сбившись с пути, не имея вождя и опытного капитана. Судьба Гудзонов — отца и сына, и их двух-трех приверженцев неизвестна. Во льдах Севера, в волнах залива, в снежной вьюге, в туманной изморози берегов Лабрадора видят их тени.

Но редко в истории кому так «повезло», как Гудзону! Его именем названа одна из самых богатых торговых компаний мира. «Худзон Бэй Компани» (Hudson Bay Co.) Из земель этой компании («Руперсова Земля»), откупленных в 1869 г. правительством, выкроены три коллосальные провинции Канады: Манитоба (1870), Альберта (1905) и Саскэчеван (1905).

И в наши дни Hudson Bay Co. одна из богатейших акционерных компаний Канады и Северной Америки. Нет, не капитану Хэнри Гудзону, но его имени повезло: река, залив и мирового значения общество носят его имя. Можно ли требовать от истории и посмертной славы большего?

*

Есть целая серия объемистых томов «Творцы Канады» («The Makers of Canada»). Это биографии, исторические материалы о великих путешественниках, политических и военных деятелях Канады. Но ни одному из них не может принадлежать с большим и почти исключительным правом это возвышенно лестное наименование, чем Самуэлю де Шаплэну, Отцу Новой Франции.

Капитаны кораблей открывали новые земли, наносили на карты острова, заливы, целые материки. Из пены рокочущих светлопривастых валов, на черте горизонта вставала рожденная из моря, еще неведомая земля. «Земля! Земля!...» Это было, это правда! Но познает землю, но овладевает ею тот, кто идет по её таинственным тропам, кто за цепью гор видит долину с блестящей широкой рекой, зелёный луг, животных и людей новой страны. Не мореходу, а путнику принадлежит земля. Тому, кто топчет её, кто ложится у костра, кто видит голубые и зелёные глаза глубоких озёр, пьёт из ручья, переправляется через стремнины, проникает ухом к земле, слушает... Тому, кто вдыхает запах хвои и цветов; кто льёт свою и чужую кровь на жадную землю; кто взрывает, рыхлит почву и видит, как растёт из лона земли новая, зелёная, молодая жизнь, внесённая им и зачатая матерью землёй.

Бретонец по рождению, Шаплэн был моряком и солдатом Генриха Наваррского. Это был гениальный человек, исследователь и воин, колонизатор и картограф, практик и мечтатель. В истории Канады нет равного ему землепроходца. Сотни, тысячи миль пути. Новые реки, новые озёра. Леса, схватки с индейцами и чудо храброго сердца — победа. Основание Квебека — центра новой Франции...

Знаменитый шотландец Александр Макензи, первый пересек Канаду и дошел 22 июля 1793 г. до Тихого океана. Бывший чиновник северо-западной компании стал мировой известностью, и король Георг III возвел его в звание рыцаря.

Канаду открыли, начали заселять две соперничавшие тогда державы: Франция и Англия. Это неминуемо привело к войнам, а европейская история, как и всякая, положим, это войны и революции, революции и войны... Но об этом предмете в следующем письме. Войны рождают и войны уничтожают нации. В войнах рождалась Канада и только недавно она почувствовала себя свободной, никому не принадлежащей страной, населённой канадцами.

НЕЧТО О ТОМ, КАК СОЗДАВАЛАСЬ КАНАДА

Как образуются народ, нация? Почему внезапно она организуется и растет и вдруг или постепенно распадается? Почему Рим, с менее выгодным географическим положением, чем Марсель, стал центром мировой империи, а Марсель — нет? Когда же наступает момент, что пле-

меня сливаются воедино? Бывает ли это из-за общей войны, или вследствие покорения другим народом? Как создается нация? Вот, вот было образовалось бургундское государство и... чуть-чуть не создалась бургундская нация в XV - XVI веках. А всё же не создалась. Мала Бельгия, а валлонцы и фламандцы все не могут примириться. Мала и Швейцария: горы, некогда плохие пути, а ужились немцы, французы и итальянцы, и создали особую, единственную, может быть, в истории тройственную республику. Но существует ли не доминион Канада, а канадцы, как формирующийся молодой народ, нация? Я полагаю, что да. Длинным бело-зелёным поясом — туандр, лесов и степей, охватила Канада север Северной Америки, не сразу, не вдруг. Как? Когда?

Нельзя писать историю страны в одном-двух письмах, но можно передать своё впечатление от основных событий истории этой страны.

Сперва это войны торговцев и земледельцев Франции и Англии. В кровавых набегах-рейдах сжигаются фактории, крепости, опорные торговые пункты. От области Великих Озёр до Квебека и Новой Скотии прокатывается война. На Запад проникли смельчаки-миссионеры и путешественники значительно позднее. Случалось, налетят воины, сожгут посёлок, кого перебьют, кого уведут в плен, и замрет это место надолго. Но бывало, что часть населения во время набега была на отдаленных полях, на работе в лесу. Возвращались. Находили: пожара, пруды обгорелых брёвен, кровь, разорение. И опять восстанавливали своё прежнее поселение упорно, преданно, героически. И французские лесные охотники-воины (*coureur de bois*) и англичане были тут одинаковы в методах и действиях. Хуже всего было то, что обе стороны пользовались индейцами. Особенно свирепствовали ирокезы, заклятые враги французов. Долгое время война велась с переменным успехом. Параллельно с войнами шло заселение и исследование страны.

Но миссионеры и охотники проникали дальше всех в неизведанную страну. Монреаль, позднейший центр меховой торговли, основали именно миссионеры, «джентльмены, объединенные в общество ради обращения в христианство дикарей около Монреаля» (Монт Руайяля). Можно удивляться храбрости этих миссионеров и вождей экспедиций. Индейцы всех племен играли особую роль в истории, в битвах обеих соперничавших наций, и это длилось долго. Еще в 1763 - 4 г. знаменитый Понтиак (теперь это марка автомобиля) объединил ряд племен Запада и Востока для последней попытки свергнуть белое владычество англичан. Последние кровавые отголоски индейских войн замерли лишь во второй половине восьмидесятых годов XIX века со смертью Ситтинг Буля.

Но если так продолжать, то станет скучно: скудно и неясно. Попробуем увидеть прошлое, нарисовать его! Вглядимся в некоторые картины истории. Может быть отдаленный шум её голосов, заглушенный ходом времени, достигнет до нашего уха. Мы увидим борьбу и конференции мира.

Откроем карту обеих Америк. Поищем малый островок Гваделупу среди Вестиндского архипелага. Остров этот легко поместить на среднем канадском озере. Когда, после семилетней войны, закончившейся в 1763 г. Парижским миром, Франция уступила Англии Канаду и ин-

дейские владения, то во время переговоров англичане заколебались: не заменить ли холодную Канаду с её шестидесятью тысячами французов (англичан-поселенцев тогда не было и трех тысяч) заманчивым, удобным островком Гваделупу? Вот, что была Канада спустя более двухсот лет со дня, когда её присоединил к французской короне Жак Картье. Им в 1759 г., столица Новой Франции перешла в руки Англии. Английское господство на море, отрезавшее Новую Францию от Франции, дало Англии победу в Канаде и связало их навеки после Парижского мира 1763 г. Этот мир создал тогда новую британскую колонию, а не Канаду, как единство, как страну. Что же способствовало её постепенному формированию? Почему Канада при всём её тяготении к США, при всех её экономических и финансовых связях, не вошла в их состав? Ведь только эти две страны в мире не имеют укрепленной границы меж собой. Я приведу в объяснение некоторые причины, опираясь и на мнения американских и канадских писателей. Прежде всего это вопрос лоялистов. Когда началась война Англии с её колонией в Америке, то сформировался и «Континентальный Конгресс» представителей тринадцати колоний, вставших на защиту своих прав. Тогда впервые и возник вопрос лоялистов. «Жребий брошен! Колонии должны или победить или быть подчиненными», — сказал Георг III, предвидя серьезность борьбы. С помощью Франции, и благодаря непоколебимой твердости Георга Вашингтона, колонии победили Англию. В 1781 г. у Йорк Тауна сдалась английская армия Вашингтону. Но до этой победы, в самом начале войны (1776 г.) «Декларация Независимости» вызвала отпор многих американцев. Треть или даже более трети северо-американских граждан взбунтовавшихся колоний, не согласившись с Декларацией, перешла на сторону Великобритании и сражалась против своих же сограждан. Когда мир был подписан в Версале в 1782 г., то начались горьчайшие мучения лоялистов и их семей: имущество конфисковалось, их оскорбляли на каждом шагу. Многие раздевали догола, обмазывали смолой и, облепив перьями, возили народу напоказ по улицам сел и городов. Сам, добрый христианин и благородный воин, Георг Вашингтон заявил о лоялистах, что он «не видит для них ничего лучшего, как совершить самоубийство (noting better for them then to commit suicide)». Эти-то несчастные лоялисты в значительном числе переселились в Канаду. Из поколения в поколение передавалось чувство горечи и негодования. Лоялисты, храбрые солдаты на войне, внесли дух свободной непримиримости и увеличили численность британцев в Канаде.

Второй причиной выработки особого чувства патриотизма многих канадцев, мне кажется — частные ошибки правительства Англии по отношению к праву Канады на самоуправление и особые экономические интересы этой тогда еще колонии. Причины двух восстаний в первой половине XIX века освещают эту мысль. Вождь одной группы был красноречивый адвокат француз Папино, вождь другой — шотландец Мэкэнзи. Причины восстания Папино были главным образом расово-политические; причины Мэкэнзи были чисто политические — требование нового выборного начала. Оба бунта были легко подавлены. Католическая церковь наложила интердикт на восставших, что

особенно повредило делу Папино. Но восстание вызвало и реформы по замыслу лорда Дюрхэма. Эти реформы заключались в том, что южная и северная Канада были соединены в одно целое, и Канаде были даны возможности для создания «ответственного, выборного правительства».

Экономические причины сыграли свою особую роль в формировании «Канадского пояса» с востока на запад. В начале царствования королевы Виктории большие английские капиталы были вложены в Канаду, были прорыты каналы и, еще в 1837 г., была проведена первая железная дорога. И... Канаду всё более стали заселять земледельцы, люди, любящие свою землю, почву, поливаемую их потом, почву, рождающую новую жизнь.

Есть древнее поверие: замок, крепость, город, дом нужно построить на крови, тогда он будет прочен, постоянен. В старой истории немало было случаев замуравывания в фундамент несчастной жертвы. Самое трогательное художественное произведение на эту тему, чудесная эпическая сербская песнь «Постройка Скадра на Войне». Мне вспоминалась эта песня, когда я бродил по окрестностям города Виннипега. Да, это было в начале прошлого столетия, там, где росли семь дубов. Там начали возделывать землю колонисты-крестьяне. Однажды ночью их вырезали охотники и торговцы шкурами. «Там, где пахнут и сеют, исчезнет зверь и не будет охоты», думали злодеи. И вот, через столетие мы видим Виннипег, окруженный тысячами крестьянских ферм, Виннипег, ставший мировым центром зерновой торговли. Говорят, что нет города, через который проходит столько миллионов бушелей пшеницы, как через Виннипег. На крови жертв вырос хлебный центр.

Канада на западе развивалась сперва медленно, но с постройкой трансконтинентальной железной дороги начала свой стремительный рост. Торговля одной провинции с другими провинциями, тысячи миль речного и озерного пути спаивали страну в одно целое, создавали единство, почву для Конфедерации, первого краеугольного камня, положенного 1 июля 1867 г.

Зарождение нации обусловлено прежде всего чувством связи с землей, с её прошлым и с её будущим. Нужно не только любить страну, как землю, нужно верить в неё как в сущность. Первым таким любящим и верующим канадцем был Мак Ги. Томас Дарси Мак Ги в конце пятидесятих годов первый поднял знамя «the new nationality» — новой нации. Он был иммигрантом из Ирландии, где участвовал в попытке противоянглийской революции. И он первый, — не рожденный на канадской почве, чужеземец, — настоящий канадец, горячо любивший её патриот. Его убили, кровь его впитала в себя канадская земля и взрастила не только его партию «Молодая Канада», но и движение и партию «Канада прежде всего» (canada First Party) — 1886 г. «Не француз — канадец, не британец — канадец, не ирландец — канадец: патриотизм отбрасывает этот префикс, — говорил Мак Ги, — по моему мнению мы должны стараться создать канадскую нацию, трудиться ради этого, смотреть вперед и, если надо, то и умереть за это».

Последнее письмо о Канаде мне хочется кончить словами Мак Ги: «Дороги, действительно драгоценней всего, каждой стране под солнцем дети её, рожденные в её лоне и вскормленные на её пруды. Но если человек из другой страны, всё равно, где бы ни был он рожден... стремится служить новой родине и работать на её пользу, ей всем жертвовать, если он прилепляется к ней сердцем, поднимая якорь из старых вод и всё слагает к ногам новой избранной им владычицы, Новой Родины, если приносит ей все надежды своего уже зрелого мужества, то становится он путём любовного обожания не пасынком, а достойным полноправным сыном Новой Родины».

ТРИ ПИСЬМА ГОРЬКОГО

При имени «человек» меня всегда волнует движение человеческого сердца — та душевная сила, выражаемая словами: «чужая вина» и «тайная милостьня».

Это два света, которыми озарена суровая история человечества; без этого света было бы холодно, а имя «человек» звучало бы не громче: — человек человеку бревно.

1

Взять на душу грех другого человека и нести наказание, как за свое — о «чужой вине» я в детстве из сказок вычитал. И задумался. И еще узнал я из сказок же, что «в мире ходит грех». А стало быть, так сказалось у меня, закон человеческой жизни — «преступление», и всегда кто-то «виноватый», — и вот я, человек, смею и нарушу этот закон жизни, поверну суть жизни: я, ни в чем не виноватый, добровольно беру на себя чужую вину.

От одной этой мысли в моих глазах сыплются искры.

Как мне хотелось посмотреть на такого человека — где-то да есть такие, иначе не сказалась бы сказка. Сам я представлялся и не раз в пустяках вольным «трешником», но меня уличали — «врет все», и никто мне не верил и не наказывали.

Так оно и прошло бы сказкой и вдруг, не думая, я увидел такого человека.

В его глазах горела решительная мука, а говорил он твердо, но под каждым словом тлелась искра. Он признавался в убийстве и рассказывал, как все он это сделал этими руками. И когда он подымал руки — моим глазам они светили.

На минуту судьи усумнились, и у всех прошло: да правда ли это? Но в конце концов поверили: так убедительно и горячо было его признание. И присудили его на каторгу-бессрочно. И разошлись из суда удовлетворенные приговором — со временем выяснится, где правда (Пензенское дело о убийстве Лызловой).

Но я, по какому-то своему чувству, меня заполнившему, не поверил, и, по моей вере в «я смею», унес образ человека, на лице которого с восторгом читаю: «беру на себя чужую вину и отмечаюсь». Для меня незабываемое и никакие пожары не истребят этого, осветивший мне жизнь, образ человека.

2

«Тайная милостыня» — она не жжет блеском «чужой вины»: тихим светом света, сопровождает путь человека.

И когда читаешь о тайной милостыне или услышишь, сердце радуется. В свете милосердия для моих глаз весь мир открыт, — благословляя жизнь, не отворачиваюсь, до конца пронесу свой богатый дар — моё горькое счастье.



Я читаю житие Улиании Лазаревской, написано вскоре после ее смерти (1604 г.) сыном ее, муромским боярином Калистратом Осорьиным.

С детства не лакома и не обжора, а случился голодный год, подавай ей на завтрак и на обед и чтобы на ужин было вдоволь.

«Как ты свой нрав перемени. Егда бы у Христа Бога изобилие, тогда не могах ты к раннему и полуденному ядению понудити, а ныне, егда оскудение пищи, и ты раннее и полуденное ядение взимаеши?» — спрашивает свекровь.

И она отвечает:

«Егда не родих дети, не ходяши ми ся ясти и егда начах дети родити, обезилех и не могу не ясти, не точию в день, но и нощею многажицею хощу ми ся ясти, но срамлюся тебе просити».

И все эти слова Улианы только одна хитрость: все, что ей присекут, а ей ни в чем не откажут, себе она ничего, а все «нищим и гладным дающе».

Рассказывают о Николае Ивановиче Новикове (1744 - 1816), что в Отечественную войну 12-го года он принимал у себя в смоленской деревне голодных, раненных и обмерзлых французов.

Суровое «справедливое» и черствое сердце за это его осудило. Новиков! с этим именем нераздельна «русская культура», а тихий свет милосердия увенчал память о человеке.

Карамзин (1766 - 1826) и Жуковский (1783 - 1852), — только после смерти обнаружилось о их тайной милостыне, а при жизни никому в голову не приходило: оба вознесенные к власти, придворные, куда им там!

О Карамзине и Жуковском читаю у А. В. Дружинина в отзыве на книгу Е. Я. Колбасина «Ив. Ив. Мартынов».

Иван Иванович Мартынов (1771 - 1833), сотрудник Сперанского, известен как собиратель народных названий для растений и цветов, современник Карамзина и Жуковского, Дружинин отмечает общую черту их: милосердие — тайная милостыня.

Да таким был и сам Дружинин (1824 - 1864), основатель литературного фонда русских писателей без различия направлений. Таким был и Елисей Яковлевич Колбасин (1831 - 1885), написавший книгу о незаслуженно забытых в истории литературы — о Мартынове и Н. Ив. Курганове (1726 - 1796).

И вот от Улиании к Новикову — Карамзин, Жуковский, Марты-

нов, Дружинин, Колбасин — путь чист — Алексей Максимович Горький.

В жестокие годы русской жизни, когда на взвихренной Руси творился суд непосужаемый, в революцию 1917-1920, самым громким именем — я, свидетель того времени, — назову:

Алексей Максимович Горький.

Сколько было сохранено жизни — «имена Один Ты веши!» как в синодиках Грозного пишется о загубленных жизнях.

Сколько раз в эти годы обращались ко мне, потому что, известно, я писатель, а значит, свой Горький — похлопотать перед Горьким: последняя минута — единственная надежда — спасти от смерти.

Я не знал ни тех, кто просит, ни тех, за кого просили. И всякий раз пишу одно и то же: Алексей Максимович, умоляют спасти. И адрес.

А потом ко мне придут благодарить за Горького. Я видел убитых горем и не узнавал: какое счастье сияло в обрадованных глазах — спас!

Ни моих клочков, на которых я писал Горькому письма, бумаги не было, такое не хранится, а «спас жизнь» — да и такое забудется. Но я не забыл.

Из русских писателей Горький выделял Лескова, особенно «Соборян». И я помню: Лесков и Горький сродни — и как же было Горькому поступать по-другому, не спасти человека, — если в его сердце отзывалось слово:

«Умножь и возрасти, Боже, благая на земле на всякую долю: на ходящего, просящего, на производящего и неблагодарного»... Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! этот старик садил на долю вора и за него молился! Это может быть, гражданской критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!»

3

Обезьянья Великая и Волная Палата (Обезвельволпал) отметила юбилейный день Горького высшей наградой, какая только есть в свободном обезьяньем царстве: Горькому поднесена царская жалованная грамота за собственноручной подписью обезьяньего царя Асыки в знак возведения его в князя обезьяньи.

Под грамотой подпись обезьяньих князей: И. А. Рязановский, Н. В. Зарецкий, П. Е. Щеголев, М. М. Пришвин, Вяч. Я. Шипков, А. Н. Толстой, князь-епископ Замутный (Е. И. Замятин). И старейшины — митрофорные кавалеры обезьяньего знака: Анатолий Федорович Кони, Василий Васильевич Розанов, Лев Исакович Шестов, Михаил Осипович Гершензон, Петр Петрович Сувчинский, Александр Александрович Блок.

Принял Горький свой обезьяньи княжеский титул, как дети играют. Затея Обезьяньей Палаты вышла не из «всешутейшего» петровского безобразия, а из детской игры. Горький искренне поверил. Он держал в обеих «лапах» мою нарядную грамоту и удивлялся: «Князь! — обезьяньи князь, да в роду Пешковых о таком и мечтать не могли!»

Я, «бывший» канцелярист (по старине дьяк), грамоту скрепил и деньги сахаром получил.

Писатели старшего поколения относились отрицательно. В толстые журналы меня не пускали: ни в «Мир Божий», ни в «Вестник Европы», ни в «Русское Богатство», ни в «Журнал для всех» В. С. Миролюбова, исключением была «Русская Мысль», куда мне удалось временно проткнуться, когда соредактором П. В. Струве сделался Семен Владимирович Лурье (1867-1927). И в московские сборники (Телешов) меня не принимали и в Горьковское «Знание» я никак не мог попасть. То же и в газетах: хорошо если на Пасху пройдет в «Речи» через Давида Абрамовича Левина: П. Н. Миллюков отмахивался: «о чертях пишет».

В то время в литературной критике ходовое слово и решающее значение произведению было «психопат», как потом пойдет «нарочито и претенциозно». Я, конечно, попадал в «психопаты». Но было и еще: «юродство». И тут я шел с В. В. Розановым: «юродство» Розанова — за его гениальные «двойные мысли», а у меня, не находя ни «прямых», ни «двойных», юродство видели в словах и оборотах — в русских словах и в русских оборотах.

Одни посмеивались добродушно, другие с раздражением.

Короленко сравнивал меня — видел он в Нижнем на ярмарке: в руках на прутике нализаны петли, гвоздики, железки, идет, потрепущкой позвякивает и сам чему-то радуется.

Горький нетерпеливо: «Библией мух бьете!»

И, кажется, что было Горькому до меня — лучше быть неизвестным! — в его дом, «Знание», как я ни напрашивался, меня не пускали.

И вот я попал в беду, к кому же мне обратиться?

И, как о неизвестных когда-то, теперь пишу Горькому о себе. О себе писать, про это все знают, как это легко, тем более...

Единственный экземпляр, рукопись «Плачущая канава», пропала. Взялся ее перевезти за границу один добрый человек, на границе обыск, а вез он драгоценности, и моя рукопись у него под жемчугами, жемчуг забрали, а с жемчугом и рукопись прощайте.

Прошу Горького похлопотать.

И не знаю, как выражаться: для меня «Плачущая канава» представляла тогда ценность, с какой болью писал я ее, а ведь эта моя боль, сказавшаяся словом, для Горького: «Библией мух бью».

Скажу наперед: больше году ждал, ночью проснусь и — о рукописи. И как спасал когда-то Горький неизвестных, стас он и рукопись, которую не мог одобрить: мне ее вернули из Москвы — мою жемчужную «Канаву»



Berlin Herrn Alexei Remizov Charlottenburg 1, Kirchstr. 2 bei Delion

I

9. 1. 1922.

Дорогой Алексей Михайлович!

Если я напишу Менжинскому о Ваших рукописях, а они — на грех — окажутся у него, он их съест. Да, да, — сожрет, ибо таковы взаимные наши отношения.

Но я думаю, что рукописи не у него, а у Леонида Старка в Ревеле, — я что-то смутно слышал об этой истории с Вашими рукописями и о Ревеле.

Так вот что: отнесите прилагаемое письмо Ивану Павловичу Ладыжникову и попросите его отослать оное в Ревель Леониду Николаевичу Старку.

Этот Старк когда-то пробовал писать стихи и был — а надеюсь и останется — искренним Вашим поклонником.

В Ревеле он — дипломат: представитель Сов. России. И, конечно, имеет правильное отношение к Ос. Отделу.

Так-то. Будьте здоровы!

А. Пешков

На обороте:

Адрес Ладыжникова знает Гржебин, я забыл.

А. П.

II

22. 11. 1922

Дорогой Алексей Михайлович!

Сейчас получил письмо Пильняка, подписанное и Вами и А. Бельм.

Видеть Вас — было бы крайне приятно, но — ехать сюда я Вам решительно не советую, ибо остановиться здесь — нелегко. Гостиниц нет. Кургауз так забит, что больные живут в вестибюле. В санатории, где живу я, — 110 мест, а лечится в ней 367 душ. Есть не мало больных, которые и день, и ночь проводят на воздухе, в лесу, в эдаких галлерейках, там они лежат, засунутые в меховые мешки.

Здесь — скучно, вот всё, что можно сказать о St. Blasiek'e. Недели через две я возвращаюсь в Берлин, и тогда мы увидимся. Передайте мой привет Белому и Пильняку.

Крепко жму Вашу руку, сердечно желаю вам всего доброго.

Вас уже тянет в Россию?

Были Вы в «Музее Фридриха»? Если нет — сходите, там есть изумительный Брегейль.

А. Пешков

(Питер Брегейль старший (1525 - 1569).

III

4. IX. 1922.

Дорогой Алексей Михайлович!

Будьте добры отправить рукопись Вашу в редакцию «Беседы», она тотчас же будет сдана в набор.

Как живете! Говорят в Берлине плохо, тревожно, дорого и нездорово.

Ехали бы вы куда-нибудь сюда, на юг. Здесь тихо. И немец мягче.

Привет сердечный.

А. Пешков

Алексей Максимович Пешков — Максим Горький.

(1868 - 1936)

Горького стал знать с его первых книг в годы моей пензенской ссылки — 1898. Его рассказы были мне, как весенний ветер, и это ничего не значит, что я зачеркиваю и перечеркиваю страницы, я говорю о моем чувстве.

Познакомился в Петербурге — 3 января 1906 г. и записал в дневнике общими словами: «какой умный и сердечный человек». Я хотел

сказать, что с таким можно говорить и разговориться — слова не завазнут и отзвучат. Это с дураком: я ему про Фому, а в ответ мне про Ерему. И что не сухарь, которому не свое, как стене горох; мне показалось, что и говорит он с болью.

Встречался в революцию (1917-1920) в Петербурге и в 1923 г. в Берлине. Бывал у него на Кронверкском проспекте и во «Всемирной литературе».

Во «Всемирной литературе» я значился, как сотрудник, но на собрания не допускался. А перед собраниями, когда собираются, Горький никогда не опаздывал и можно было о чем-нибудь спросить, о житейском — время было опасное, или просто посидеть и послушать.

Горький хорошо знал историю русской литературы, а меня хлебом не корми, люблю свое ремесло. Говорил Горький не спуту и прислушивался. Прощался я с ним всегда очарованный.

Храню память: письма Горького. Немного их и ни одного оригинала.

Письмо из Арзамаса в Вологду на имя Б. В. Савинкова, 1902 г. Отзыв Горького о наших рассказах; рукописи передала ему Л. О. Дан (Цедербаум). Горький советует нам (Савинкову и мне) заняться любым ремеслом, только не литературным: «литература дело ответственное».

И все-таки «хлам» отослал он в Москву Леониду Андрееву. И наши забракованные рассказы появились в праздничном «Курьере»: 8 сентября 1902 г. на Рождество Богородицы — моя Эпиталама (Плач девушки перед замужеством), а на Введение, 21 ноября — мой рассказ «Бebка».

И я могу сказать, что совсем недвусмысленным боком ввел меня в русскую литературу: Горький, Леонид Андреев и Лидия Осиповна Дан.

Это вступительное письмо Горького хранилось у Бориса Викторовича Савинкова. Подробности в моей книге «Иверень» (1887-1903) — не издана.

Еще три письма Горького — 1902-1907: о моем «В плену» и о «Пруде». Письма напечатаны в России в 1933 г. без моих комментариев под общим редакционным: «как Горький своевременно шутанул Ремизова». А взяты письма из моего многотомного рукописного архива (1902-1920), хранился в Гос. Публичной Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

Есть и фотографическая карточка-группа: Горький, Пинкевич, Алексей Толстой, Роде и я. Снимались в Берлине весной 1923 г. у Вертейма. Когда стали распределяться перед фотографом, Роде сказал: «Я не смею сесть с Алексеем Максимовичем, я лучше с Ремизовым поси-тою».

Горький, из уважения к ученым, сидит с Пинкевичем, к ним наотмашь плюхнулся Алексей Толстой; а я с Роде поверх голов; при желании нас легко срезать и безо всякого урона: Горький, Пинкевич, Алексей Толстой.

Амалий Сергеевич Роде (†1930), а как его по-настоящему, не помню, из Минска, прошел через тиски и перешвырь, но сохранил природное добродушие и сердечную чувствительность; — «талантливый человек», говорил о нем Горький с восхищением, на балалайке играет и на гребенке, добрался до Петербурга и, не имея прав жительства, обратясь во французского Амалия Роде, открыл на Каменноостровском

«Виллу Роде», прогремевшую в канун революций Распутиным и цыганами. В революцию кабак разнесли, клиенты — кто успел за границу, остался болтаться на свете, а кто не успел, простились с белым светом, и души их понеслись под стон-эс-гитары тянуть неуголимую бесконечность печальных тунейдцев. А хозяин «Виллы Роде» — в чем застигло, все на нем и имущество: все мы были неказистые и его не отличить от нас. Устроился он через Горького в Мраморном дворце заведующим столовой в ТЕО (Театральный отдел). Тут мы и познакомились, и с первых же слов, ровно 6 годами знали друг друга или, вернее, где-то в каких-то канавах прятались или оттого, что мне так понятна человеческая затурканность. И всегда он мне в мою голодную порцию косточку подложит или какое «гранатное» яблоко на десерт после очертеневшей шпионной каши перед всеми поднесет мне и Блоку — «чтобы сделать удовольствие Ольге Давыдовне» (О. Д. Каменева, сестра Троцкого, начальника ТЕО). А скажу, что и без всякого «удовольствия» не раз в мой протабачный карман тайком кусковой сахар подкладывал: жили мы, до «ученых пайков» Горького, отчаянно.

По дороге к Вертгейму сниматься, Роде мне сообщил новость: в Париже в самом шикарном русском ресторане «Russian Eagle», 30, rue du 4 Septembre кухня под управлением Ремизова, шеф кухни русского Императорского двора.

На фотографии, стоя на высотах, я представился «шефом Императорского двора» и спрашиваю Роде:

«Амалий Сергеевич, а ведовская волшебная каша... как варить с перыщем-с-ядыды?»

Карточка получилась живописная: и Горький, и Пинкевич, и Толстой во всей личности, но живее всех наше: «с перыщем-с-ядыды». А стоила карточка много тысяч миллиардов. Выкупил П. П. Крючков: посмотреть в руки дал, а на руки не выдал.

П. П. Крючкова знаю с 1920 г. Я состоял при М. Ф. Андреевой, начальница ПТО (Петербургское Театральное Отделение), а Крючков под Марьей Федоровной управдел ПТО. М. Ф. Андреева, одна из «Сестер» Чехова, с ней легко и театрально, а Крючков из «Горе от ума», этот себе-на-уме, всего наобещает, а ничего не сорвешь, не выжмешь, закантителит. Единственный способ, я присмотрелся: подкараулить, когда идет к нам наверх в уборную, тут его и перенять — любую бумагу не читая подпишет. Но Берлин не дом Юсупова на Литейной, — где подкараулишь? Так карточки нам и не дал. Думаю, уничтожил.

К В. С. Миролубову в «Журнал для всех» как я не колотился, а пробиться не удалось: на моей рукописи неизменно одно и то же «В», что означало «к возврату».

Виктор Сергеевич певец, в молодости в Киеве выходил на сцену Демонем и Онегиным, человек благодущный, потеряв терпение, велел через секретаря Е. Г. Лундберга передать мне дружески: «присыл рукописей прекратить».

А к Горькому стена куда к Миролубову. И все-таки я влез — вижу победу моего терпения! — Горький, не читая, принял мою рукопись, и в его «Беседе», Берлин, 1923, кн. 3, появился мой «Парижский клад» («Россия в письменах», т. II — не издано).

В Париже, до России, из Соренто Горький присылал мне сборники Сказок — узнаю его почерк на бандероли — а, стало быть, не забыл мое самое любимое: сказку. Конечно, тут не без Сувчинского и Д. П. Святополка-Мирского, верные друзья! — они видались с Горьким в Соренто и переписывались. Или вспомнил, как однажды мне рассказывал свою сказку: «И у меня когда-то жил ежишко, хороший!»

1950 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Вячеслав Менжинский

Начальник ВЧК. Выступил в литературе в 1904 г. в «Зеленом сборнике»: М. А. Кузмин, Ю. Н. Верховский — стихи, а Менжинский — проза. А. А. Блок в рецензии выделил Менжинского. Но за годы 1905-1917 я не встречал его имени в литературе. И не знаю, чем объяснить: его рассказ в «Зеленом сборнике» не похож на тогдашнюю беллетристику, было свое. А стал известен, как помощник Дзержинского, а потом и сам начальник ВЧК.

2. Иван Павлович Ладыжников

Издатель. Управляющий издательством «Знание». Дел у меня с ним никаких не было, а стало быть и разговору. Осталось в памяти «конфуз».

В контору вошел Горький и удивленно: «Что с вами?» — «Холера», — сказал Ладыжников, и все в нем вдруг поднялось. «Да как же это вы так, Иван Павлович, неосмотрительно». — А тот и не знает, что отвечать и, как пойманный, виновато заморгал. Я отошел.

3. Зиновий Исаевич Гржебин (1877 - 1927)

Издатель. Сосед и кум. В Петербурге, на Таврической, в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга на перехватку. В войну 1914 г. ходил зауряд-князем обезьяньим. Я крестил его детей: Бубу и Капочку и Капочкиного сына Андрея. Все состояли в обезьянах.

4. Борис Андреевич Пильняк (Богач) — (1894 - 1933)

Мой ученик. В Берлине в 1922 г., не покладая рук, отделял свои рассказы под моим глазом. Я отучал его от школьной грамматики, научил встряхивать фразу, переводя с искусственно-книжного на живую речь; переворачивать слова и разлагать слова — переворачивать, чтобы выделить и подчеркнуть; разлагать — слова излучаются и извучиваются. Отвадил от подглагольных и ассонансов: в прозе от них месиво, как гутня в произношении. О «щах» и «вшах» ничего тогда не говорил, сам сидел в них по уши.

5. Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) — (1880 - 1934)

Гениальный, единственный, весь растерзанный: между антропософией, Заратустрой и Гоголем. Синие дремучие глаза (Портрет Бакста).

6. Федор Евдокимович Махин

Полковник Махин, а в эту войну партизанский генерал-лейтенант. Редактор Русского Архива и председатель Белградского Земгора. Оренбургский казак, старообрядец, хорошо читал Библию на голос. В Обезьяньей палате состоял воеводой. Ему я продал за двести франков в 1937-м оригиналы писем для архива Земгора.

На персидской границе

(Из воспоминаний)

На персидской границе горы не высоки, это скорей каменистые холмы, без травы и без деревьев. Самые дальние из холмов были уже по ту сторону границы, они возвышались на горизонте синими силуэтами на светлом зимнем небе. На некоторых видна была башня. В свободные часы, часто рано утром, до солнца, я ходил на обрыв, где сохранилось несколько двужильных сосен и откуда виднелось море, садился в затишье от ветра и читал Коран.

В Европе эту книгу почему-то мало оценили. «Прочел его весь и не нашел ни одной мысли», записывает Шопенгауэр. Но не в мыслях тут дело, хотя чем не мысль это, например: «Один человек стоит ровно столько же, сколько весь человеческий род: тот, кто убьет одного человека, который на него не нападает, будет виновен в крови всего человечества, и тот, кто спасет жизнь одного человека, будет награжден так, как если бы он спас всех людей» («Стол», У, 35, заглавия суратам даны после Магомета, по признаку какого-нибудь ударного слова в тексте). Сила Корана, то, что сперва в нем поражает, в его чистой, доброй и огненной поэзии, которая непрестанно льется в продолжение всех 10.000 стихов, то как ручей, то как водопад, смывая с души накипь забот и песок случайного, под конец же, превратившись в пламя, преображает и самые души.

Неожиданность стилистических построений. Непривычные для нас эпитеты, олицетворения и риторические фигуры, не долетевшие за века в наши литературы, или дошедшие в искаженном виде, как в пушкинских «Подражаниях Корану»: ... клянусь четой и нечетой» ... Очищение души от материальных забот, какое-то теплое дыхание, какая-то дружеская сердечность тона: «Если у тебя есть два хлеба, продай один и купи цветы: ибо хлеб пища для тела, а цветы — для души». Успокоение. Не бойся говорить то, что считаешь нужным, тебя поймут, как и ты всех понимаешь: «О люди, сказал Соломон, я научился понимать разговор птиц» («Муравей», XXVII, 16).

Для французов мог бы указать на сходство Корана со стихами Малларме. Тот же напор, то же ритмическое совершенство, внешняя нелогичность, выпадение связующих звеньев и одинаковая одержимость одним единственным откровением. Очень похожее виргуозное превращение образа в пенье и, не успев оглянуться, как уже встречным течением водоворота, пенье развоплощается в образ. Разница в том, что Малларме одержим пустыней небесной лазури, а Магомет — Единым Ликом царящим над ней. У него, как в этом, самом коротком стихотворении Тютчева:

Когда придет последний час природы,
Состав частей разрушится земных.
Все тленное опять покроют воды
И Божий Лик отобразится в них.

Но то, что Тютчеву предвидится для грядущего, Коран видит от начала дней и во веки веков.

Однако, поскольку поэтическое совершенство, как и всякое иное совершенство, вряд ли может оказаться атеистическим, можно предположить, что и Малла-

рме только представлялся поклонником нигилистического небытия и под символом пустоты лазури тайно называл имя Кого-то. Тем более, что Малларме пребывал в линии персов: словесная виртуозность в соединении с метафизическим вывертом (как Вольтер в линии китайцев: словесное изящество в соединении со «здоровым смыслом», столь осторожным к религиозному энтузиазму). Персы практиковали многоэтажную символику, мысль, как луковица, завернута у них в бесчисленные оболочки. Когда их закрутил Ислам, этот горячий ветер из пустыни, они извернулись, выкрутились, сумели под новым покрывалом сохранить сады и розы первых своих верований. Также и многие из нас, оказавшись «диалектическими материалистами», научились практиковать двойную мысль закамouflированного богословия, где оболочка часто как раз противоположна тому, что живет в глубине. Для персов это оказалось легче, потому что Коран действительно содержит в себе все главное, в этом Омар прав, хоть это не оправдывает сожжение александрийской библиотеки. Персидские поэты средних веков, например, Омар Хаям, могут вводить в заблуждение египетских ортодоксальных мусульман или турецких позитивистов, хранящих чистоту закона, но мудрый перс видит тут не безбожье, а нечто иное:

«Вхожу в мечеть. Час поздний и глухой,
Не в жажде чуда я, и не с мольбой:
Однажды коврик я стянул оттуда,
А он истерся: надо бы другой.»

И это вовсе не хулиганство, потому что:

«Как будто был к дверям подобран ключ!
Как будто был в тумане яркий луч!
Про «Я и Ты» звучало откровенье...
Мгновенье — мрак... и в бездну канул ключ».
(Переводы Тхоржевского, Париж 1929).

Содержание Корана можно передать так: ничего не существует, кроме Бога. Природа это Его храм, а человек — низший из служителей этого храма, уборщик или декоратор, который, однако, изредка видит высших священников, ангелов.

С той зимы 1935 года я чувствую себя в долгу перед Кораном. Сколько покоя дала мне эта книга в тишине голубых утренних часов. Помню тонкий полумесяц на зеленоватом небе и рядом две последние звезды. Звезды эти были Диоскуры: вчера они первыми зажглись перед наступлением ночи, и сейчас они же предвещают новый день. С моего холма виднелось кладбище с белыми гробницами, а дальше, в тумане, Каспийское море. На противоположной стороне далеко проходила граница. На ее изломанной линии со столбами и проволокой иногда виднелись всадники, но нельзя было определить, наши ли это пограничники, или персидские, у всех те же низкорослые, пузатые от шерсти лошади и одинаковые папахи. Мне казалось, что по ту сторону начинался обетованный край мечетей с драгоценными куполами, садов Шираза и Исфагани. Рай начинался не сразу, сперва нужно было миновать зону такой же как у нас каменистой пустыни, где еще нет железной дороги и еще сохранились старинные почтовые станции, караван-сарай на тракту. Линия охранялась не особенно бдительно, что и трудно было бы в этой пустыне, — босые подростки доставляли нам оттуда заграничный табак. А что, не рискнуть ли? — не раз думалось многим из нас. Внизу, в овраге, черные козы доедали чахлые кусты.

Весь окрестный пейзаж был для меня как Аравийская пустыня, и мне мерещился то оазис, то пещера или пустырь на окраине Медины, где Архангел Гавриил диктовал Магомету ту или иную из ста четырнадцати глав. Скоро я стал замечать, что Коран это, кроме всего прочего, автобиография Магомета и что по нему я могу учиться-искусству писать. Надо писать как всадник и продавец верблюдов, напористо, стихийно, сдержанно-страстно и непременно только свое и о своем. Всякий другой метод будет кража чужого — или неверие в Бога — или идолопоклонство... Открываю книгу наудачу и сразу нахожу подтверждение:

«Эта книга идет от Владыки миров, дух верности принес ее с неба, сейчас он кладет ее на твое сердце, дабы и ты стал как апостол, она написана на арабском языке и стиль ее чист» («Поэты», XXVI, 192 и сл.). Впрочем, открывать можешь, где угодно, всюду найдешь ответ и нигде не встретишь ни усталости, ни снисхождения. Вчера показалось, что сожителями одного из «уполномоченных» косо посмотрела, когда я возвращался со стройки. Но «я возложил мое упование на Бога утренней зари, дабы Он избавил меня от магии ночной луны, задержанной ослаком; от колдуний, которые дуют на узлы веревок; от черноты недружелюбия» (СХІІІ, «Бог утра»). Я узнаю, что жить религиозно это значит не только работать для ближних и дальних, но еще всматриваться в свою жизнь — в тот опыт, какой Бог дал тебе — а книги это чужой опыт; можешь им пользоваться, но скорее как проверкой для своих заключений. И каждая душа творит свою религию, религиозный опыт у каждого свой: «Все плоды земные питаются одной водой, но качество их различно» (ХІІІ, «Гром», 4). Или еще: «О, сыны мои, продолжал он, не входите все одновременно в город; входите через разные ворота; Сам Бог сделал так, чтобы эта предосторожность оказалась для вас не излишней» («Иосиф», ХІІ, 67).

Основной грех называется идолопоклонством. Если человек преодолел его — но это очень трудно — он спасен. Поклонение идолам есть, по другим наименованиям, нечестивость, безбожие или ложная вера в созданных самим человеком богов, а также скудость, т. е. вера в золото или материю, и еще эгоизм или вера в самоспасение. Все это, как пишут сейчас в новой философии, «впадение в объективность», отход от реального опыта, данного Богом. Магомет, может быть, даже не так стремился дать новую религию, как научить быть субъективным. «Всматривайся, повторяет он, в свое и в окружающее тебя, но только не ищи Бога в отъединении, это было бы поклонением своему идолу, а непременно в своем соединении с людьми. Не в своей голове, не в своих мыслях, там ты не найдешь Его, а в своем сердце, в своих чувствах. Не в холодной учености знания, а в слезах и радости веданья. Наиболее смелые и последовательные из ищущих в одном знании становятся безбожниками, потому что в учености, действительно, Бога нельзя найти. Душевное состояние таких людей ужасно, это начало адских мук: гордые мучают сами себя самими собой. Но и принявший Ислам не застрахован от идолопоклонства: «многие из вас хотят и верят в Бога, однако, соединяют с этим веру в идолов» («Иосиф», ХІІ, 106).

Если Ислам, в исторических условиях впавшего в эгоизм мира, вылился в религию войны, то это потому, что личное начало всегда динамично, страстно, воинственно-протестующе — что не аналогично насильничеству — и это его свойство напоминает слова Христа: «Не мир пришел Я принести, но меч» (от Матф. гл. 10, 34). Коран много раз упоминает о «Иисусе и Его Матери», и с таким благоговением, что даже Жизеф де Местр считает Ислам одной из ветвей Христианского дерева, вроде лютеранства.

Идолы не всегда воображаемые существа, иногда они являются изображениями бесов, им дает жизнь, их питает астральная сила их почитателей. Тогда они начинают жить как полуавтономные духи, более или менее опасные озорники, порожденные темной стороной души безблагодатных поэтов, как иные герои Гоголя до сих пор гуляют по России (что Гоголь осознал и чему ужаснулся перед смертью). Если поэт не благочестив, он язычник, и все природные качества его превращаются в их темный эквивалент: любовь в сладострастие, надсознание в подсознание, трудное восхождение в легкое скольжение в преисподнюю: «О поэты, обманутые иллюзией, не встречал ли ты их, когда они лунатически блуждают по долинам? Ты узнаешь их по тому признаку, что они говорят, но не делают. Не таковы лишь немногие, хранящие память о Боге» («Поэты», XXVI, 225-27). Кроме того, если поэт начинает писать вяло, значит ангел отошел от него, и идол стал напештывать ему свой обман, даже если ему самому кажется, что он в линии чистого богословия: сама дряблость, безличность языка разблачает его. Он стал холодным подражателем и ищет успеха. Он отошел от начала Лица и впал в де-

монизм, каковой имеет две ветви, но сущность коего одна: безбожие или пантеизм. Первый просто не верит в творческое начало, второй полагает, что мир создает сам себя, или что из низшего начала материи само собой появляется высшее, — человеческий дух.

Когда Магомет умер, пальмовые листья, на коих записаны были писцами главы Корана, хранились в сундуке из верблюжьей кожи. Абубекр (Abu ekr) достал их оттуда и опубликовал. Они лежали в беспорядке, так и были выпущены в свет: не в хронологической очереди, которую тогда еще помнили, а по признаку величия каждой главы — в начале самые длинные, в конце самые короткие. Издатели считали, что все части Корана одинаково прекрасны, как драгоценные камни и не все ли равно, в каком порядке их перечитывать? Сейчас думают, что первая по времени написания та, которая значится под номером 96, а последняя — 9. В таком случае, первый стих Магомета будет: «Читай во имя Бога Создателя». Последний — «Я возложил на Него мое упование».

Но не имеет значения ни система, ни последовательность, ни время, раз тема этой книги одна и звучит в каждой фразе. Тема эта — субъективная религиозность. В том виде как Коран читается сейчас, первый стих его: «Хвала Богу, Творцу миров». Последний — «Да защитит Он меня от демонизма и злобы». То есть все начинается с Бога, кончается человеком. Сияет небо над пустыней, небо и земля слиты в золотой свиток, наверху солнце, внизу Магомет, вокруг на горизонтах фосфоресцируют миражи городов и народов. Тот, кто внимательно читает Коран, сам становится пророком. Сам Магомет не был автором его, он сначала прочел Коран, принесенный ему с неба архангелом. Религиозность это не установленная система, не догматы, не обряды и таинства, даже не молитва и праведная жизнь, а личное, тайное и интимное отношение между Богом и человеком. Субъективность и религиозность это одно и то же. Об этом не устает напоминать Коран, хоть и не прямым высказыванием. Это должно быть открыто и понято каждым для себя; заново принятая как новый догмат, как правило, эта тайна потеряла бы свой смысл и мощь освободить от цепей душу. Но после того, как Писание подвело человека к этим дверям и он открыл их, двери эти вводят в начало иллюминации и оправдания всей жизни с ее заботами и смертями.

По вечерам мы собирались в каменном бараке с разбитым окном, где жили втроем, Медведецкий, Васька и я. У нас была одна бритва и общий ремень, чтобы ее править. Мы работали на стройке, но в наши задачи входило также просвещать, где можно, темное население и бороться с религиозными предрассудками. Советский неписанный «этикет» требует, чтобы, когда собралось трое или больше, не вести никаких серьезных разговоров — и тому, кто говорит, это опасно, и можно подвести других. Говорить можно о работе или о пустяках, касаться же серьезного — не стоит... Для народа, переживающего трагедию, смысл коей к тому же еще не совсем понятен, разговаривать на важные, отвлеченные темы было бы нецеломудренно. Но у нас замечено, что чем дальше уезжают от центра, тем легче становится разговаривать. То ли воздух другой на окраинах, или это ветер из заграницы так действует, или непривычный пейзаж, но что-то там разманивает нашу обычную сдержанность. Собираясь после работы, мы курили из глиняных трубок контрабандный табак и вели беседы о чем вздумается. Иногда мы острили над тем, как проводили сегодня антирелигиозную пропаганду. Я читал вслух Коран или что-нибудь из сборника «Мантик уттаир», Разговор Птиц. О собственной нашей странной судьбе мы высказывали мнения, проникнутые фатализмом. Помню, мы разбирали, по детским воспоминаниям, как «все произошло» и приходили к заключению, что иначе случиться и не могло бы. И сама революция, и то, как она протекала, оказывалось в предустановленных судьбах нашего народа. Предположим, говорили мы, что Николай II дал бы заблаговременно, в 1915 году ответственное министерство со Львовым во главе, и тогда полгода или год спустя власть неизбежно перешла бы к социалистам с Керенским, а еще через некоторое время появились бы наши нынешние правители. В деталях могли быть незначительные изменения, несколько лишних месяцев, не совсем те

лица для второстепенных возглавителей, но в основном все прошло бы также. Тоже и в личной судьбе каждого из нас. Мог бы ли я оказаться в эмиграции, если бы мой отец решился погрузиться с семьей на пароход в эпоху крымской эвакуации? Но ведь и сейчас на этой границе не было бы невозможным, допив этот стакан, проскользнуть незаметно за наш поселок, пробраться при луне по козым тропам к тем башням на горизонте, найти почтовый тракт, а там — Париж, Лондон, Нью-Йорк. Но зачем? Как когда-то покойный отец, так я теперь, повторяющий его выбор и решения, не вижу в этом необходимости. «Сыновья Медины, крикнул он, для вас нет другого пристанища; возвращайтесь на ваши пути. При этих словах некоторые из верующих сказали пророку: позволь нам все же уйти; наши дома остались без защитников. Это было неправда, они думали, что если уйдут, им удастся избежать нового сражения». («Заговорщики», XXXIII, 13). Свобода?.. Приучившись к восточной практике «двойных мыслей», нам казалось, что мы получили золотой ключ от нашей тюрьмы для выхода на прогулку в любое время дня и ночи, так что уж никакая казарма не страшна. Пусть уполномоченный с портфелем неожиданно нагрянет из своего осинового гнезда хоть сейчас, мы сумеем толково и спокойно ответить на самые каверзные его вопросы. А там видно будет. Ведь ничто не меняется в главных линиях, и «куда бы ты ни бежал, ты не скроешься ни от Меня, ни от себя». Все второстепенное пребывает в постоянном изменении, «и никакие земные правители не вечны и не в их власти вмешиваться в то, что предопределено наверху» («Советы», XII, 86).

Иногда я уезжал на грузовике по делам в город. Там, за высокой кирпичной стеной сохранились старинные кварталы с мечетями, развалинами дворца Эмира, с крытым базаром. Переулки лабиринтом крутились и переплетались, расходились от треугольной площади с фонтаном, упирались в розовые башни. Все было таинственно, дома без окон, черные кипарисы за стеною без ворот. Когда наступала ночь, торговцы зажигали под своими навесами керосино-калильные лампы. Это было одно из немногих мест в стране, где казалось еще сохранились секреты жизни, где не все было плоско и открыто. Хотя кубично-стеклянные здания из бетона уже начали появляться на пустырях и некоторые мечети превратились в музейные склады кувшинов и кинжалов. По поводу таких перемен торжествовала областная газета: «Остатки средневековья отступают перед натиском новой жизни и, казавшийся живописным, старый хлам бесследно исчезает. На укреплениях Тамерлана громкоговорители передают программы московских станций. Между двумя минаретами протянуты плакаты с лозунгами, и зов муллы больше не тревожит молодежь, которая теперь вместо Корана изучает Маркса и Ленина. Базар из «1001 ночи» продает предметы ширпотреба по контрольным ценам. Исчезли знаменитые ковры, украшавшие когда-то гаремы, с вытканными текстами из Корана, новая власть запретила кустарное производство этих предметов культа и разврата, подрывавшее здоровье женщин и детей и нищенски оплачиваемое в эпоху эксплуатации. Новая техническая цивилизация Москвы с каждым днем завоевывает новые позиции». Это была не полная и не единственная правда, даже о производстве ковров, но не все читатели газеты понимали, что Ислам и Коран не виноваты в грехах капитализма. Выверты газет не сразу обнаружались, их окончательно разоблачили лишь накануне войны, первое время люди пожимали плечами и не знали, что на это можно возражать. Даже в Москве люди были застигнуты врасплох, тем более здесь, когда им стали доказывать, что вся их прежняя культура, основанная на божественном откровении была жестока, мучила человека и затуманивала его сознание надеждою на Бога и на бессмертие души. В тот период, к которому относится то, что здесь описано, пропагандистам разрешалось прямо говорить, что главный враг человека это вера в Бога. В середине 30-х годов был дан приказ затормозить, одновременно закрылись журналы типа «Безбожника». Противопоставление «технической цивилизации» Евангелию, Библии и Корану продолжалось, но в более закамуфлированных формах, в романах, очерках и разных «корреспонденциях с мест».

Скука тех книг невообразима. Их никто уже не читает, за исключением подростков, для которых вероятно они и пишутся, в стиле старорежимного журнала для детей, называвшегося «Задумчивое Слово». Как ни бездарно то немногое, что попадает в эмиграцию, остальное еще хуже. Да не подумают, что я преувеличиваю, пусть сперва перечтут лучшее из «советских классиков», чтонибудь из Серафимовича, «Цемент» Гладкова или «Как закалялась сталь» Островского. Может быть в этих книгах не все насквозь фальшиво и некоторые из авторов, например, последний из упомянутых, верили тому, о чем писали, но скука от этого не меньше. Постепенно выяснилась причина этого: мир, закрывшийся от тайны Бога, умирает от скуки. Об этом Коран предупреждает так: «Берегите источник живой воды, он вытекает из двух ключей: память о Боге и память о бессмертии души; кто не пьет из него, вянет в безысходной тоске пустынь». Считается, что идол «технической цивилизации» есть человечество, на самом деле это скорее земной шар, который представляется бессмертным и которого людям подлежит непременно славословить и украшать; это то, что заменяет молитву и богослужение. Этот идол не знает тайны неба, тайны любви, рождения, смерти и воскресенья, или заменяет все это «природными циклами». Вот почему ни одному из жрецов его не удалось написать интересного очерка из Туркестана, из Сибири, с Волги и прочих мест, не говоря уже о большой поэме.*)

Могут возразить, что если даже верно, что единственное настоящее искусство — искусство религиозное, то оно было не для всех, так как на востоке Кораном и комментариями к нему питались немногие, одни лишь богатые и грамотные бездельники. Но почему же теперь, когда все готовятся стать учеными и зажиточными, потребовалось засыпать песком источник живой воды, ради сохранения коего и была в свое время придумана письменность?**) У нас объясняют, что живая вода за века замутилась и человеку нужно дойти до самого дна небытия, чтобы потом с новыми силами начать свое восхождение.

В самом темном углу крытого базара старый купец в тюрбане продавал туалетное мыло. Сам он сидел на ковре, мыло было разложено на земле, на листьях платанов, похожих на наши клены. Я часто покупал его товар, нарочно долго выбирал, хотя все было одного стандартного качества и различалось лишь цветом бумажек, в которое было завернуто. В последнее мое посещение прощаясь я сказал ему: «Ты — продавец благовоний с тегеранского базара, Фарид Уддин АТТАР». Он дал понять, что расслышал среди базарного шума и оценил мои слова, хотя продавец духов АТТАР, автор мистической поэмы «Разговор Птиц», был суннит, а не шиит, как мой старик. Но ему тоже пришлось, как и нам, жить в смутное время и, по легенде, он был убит татарами в 12-м веке, когда ему было больше 110 лет. Его труды были частично переведены по-русски в середине прошлого века генеральным консулом в Персии Н. Ханниковым, ими занимались также Владимир Вельяминов-Зернов и А. Казем-Бег. Мы получили эти материалы, частью рукописные, из центральной редакции «Безбожника» и недоумевали, как это те, кто посылали их нам, не заметили, что это огонь, который сжигает, как солому, всю пропаганду, а заодно и весь «Диамат». Или в центре этого не читали, или сердца тех чиновников окончательно окостенели? Притворялись ли они, как мы, или и на самом деле разучились понимать «разговор птиц»?

*) Шолохов, Зощенко, Бабель, ранний Леонов, Фадеев («Разгром»), Катаев («Расстратчики») имели что сказать, у них было свое. Во время войны появилось несколько настоящих книг, из них лучшая «Василий Теркин» Твардовского.

**) Последователи Маркса, в их числе Анатолий Франс, открыли, что финикийские купцы придумали азбуку для своей торговой корреспонденции. Это очевидно не верно, такая переписка велась с успехом и раньше, для «фактур и векселей» вполне достаточны клинописи и иероглифы. Но в ту эпоху явилось из Индии и Египта откровение о бессмертии души. Передать об этом и обо всем, что с этим связано, примитивными начертаниями, не исказив сути, вряд ли возможно и во всяком случае потребовало бы огромного труда для пишущих и читающих.

Вернувшись поздно ночью в наш лагерь, я разбудил моих друзей и рассказал им о старике на базаре. Это была наша последняя ночь на границе, на рассвете мы должны были уезжать на Север. Особенно огорчало нас, что все материалы по агитации надо было передать нашим заместителям. Я раскрыл, на прощанье, «Разговор птиц» и прочел вслух следующее:

КОМАРЫ И СВЕЧА

«Будь ты аскет или любитель развлекаться, это не имеет никакого значения. Но если твой ум не согласен с душой, отбрось и то и другое, и ты достигнешь цели. Если твоя душа преграждает путь, отстрани ее, потом устрями взор вперед и созерцай.

Если на этом пути тебе предложат отказаться еще и от веры, согласишься и на это. Надо принять то, что труднее всего, надо пожертвовать сердцем, а также и религией, и неверьем. На пути в долину любви нужно потрузиться в огонь. Больше того: нужно самому стать огнем. Откажись и от сомнений, и от уверенности и запомни раз навсегда: на этой дороге нет разницы между добром и злом. И то и другое перестало существовать. Любовь это зверь, который пожирает все. Иногда он раздирает покровы души, иногда снова их зашивает. Он открывает двери в нищету, а нищета показывает дорогу к неверию. Когда же не останется ни веры, ни неверия, твое тело и душа исчезнут, и ты станешь достойным этих тайн. Да, таким надо тебе стать, чтобы туда проникнуть. Иди без страха. И вера, и неверие это забава для детей.

О ты, который не знаешь тревоги, эти речи не для тебя, это слово не по твоим зубам. Кто играет честно, играет на все деньги. Пусть другие удовлетворяются обещанием получить выигрыш завтра, настоящий игрок суров, он требует, чтобы ему заплатили сейчас, и наличными деньгами...

Если ты не сторишь весь без остатка, как избавишься от печали? Когда волна выбросит рыбу на песок, та извивается, пока не вернется в океан.

Любовь это огонь, а разум — дым, он не может оставаться около безумия любви и ей тоже ничего не нужно от него. Само бытие любви должно погибнуть от опынения ее... Но ты не поймешь этого. У тебя нет опыта, я даже думаю, что ты и сейчас не влюблен. Ты мертв, тебе ли слушать про эти вещи? Кто вступил на этот путь, пускай запасается тысячами сердец, дабы каждое мгновение жертвовать сотнями их...

... Однажды ночью слетелся рой комаров. Всех их терзало желание соединиться со свечой. Они решили выбрать одного из своей среды, кто бы мог раздобыть точные сведения о предмете их любви. Посланный полетел к замку и в глубине одной из комнат он разглядел сквозь окно сиянье свечи. Он вернулся и рассказал о том, что видел. Насколько мог, он дал описание свечи. Но старший из комаров, который председательствовал на их собрании, сказал, что этот разведчик ничего не узнал о свече. Тогда другой полетел на огонь и приблизился к нему. Он коснулся пламени своим крылом, свеча победила и он оказался побежденным. Он тоже вернулся и открыл собранию кое что о свойствах огня. Он смог объяснить, хоть и не ясно, в чем была тайна слиянья со свечой. Но председатель сказал и ему: твое объяснение не более точно чем то, которое дал твой товарищ.

Третий комар поднялся на воздух, пьяный от восторга. Он смело бросился в самое пламя. Улав в раскаленный воск, он протянул передние лапы в огонь, в то время как задними еще пытался шагнуть вперед. Он потерял себя и, в радостном экстазе, слился с огнем. Пламя свечи охватило его, и все увидели, что на одно мгновение он стал, как она.

Когда председатель издали увидел, что свеча слила свою сущность с комаром и уподобила его себе, он сказал: Этот узнал то, что хотел. Но он один узнал — и в этом все дело».

АНКЕТА ФИЛОСОФА

(Перевод с немецкого — из журнала «Colloquium»)

В 1948 году в Восточную Германию был командирован бывший в то время начальником Управления агитации и пропаганды ЦК акад. Александров. Ему было дано задание произвести «аппробацию» профессоров философии. Александров привез с собой анкету, разработанную в Москве и предназначенную для выяснения мировоззренческих взглядов профессуры. Можно допустить предположение, что последовавшая через некоторое время опала Александрова в какой-то степени связана и с этой его «научно-политической» деятельностью.

В свое время всем профессорам философии, преподававшим в университетах советской зоны Германии была предложена анкета советских оккупационных властей. Анкету было приказано заполнить. Благодаря счастливому случаю, мы имеем возможность опубликовать ответы д-ра философии Лейзеганг, бывшего ординарного профессора философии при Иенском университете. Вскоре после заполнения этой анкеты, проф. Лейзеганг был вынужден бежать из зоны советской оккупации.

ОТВЕТЫ НА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, КАК РУКОВОДСТВО ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТРАКТАТА О МИРОВОЗЗРЕНИИ ФИЛОСОФА.

1. Признает ли отвечающий проводимое Энгельсом основное подразделение философских систем на материализм и идеализм, причем Энгельс считает установку Юма как бы средней, колеблющейся между обоими, называя ее агностицизмом, а кантианизм — видоизменением агностицизма?

ОТВЕТ: Основное подразделение философских систем на материализм и идеализм (правильнее сказать, подразделение философских систем на материалистические и идеалистические) было введено Энгельсом не из философских и научных соображений. Оно должно было соответствовать делению общества на пролетариат и буржуазию и дать возможность создать в философии такую же конструкцию диалектической противоположности, как в области политики. Достаточно заглянуть в научную историю философии, чтобы убедиться, что дело идет только о конструкции, не удовлетворяющей многообразию и своеобразие образований философских систем.

Характеристики философской установки Юма как установки, колеблющейся между материализмом и идеализмом, насколько мне известно, в сочинениях Энгельса не имеется, да она для Юма и неуместна, ибо он не колеблется, а является последовательным представителем эмпиризма. Обозначение философии Юма агностицизмом, а кантианизма видоизменением агностицизма сводится к изложению Энгельса, мною ниже приводимому, ибо оно лучше всего показывает, как неправильно Энгельс понял Кантову теорию познания, а с другой стороны, как небезупречно переданы мысли Энгельса составителем настоящей анкеты.

У Фридриха Энгельса мы читаем («Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии», в разделе втором): «Однако, рядом с ним (речь идет о Ге-

геле) существует ряд других философов, оспаривающих возможность познания мира или, во всяком случае, возможность исчерпывающего познания. К ним из более новых принадлежат Юм и Кант, сыгравшие большую роль в философском развитии. Решающая мысль для опровержения этого взгляда была высказана еще Гегелем, насколько это было возможно с идеалистической точки зрения; то материалистическое, которое было добавлено Фейербахом, скорее остроумно, чем глубоко. Наиболее метким опровержением этой, как и всех прочих философских причуд, является практика, а именно эксперимент и промышленность. Если мы в состоянии доказать правильность нашего взгляда на какой-нибудь естественный процесс, производя его лично, создавая его из его собственных условий, сверх того, обязывая его служить нашим целям, то с непостижимой кантовой «вещью в себе» покончено. Химические вещества, произведенные в растительном и животном теле, оставались такими «вещами в себе» до тех пор, пока органическая химия не стала их получать один вслед за другим. Таким образом «вещь в себе» стала вещью для нас, как, например, красящее вещество крапа «ализарин», которому мы уже не даем произрастать в корнях крапа, а производим его гораздо дешевле и проще из угольной смолы... Если все-таки новокантианцами делается попытка снова оживить Кантово воззрение в Германии, а агностиками делается такая же попытка относительно установки Юма в Англии (где она никогда не вымирала), то это по отношению к уже давно сделанному теоретическому и практическому опровержению в научном смысле регресс, а практически — лишь стыдливый способ принять материализм за спиной, а перед лицом света его отрицать».

Здесь и речи нет о колебании Юма между материализмом и идеализмом. Кто является этими «агностиками», снова оживившими учение (теорию) Юма (не теорию Канта) в Англии, не упоминается; ибо иначе читатель узнал бы, что речь идет как раз о самых выдающихся естествоведах. Энгельс перенял выражение «агностицизм» от английского естествоиспытателя Томаса Генри Хаксли (1825 - 95), применившего его к Юму, понимая под этим духовную установку, тесно связанную с установкой скептицизма, а именно «истинное воздержание от суждений по отношению последних вещей и вопросов, уклонение от метафизических решений и догматических констатаций» (Р. Мец: «Философские течения в Великобритании», 1935). Из этого выражения, характеризующего установку, единственно достойную философа и ученого, у Энгельса получается снижающее меткое словечко, истинный смысл которого он от своих читателей скрывает.

Если подумать, что и Юм, и Кант, оба исходят как раз из процессов природы, из опыта нами уже производимого, становится непонятным, что наиболее убедительным опровержением как теории познания эмпирика Юма, так и кантовой теории познания, являющейся теорией научного эмпиризма, должны явиться практика, опыт и промышленность. Ведь сразу же на первых страницах «Критики чистого разума» говорится: «Когда Галилей давал скатываться своим шарам с наклонной плоскости с тяжестью, им самим избранной, или когда Торичелли давал воздуху нести вес, который он наперед считал равным известному ему водяному столбу, ... тогда всех естествоиспытателей осенило... Таким образом естествоведению был впервые дан надежный научный путь».

Как раз физик, экспериментатор, Энгельс, познает вещи не такими, каковы они в себе, и такому познанию не придает значения, а познает вещи только так, как они действуют на нас и на других. Он не констатирует, и вовсе не хочет знать, что такое электричество, магнетизм, тяготение в себе, но какими они нам являются в качестве света, тепла, измеримого веса. И именно таким образом вещи в себе становятся вещами для нас: т. е. они поддаются управлению. И помимо того, можем ли мы сказать, чем они являются в себе? Все, что Энгельс пишет в этом отделе, свидетельствует лишь о том, что он не понял ни Юма, ни Канта, ни метода естествознания. Вот почему примитивные понятия и представления о сущности научного исследования и научного мышления, которыми Энгельс оперирует, непригодны для того, чтобы можно было их приложить как

мерку научно обоснованной философии, каковой она предстает в своем развитии с того 1888 года, в котором появилась указанная статья Энгельса.

ВОПРОС: Как отвечающий относится к философским системам Гегеля, Беркли (Маха), Канта и Юма, а также к новокантианизму и прочим современным школам? Представителем какой школы он сам себя признает?

ОТВЕТ: Мною изучаются и проверяются, на предмет содержания в них истинны, философские системы Гегеля, Беркли, Канта, Юма, Маха, новокантианцев и прочих современных школ. Я лично ни к какой «школе» не принадлежу.

ВОПРОС: Как автор трактует проблему мировой субстанции?

ОТВЕТ: Под субстанцией я понимаю пребывающего неизменным носителем некой совокупности непостоянных (переменных) свойств. Так, например, некий отдельный человек, родившись, развиваясь, умирая и переживая в себе бесчисленные изменения, остается именно этим индивидуумом, на котором совершаются все эти изменения и который носит в себе некое начало, пребывающее неизменным, управляющее всеми изменениями. Так что он, например, не может сделаться больше слона, не может в качестве членов развить суки и ветви, а непременно руки и ноги и т. д. Это относится и к неживому. У вещества железа меняется цвет, образ, агрегатное состояние, способ, каким это вещество вступит в соединения с другими веществами, однако, только так, как это отвечает сути железа. Это нечто, пребывающее при изменениях неизменным, определяющее существо во всех его изменениях, и есть субстанция. Но так как мир состоит из мертвых веществ, живых организмов, одухотворенных существ и из творений человеческого духа, то для всех этих категорий приходится принимать различные виды субстанций. И каждый индивид, сохраняющий себя в изменениях качественно именно таким, а не иным, имеет свою особую субстанцию в качестве непространственного и невещественного начала, согласно которому на нем совершаются изменения. Поэтому мировая субстанция мыслима только как система субстанций, состоящих между собой во взаимном, весьма сложном, взаимодействии.

ВОПРОС: Считает ли отвечающий утверждение Энгельса, что «действительное единство мира состоит в его материальности», правильным? Если нет, то какова его точка зрения в этом вопросе?

ОТВЕТ: Это утверждение не основательно уже потому, что в объединении мира в некое единство (поскольку мы вообще в состоянии его обозреть) участвуют силы, для своего действия не нуждающиеся в материи (веществе). Так, электрическое или магнитное поле распространяется в пустом пространстве, не содержащем материю, а субстанции, создающие единство какого-нибудь живого организма и объединяющие его материальные составные части в некое единство, не обладают пространственным протяжением; они не являются ничем материальным. Если даже всюду имеется материя, как носительница и источник сил, то единство мира из этой материи как раз не состоит.

ВОПРОС: Считает ли отвечающий утверждение Энгельса, что «материя нематериальна без движения, равно как и движение нематериально без материи», правильным?

ОТВЕТ: Материя вполне мыслима без движения. Камень, лежащий на земле, находится в покое относительно земли и все-таки является материей. Вполне мыслим также, относящийся к результатам теоретической физики, вывод, что когда-нибудь движение во всей вселенной прекратится и материя тогда окажется без движения. А именно, когда по закону рассеяния энергии все формы энергии, в конце концов, превратятся в тепло, разности температур уравниваются и наступит тепловая смерть вселенной.

Также неправильно, что движение нематериально без материи. Не содержащие материи электромагнитные волны распространяются в пустом пространстве. Следовательно они движутся без того, чтобы существовала материя. Во всяком случае, движение «мыслится» в физике таким образом, и только диллетанты, ничего в этом не смыслящие, полагают, что невозможно так помыслить и что должен

существовать какой-то эфир или что-нибудь иное материальное, в котором или с которым протекает движение.

ВОПРОС: Признает ли отвечающий, что материей является то, что, действуя на наши органы чувств, вызывает ощущения; что материя является объективной реальностью, данной нам в ощущениях?

ОТВЕТ: Если здесь под материей подразумеваются реальные предметы и физические процессы в окружающем мире и физиологические процессы, протекающие в нас самих, тогда материей является то, что, действуя на наши органы чувств, может вызвать ощущения. Я не признаю, что материя есть объективная реальность, однако признаю, что она имеет объективную реальность. Я не признаю, что эта объективная реальность дана нам в ощущениях, однако признаю, что ощущение способствует созерцанию объективно данных реальных предметов и процессов (или другому внешнему впечатлению), которое может быть более или менее адекватно существующим во внешнем мире отношениям вещей, им, однако, соответствовать не должно. Оно может нас основательно ввести в заблуждение относительно них. Вся постановка вопроса не учитывает научного познания физических процессов, происходящих во внешнем мире, при котором ощущение имеет совсем иное значение, чем при наивном познании нашей среды.

ВОПРОС: Признает ли отвечающий, что идея причинности, необходимости, закономерности и т. д. является отражением законов природы, действительного мира в человеческом мозгу? Если нет, то как автор в таком случае трактует эти проблемы?

ОТВЕТ: Причинность, необходимость, закономерность не являются «идеями». Я не понимаю, чем должно быть «отображение законов природы». Я до сего времени еще не видел отражения действительного мира в «мозгу». При открытии мозга живого человека, насколько мне известно, до сих пор в нем еще не нашли отражения действительного мира, а только ганглиозные клетки и ткани. Такие «проблемы» мною не трактуются.

ВОПРОС: Как отвечающий трактует проблему пространства и времени?

ОТВЕТ: Я различаю значения, которые пространство и время имеют в математике, в классической механике, в специальной и общей теории относительности и в современной физике, в психологии и во вненаучном опыте повседневной жизни, и трактую проблему времени и пространства в соответствии с этим, т. е. как проблему математическую, физическую, психологическую и экзистенциальную с теми решениями, которые эта проблема получила до сих пор. Они показывают, что дело здесь идет о весьма разнообразных, но друг другу не противоречащих воззрениях, которые не могут быть объединены в одну единую проблему.

ВОПРОС: Признает ли отвечающий, что внешний мир принципиально познаваем и что основу теории познания составляет признание внешнего мира и его отражение в человеческом мозгу?

ОТВЕТ: Я признаю, что многое из внешнего мира познаваемо не только принципиально, но и действительно. Я не признаю, что внешний мир отражается в человеческом «мозгу», т. е. опять-таки, такие отражения до сих пор в мозгу не были найдены.

ВОПРОС: Считает ли отвечающий правильной точку зрения Энгельса, что «вещи в себе» превращаются в «вещи для нас»?

ОТВЕТ: В ответе на первый вопрос было указано, что эта точка зрения Энгельса основана на ошибочном понимании термина «вещь в себе».

ВОПРОС: Как отвечающий трактует чувственное познание?

- а) Признает ли автор, что ощущение является субъективной картиной объективного мира?
- б) Признает ли автор, что ощущение является источником всех наших познаний?
- в) Признает ли автор, что ощущение является преобразованием энергии внешнего раздражения в факт сознания?

- г) Как автор трактует проблему восприятия?
- д) Как автором трактуется проблема представления?

ОТВЕТ: Относительно «а»: Ощущение не является источником всех наших познаний. Существуют также познания, истекающие только из рассудка и разума.

Относительно «б, в, г, д»: Эти вопросы относятся к психологии, ответ на них дается мною соответственно результатам эмпирической психологии.

ВОПРОС: Как автор трактует логическое познание?

- а) Роль абстрактного мышления в процессе познания?
- б) Проблему понятия?
- в) Проблему суждения?
- г) Проблему вывода?

ОТВЕТ: Я тружусь над новым обоснованием сущности и форм логики. Мои работы в этой области еще не закончены и поэтому я в данное время не могу дать ответа на эти вопросы.

ВОПРОС: Как автор трактует проблему истины?

- а) Признает ли автор объективность истины?
- б) Абсолютную и относительную истину?
- в) Признает ли автор истину как нечто конкретное?
- г) Как автор трактует проблему опыта, эксперимента: как субъективное переживание субъекта или же как воздействие внешнего мира на наши органы чувств и на отражение их в нашем сознании?
- д) Признает ли автор роль практического опыта (эмпиризма) в познании истины?

ОТВЕТ: а) Следует отличать формальную, или логическую, истину от эмпирической истины, или истины фактов. Какой-нибудь тезис формально-логически истинен, если он является аксиомой некоей системы аксиом или если, исходя из такой, может быть доказан. Тезис содержит эмпирическую истину, или истину фактов, если высказываемое им отношение вещей существует.

б) Истины всегда объективны и имеют значение абсолютных, ибо иначе они не являются истинами.

в) Истина, как таковая, не является ничем конкретным, однако, какой-нибудь тезис может высказать что-нибудь истинное о конкретных предметах или отношениях вещей.

г) Так же, как физик.

д) Практический опыт играет при познании истин известную роль, если все субъективные составные части из него исключены или так контролируются, что субъективное отделяется от объективного процесса и только последний может быть установлен.

ВОПРОС: Признает ли автор объективную закономерность в социально-историческом развитии? Если признает, то как ее трактует? Если не признает, то как он объясняет исторический процесс, какую роль в истории он уделяет личности?

ОТВЕТ: Столь часто и основательно было доказано, что никаких «законов» исторических событий не существует, а тем самым и никакой закономерности хода социально-исторического развития. Каждый, работавший в области философии истории и методологии исторической науки, может дать на этот вопрос только отрицательный ответ. Предположение, что исторический процесс закономерен, основано на недопустимом перенесении естественно-научного мышления на предметы гуманитарных наук, в особенности на историческую науку. Исторический процесс не может быть объяснен в естественно-научном смысле, а только понят. История не только хозяйственный, но и духовный процесс. Она в равной мере является биологической, а также культурной, духовной жизнью отдельных лиц, как и больших и больших общин. Условия географические и климатические участвуют здесь так же, как идеи, оценки, ошибки, предубеждения в вопросах мировоззрения, технические средства, массовые внушения, случайнос-

ти и планомерные оформления. Они встают перед нами все вместе и требуют своего признания, и только тогда какой-нибудь исторический процесс, являющийся весьма комплексным явлением, будет понят. От исторической науки, исследующей и воссоздающей такие процессы, следует отличать трактовку истории и метафизику истории, вносящую в исторический ход некий смысл задним числом («пост фактум»), рассматривая его с какой-нибудь религиозной, этической, социальной, экономической точки зрения, создавая этому развитию некую цель (например: гибель Запада, постоянный прогресс по направлению к возможно большему счастью, возможно большего числа людей, вечное возвращение всех вещей, победа пролетариата над буржуазией и т. п.) и таким образом используя прошлое для настоящего и будущего. Одно уж разнообразие возможных трактовок и намеченных целей показывает, что и здесь дело вовсе не в закономерности, не говоря уже о том, что скромный опыт все снова учит: сбывается всегда иное, чем было предсказано такой трактовкой истории.

Изучение истории раскрывает роли, сыгранные в ней великими личностями. Они выросли из своего времени и из связанной с этим временем обстановки, но их нельзя понимать целиком как продукты своего времени и обстановки. Личности также находятся под влиянием больших масс; если только являются личностями, а не пользователями духом своего времени, они и противодействуют массам, управляют ими, указывают им цели, провозглашают новые мысли и идеалы, ради которых они достаточно часто принимают распятие на кресте и сожжение.

ВОПРОС: Как автор трактует проблему свободы и необходимости?

ОТВЕТ: Свобода. Необходимо различать:

- 1) Физическую свободу, определяемую числом степеней свободы движения твердых тел. Под этой свободой следует понимать также случайность движения мельчайших тел, уклоняющуюся от причинного определения, уловимую лишь с помощью теории вероятности.
- 2) Физиологическую свободу живых организмов, жизненные функции которых не только обусловлены причинно, но и обладают свободой подчинить причинно-обусловленные физико-химические процессы некоему началу, создающему целостность.
- 3) Физическую свободу или свободу действия сознательно-устремленных животных и людей, существующую тогда, когда их намеренным действиям не противостоят или противопологаются какие-либо физические препятствия.
- 4) Психологическую свободу — настоящую свободу воли желать, чего хочешь.
- 5) Моральную свободу; она состоит в способности действовать (поступать) также вопреки жизненным побуждениям и интересам, с тем, чтобы следовать этическому требованию или чтобы не нарушить этическую ценность.
- 6) Свободу совести, как право сметь беспрепятственно следовать своей личной совестью.
- 7) Свободу вероисповедания, как право сметь жить в соответствии со своими религиозными убеждениями.
- 8) Свободу исследования и учения, как право следовать познанной истине и ее преподавать.
- 9) Политическую свободу народа или государства.

Таким образом, каждая область, начиная с физических тел, вплоть до социальных формаций, носимых общим духом, имеет свою собственную свободу.

Необходимость. Следует различать:

- 1) Логическую необходимость, или необходимость мышления, состоящую в значимости какого-нибудь суждения на основании других суждений и получающуюся из связей содержаний мышления.
- 2) Необходимость сущности, подобающую некоему отношению вещей на основании его идеальной структуры.
- 3) Необходимость познания, состоящую в проницательности в необходимость

чего-нибудь, т. е. в познании, почему оно именно так, а не иначе, и почему оно вообще существует.

4) Реальную необходимость, последовательность реальных процессов. Так, например: причинную последовательность, но и неразрешаемые в причинности и все же последовательно протекающие органические, душевные, персональные, духовные, исторические процессы.

И понятие необходимости, принимаемое во внимание в каждом данном случае, соотнобразуется со структурой идеальных и реальных предметов, из которых слатается строение вселенной.

В. Марков

ЛЕГЕНДА О ЕСЕНИНЕ

Uns ist in alten maeren
Wunders vil geselt

Niebelungenlied

I.

Всё это пишется, как любят говорить редакторы, «в дискуссионном порядке». Есенин занимает прочное место в поэзии. Его не только любит читатель, но и самые разборчивые критики эмиграции признали его. Попытки анализа еле слышны. Таким образом, равновесие нарушено. Цель этой статьи — восстановить утраченное равновесие. При этом не нужно бояться заострения проблемы — в интересах ясности. Заранее спешу упомянуть: Есенин крупный поэт, «Божьей милостью» и т. д. Автор статьи любит его стихи. Но — другая сторона тоже должна быть выслушана.

Кроме творчества, поэт часто оставляет потомству личную легенду, где биография переплетается с мифом. Иногда ее без ущерба можно не знать (Фет), иногда без нее не обойтись (Блок). Подход (как к стихам, так и к легенде) может быть разный: читательский, исследовательский: можно упиваться строчками, можно «итти» за поэтом. Есть еще один подход: можно называть «нравственным», и он будет содержать суждение о человеческой стороне поэта. Такой подход не в фаворе, но у него большое будущее (не придется ли скоро «открывать» Шиллера). Во второй половине XIX века в России к литературе подходили с социально-этической точки зрения (какой нонсенс в самом словосочетании!), потом с эстетической. Может быть, уже пора задумываться над возможностью эстетико-этического подхода, т. е. оценивать не только удавшиеся «две строки» (как в Париже), а и всего человека в придачу. Можно называть нео-гуманизмом, если хочется. Поэт — высокое звание; это часто и давно твердится, и это правда. Почему-то наивеличайшая гордость России — Пушкин, а не Суворов или Менделеев, у немцев — Гёте, а не Бисмарк и т. д. Поэтому мы вправе ожидать от поэта и человеческого примера. Это особенно подходит в поэзии, которую начали честный и прямой Державин и невероятно добрый, прекраснодушный Жуковский. «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак». В предисловии к парижскому изданию Есенина пишется: «Не хочется подходить к биографии и личности Есенина с обычными мерками: нравственно-безнравственно...» Как будто так уж часто за последние пятьдесят лет подходили с такими мерками. А если всё-таки подойти?.. Один нравственный подход ложен, он неизбежно вырождается в проповедь, дидактику, даже фарисейство. Но что не ложно, когда оно одно. Формалисты, например, хотели выделить самое существенное в литературе, всю «шелуху» отбросили, занялись «сутью». Но сути не нашли. Хирург может сколько угодно копаться в теле, секрета жизни он не знает.

Из всего вышесказанного не следует, что автор этой статьи собирается смотреть на Есенина в лупу морали. Подходы будут обычные, знакомые. Но иногда...



События последних лет жизни Есенина, а особенно его самоубийство, имели неслыханный резонанс. Легенда почти поглотила творчество. Поэт превратился в русского Родольфо Валентино, и женщины стрелялись на его могиле. Вряд ли «Вертер» имел одну десятую такого действия. Нельзя исчислить все слезы, что были пролиты в стихах на его смерть во всех утлах любимой им «Руси» — «от финских хладных скал etc.». В Хабаровске некий Вельский опубликовал «Сережа, Сережа, овсяная грудь»; в газете «Соловецкие острова» появилось «Не сберегли кудрявого Сережу»: известные коллеги Жаров и Казин разразились стихами «Надо, братцы, как-нибудь иначе» и «Эх, Сергей, ты сам решил до срока»; в то время как неизвестная Варвара Бутягина жалела: «Я тебя не знала, не любила»; наконец, земляк Хориков не мог себе представить: «Как без тебя вернусь в Рязань».

Зато газетные статьи были строгие и осуждающие. Если в Ново-Николаевске уверенно озаглавили — «Умер поэт, поэзия жива», то в Рыбинске почему-то заявили «Долой литературное хулиганство». Нарком здравоохранения, тов. Семашко, обеспокоился: «Угрожает ли нам эпидемия самоубийства?» Ортодоксальный поэт Безыменский задавался коварным вопросом: «О чем они плачут?», и ему вторил марксист-литературовед Коган: «Красиво ли то, о чем пел Есенин?» Но всё это было «для порядка». На самом деле все жалели. Сам Троцкий написал: «Мы потеряли прекрасного поэта, такого свежего, такого настоящего». И веренища очерков и воспоминаний называют Есенина «беспутный гений», «певец голубени», «цветок неповторимый», «пропащий поэт», «ржаной поэт», «поэт озерной тоски» и «Дон-Кихот деревни и березы».

Стихи на смерть Есенина, почти без исключения, тошнотворны и даже смешотворны. Вот пример из Жарова:

Это все-таки, пожалуй, глупо
И досадно свыше всяких мер,
Что тебя, Есенин, сняли трупом
С потолка в отеле «Англетер»...

Рядом с ними «Вы ушли, как говорится, в мир иной» Маяковского кажется недостижимым шедевром. Как ни ироничен факт, но это, действительно, лучшее из написанного на смерть Есенина.

Популярность Есенина до сих пор необыкновенно широка. Один эмигрантский критик писал, что в любви к нему объединяются 16-летняя комсомолка и 50-летний белогвардеец, — и это суцная правда. 25-летие его смерти было недавно отмечено эмиграцией с большим единодушием.

Как всякая популярность, она оправдывается и поддерживается устными и печатными утверждениями не только эстетического порядка. Вкратце можно было бы изложить следующим образом:

Есенин подлинно народный поэт, вышедший из глуши российского крестьянства. Он жил судьбой этого крестьянства, многого ожидал для него от революции и, не получив, разочаровался и погиб. Его простые и душевные песни распевают весь народ. С народом он делит большое чувство родной природы, любовь к родному краю и религиозность. Его стихи искренни и красиво-печальны. Сам его облик поэтичен: синие глаза, волосы цвета ржи. Он начал писать необыкновенно рано и писал — как птица: легко и свободно. Он был одной из первых жертв советской власти и этим тоже как бы символизирует судьбу русского народа. Сейчас строки этого «загнанного в петлю» поэта являются «единственным утешением в жизни народа». Его стихи запрещены, не издаются в СССР, но «недалеко то время, когда все народы России свободно и вольно запоют его песни». В списке современных русских поэтов он «самый яркий представитель русского антибольшевизма».

Если все это взять на веру, вряд ли можно найти поэта, в равной мере ответствующего чуть ли не всем вкусам и чаяниям широкого читателя. К сожалению, наряду с вещами бесспорными в этой легенде есть прямое извращение фактов, не говоря уже об изрядном количестве «неполной правды».

Прежде всего, несколько голых фактов. После войны Есенина в СССР издавали четыре раза (из них два раза с березками на переплете). Предполагается еще издать два однотомника. В послевоенные антологии Есенин входит как правило. Недавно «Литературная газета» (29 июля 1954 года) сообщила, что в родном селе поэта идет реставрация его домика, делают клумбы, организуется музей Есенина.

Предвидя возражение, что власть тут уступает «стихийному напору населения», я спешу сослаться на статью в «Новом Русском Слове» (1 июля 1953 г.), где писали, что Сталин с удовольствием декламировал есенинские стихи покойному Клементису. Известно, что Калинин и Киров тоже любили его стихи. И ничего противоестественного тут нет. Конечно, Сталин любил стихи Есенина больше, чем Маяковского, и прославление Маяковского шло из иных побуждений. Таких фактов немало. Не упоминаемому в энциклопедиях Гумилеву следует значительная часть советской поэзии от Тихонова до Симонова. Так же Есенина, о котором весьма кисло пишут в предисловиях, читают запоем от вождя до доярки. А Маяковского, прославляемого на всех перекрестках, те же читатели читают по обязанности. Советское «викторианство» тоже строится на лицемерии.

Ясно и непреложно доказать антисоветскую направленность творчества Есенина нельзя, если только не прибегать к недобросовестным приемам. Во всех четырех томах полного из собраний его сочинений нет ни строчки в помощь подобным доказательствам. Часто приводят в пример пьесу «Страна негодяев», хотя это вещь спорная, и неизвестно, на чьей стороне в ней Есенин, если только он вообще на чьей-нибудь стороне. Акценты не проставлены. В «негодяи» годится и Чекистов и антибольшевик Номах. Понятие «страны негодяев» сложнее, чем кажется; оно перекликается с «страной самых отвратительных громил и шарлатанов» (Черн. Чел.). Сама пьеса — произведение на редкость слабое. Не окончил его Есенин, возможно, по художественным причинам: не случайно оно кончается на безвкусном эпизоде с вращающимися глазами на портрете Петра Великого.

В стих. «Снова пьют здесь...» есть антисоветская тема (но не направленность), однако враждебные «Октябрю» силы в нем — это «гармонист с провалившимся носом» и другие неудачники, «бесшабашная гниль». Сам поэт не ненавидит и не презирует «Октябрь суровый». Он скорее презирает себя за то, что не может итти в ногу с временем. Стихотворение в целом — сложное для анализа и на интересующую нас проблему света не проливающее.

Очень характерно, что, в другом месте, после многообещающей строки «Советскую я власть виною» идет довольно слабое „Рассиусе“ («Что юность светлую свою в борьбе других я не увидел»).

Есть двестише:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам...

которое можно использовать для доказательства с некоторой натяжкой, и, наконец, в «Кобыльях кораблях» есть до известной степени зашифрованные антисоветские строки («Веслами отрубленных рук Вы гребетесь в страну грядущего» и другие, еще более темные, сохранившиеся только в первой редакции).

На всем этом строить трудно. Конечно, у Есенина могли быть стихи, не попавшие в собрание. Но почему о них нет даже слухов? В то время они легко могли попасть за границу. А. Воронский в предисловии к собранию заверяет: «В литературном наследстве поэта... нет вещей отвергнутых или залежавшихся по обстоятельствам политического характера». У нас нет особых причин не доверять ему. Напечатали же «Страну негодяев».

Знаменитый «Ответ Демьяну Бедному» направлен не против советской власти, а против Демьяна. Кроме того, уже пора категорически заявить, что это стихотворение не мог написать Есенин. В других стихах (достоверных) Есенина есть замечания о Демьяне, они исполнены презрением немного завистливого соперника по популярности — и только; в них нет и следа гневного достоинства «Ответа». Тем не менее, Г. Иванов поместил его в свое издание Есенина. В Париже любят говорить о «музыке», которая слышится в стихах и она будто бы не обманывает. Но ведь как раз есенинского звука-то и нет в этих стихах. Ритм, словарь, образность, идеи, т. е. элементы, поддающиеся анализу без особых трудностей, решительно опровергают есенинское авторство.

Таким образом, легенду об антисоветской направленности творчества Есенина лучше временно отставить в сторону, пока не наберется более убедительных доказательств.

Напротив, «советские» взгляды Есенина во всех разнообразных оттенках доказать гораздо проще:

Учусь постигнуть в каждом мите
Коммуной вздыбленную Русь

Да здравствует революция
На земле и в небесах

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал всё русское за горло

Я полон дум
Об индустриальной мощи

К чорту чувства, слова в навоз,
Только образ и мощь порыва!
Что нам солнце? Весь звездный обоз —
Золотая струя коллектива.
Что нам Индия? Что Толстой?
Этот вечер, что был, что не был.
Нынче мужик простой
Пялится ширше неба.

Недвусмысленных цитат можно набрать во много раз больше. В них Есенин часто звучит как его антипод Маяковский («А в голове паршивый сэр Керзен»). Две его советские поэмы — о шлиссельбуржцах и о бакинских комиссарах — чистый Асеев.

О Ленине Есенин писал не меньше и с не меньшим восхищением, чем опять-таки тот же Маяковский. Он поет «хвалу и славу рулевого». Ленин для него — «дворянский бич», «наш строгий отец Ильич», «суровый теней», «капитан земли», «застенчивый, простой и милый, он вроде офинкса предо мной». Даже слоны (!) удивляются Ленину. Поэта только беспокоит, что «пакость» (т. е. старый мир) «и солнцем-Лениным не растопить».

Все, наверно, помнят, что Есенин «Капитал» Маркса «ни при какой погоде... не читал». Но не все знают, что, кажется, ни один русский поэт не писал о «пузатом» «Капитале» так много (даже Маяковский). Книга эта его и забавляла и беспокоила. Иногда он ее все же пробовал читать, как мы узнаем из других, менее известных строк, хотя «одолеть не мог пяти страниц из «Капитала». В другом стихотворении он «тихо садится» за эту книгу, «чтоб разгадать премудрость скучных строк». В конце концов, прилежание увенчивается успехом: «Достаточно попасть на строчку, и вдруг понятен «Капитал».

Пресловутый «50-летний белогвардеец» восхищался бы Есениным наверное меньше, если бы знал, как тот, совершенно в стиле презируемого им Демьяна Бедного, писал с некоторой веселостью:

Офицерики
Да голубчика
Прикокошили
Вчера в Губчека

и называл белую армию «белым стадом горилл», которые

Валят сельский скот
И под водку жрут,
Минут крестьянских жен,
Девочек лапают.

Если «белогвардеец» все же продолжает любить Есенина, то только потому, что зарубежные издатели дают ему «цензурированного» Есенина.

В предисловии к парижскому собранию Есенина поэма «Инония» названа самым совершенным произведением поэта, «ключом к пониманию», но читатель тщетно стал бы искать поэму в книге. Она не помещена. Очевидно, лучше не давать читателю «ключа к пониманию» Есенина. По всей видимости, издатель просто боялся испортить привычное представление о поэте поэмой, где тот «проклинает Радонеж» и «кричит, сняв с Христа штаны».*) В другом зарубежном издании «Инония» представлена только сравнительно безобидной концовкой, а из «Иорданской голубицы» предусмотрительно выброшена часть, где Есенин заявляет:

Мать моя родина,
Я — большевик.

Совсем не найти в зарубежных изданиях поэмы «Преображение» (впервые появившейся во 2-м г. I века, сиречь в 1918 г.), потому что там опять «неудобный» Есенин:

Ради вселенского
Счастья людей
Радуюсь песней я
Смерти твоей (т. е. России)

Так загримированный под антибольшевика Есенин попадает чуть ли не в знаменосцы борьбы с коммунизмом.

Дело, конечно, и не в том, что Есенин был преданным слугой советской власти. Вывешивал ли он красный флаг в Бостоне, произносил ли пропагандные речи на улицах не понимающим его американцам, или же делал антисоветские выступления в Москве, это имеет мало отношения к его творчеству, потому что не касается поэтических глубинных пластов. Во всяком случае, ни здесь, ни там не нужно скрывать сложности художественного и человеческого пути поэта. Впрочем, может быть, поклонники Есенина хотят, чтобы их обманывали.

Упомянув «Инонию», мы коснулись религиозности Есенина. Эта тема требует специального исследования. Но и невооруженным глазом заметно, что Есенин не был религиозным человеком или поэтом. Его ранние стихи полны религиозных образов — «лесных аналогов», «берез-свечек», «монашек-из» и «молитв на копны и стога», — но это только стилизация. Под этим есть некоторая умиленность — и только. Еще Ходасевич заметил, что у Есенина «христианство не содержание, а формы».

*) Один из любимых образов Есенина: «пляшет, сняв порты, златоколенный дождь», «сойди на землю без порток», «каждый из нас закладывал за водку свои штаны», «брат мой в штаны намочил», «задрал штаны, бежать за комсомолом».

В революцию Есенин писал «богоборческие» поэмы и скандализировал читателя возгласами вроде «Господи, отелись». Но даже это богоборчество — слабое и неискреннее. К религии эти поэмы не имеют отношения.

Поздний Есенин даже не скрывает, что он не верит в Бога:

Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь...

В это же время он печатно заявил: «Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я реалист. Я просил бы читателя относиться ко всем моим Иисусам, Божьим Матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии». В этом высказывании есть некоторый реверанс в сторону власти, но есть (подробно мы будем об этом говорить ниже) и большая откровенность, много открывающая в жизни и в стихах Есенина.

Среди поздних стихотворений одно («Русь бесприютная») содержит прямой донос на монашество. Впрочем, как бы подтверждая известное место из письма Белинского к Гоголю, Есенин никогда не отличался уважением к духовенству. Описание свадьбы в его дореволюционной прозаической повести «Яр» напоминает некоторые картины художника Перова.

О православии Есенин писал в «Ключах Марии»: «Православие заслонило своей чернотой свет солнца и истины».

Ревизии следует подвергнуть и легенду о «народности» Есенина. Здесь не место заниматься нерешенной и нерешимой проблемой «народности» вообще, которую сводят то к фольклору, то к крестьянскому быту, то к происхождению, то к популярности; при этом часто исходят из абсурдной предпосылки, что крестьяне это народ, а дворяне нет.

Конечно, Есенин хорошо знал русскую деревню. Но интересно, что подлинная деревня редко входила в его стихи. Насколько реальнее она у помещика Некрасова. Деревня раннего Есенина часто просто блоховская «идея», разукрашенная под Клюева. Поэзии крестьянского труда, которой полны стихи Кольцова, у Есенина не найти. Когда же он, уже зрелым мастером, «реалистом», отбросившим клюевщину и скифство, вернулся в деревню и взглянул на нее без всякой фальшивой метафизики, — он испытал не разочарование, как все стараются доказать. Тон его стихов теперь: ишь ты, вот оно как. Есенин уже знаменит, ридиться в рубашку с «петушками-гребешками» ему уже не нужно — и деревня ему теперь не так уж необходима. С легкой иронией, без всякой трагедии, разве только с усталостью, поэт замечает:

Какого ж я рожна
Кричал в стихах, что я с народом дружен.

Важно прибавить, что Есенин обыкновенно противопоставлял «исконной» Руси не «Русь советскую», а Русь «железную», следуя в этом опять-таки Клюеву. Клюев же, при всей своей мудренности, наивно полагал, что смысл послереволюционного конфликта — в борьбе его «толоконного» с герасимовским «машинным». Есенин не догматик, к тому же, по его собственному заявлению, он «реалист». И поэтому он легко отходит от Клюева:

Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной страны.

Когда он пьет четыре бокала в одном из поздних стихотворений, второй бокал пьется за рабочих и только на третьем месте крестьяне. Мариенгоф, который знал Есенина в личном плане лучше очень многих, говорит, что тот любил город и в деревне не знал, куда себя деть.

В плане же творческом у зрелого Есенина

Нет любви ни к деревне, ни к городу.

Прежде чем развить эту тему, нужно коснуться еще одной части есенинской легенды. В последней, наряду с элементами «байроническими» (разочарования, душевной опустошенности, романтики отношений с женщинами) есть элементы, которые можно назвать «моцартовскими». Это мотив «вундеркинда» и мотив легкости творчества («как птица поет»). Последнее давно опровергнуто свидетельствами мемуаристов. В. Шкловский писал в есенинских корзинах со словами на карточках. Шершеневич говорит о сложной системе написания стихотворения на десятках листков с постепенной отделкой. Сам Есенин поддерживал легенду («Стихи не очень трудные дела»), однажды старался изумить Блока будто бы сразу, «под впечатлением музыки», написанным стихотворением «Слушай, паршивое сердце».

Поддерживал он легенду о «вундеркинде», которая, кажется, до сих пор не вызывала возражений. В 1926 г., после смерти поэта, учитель Е. М. Хитров доставил в журнал «Красная Новь» два стихотворения Есенина 1911-12 гг., когда тот был еще учеником Спас-Клениковской второклассной учительской школы. Вот начало одного из них («Моя жизнь»):

Будто жизнь на страдания моя обречена;
Горе вместе с тоской заградило мне путь,
Будто с радостью жизнь навсегда разлучена,
От тоски и от ран истомилась грудь.
Будто в жизни мне выпал страдания удел;
Незавидная мне в жизни выпала доля.
Уж и так в жизни много всего я терпел,
Изымает душа от тоски и от горя...

С другой стороны, его маленький шедевр:

Там, где капустные грядки
Красной зарей поливает восток,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

если судить по дате в собрании сочинений, написан в 1910 г. Та же дата стоит под несколькими зрелыми стихами из «Радуницы» с изощренной образностью и строфикой. Стихи, подобные «Моей жизни», до сих пор пишут тысячами бухгалтеры колхозов. Конечно, они не могли быть написаны после «Клененочка», который может стать в один ряд с лучшими «однострофами» русской поэзии: с тючевскими «Как дымный столб» и «Слезы людские», с «Молитвой» Боратынского, с мандельштамовским «Звук осторожный и глухой» и с «Вобзоби» Хлебникова. Ларчик открывается просто: «Клененочка» датировал для собрания сам Есенин.

II

Под душою так же падаешь,
Как под ношей.

Есенин

Причина самоубийства известного поэта всегда законно интересует и читателя и исследователя. Советские критики, кажется, сошлись на том, что виной непонимание Есениным новой России. Эмиграция, как будто, решила, что советская Россия убила поэта. Эти две точки зрения, несмотря на разницу стиля, друг другу не противоречат.

С конкретной советской властью Есенин был в лучших, чем принято думать, отношениях. «Снабжение продовольствием и вином шло непосредственно из Кремля» (воспоминания Анненкова, «Опыты» №3); милиция, по приказу сверху, чуть ли не нянчилась с ним. Ходасевич в «Некрополе» сообщает, что на именинах у А. Толстого Есенин предлагал одной поэтессе: «А хотите посмотреть, как

расстреливают? Я это Вам в одну минуту через Блюмкина устрою». Полагают, что правительство специально создавало поэту такое окружение — но здесь мнения могут расходиться, а фактов нет.

Есть также сильные основания полагать, что «крушение крестьянской Руси» не играло такой уж решающей роли в трагедии Есенина. В последние годы крестьянство просто мало его интересовало.

Что же привело его к самоубийству? Творческой стороной этого вопроса мы займемся позже, а пока попробуем поискать иных причин и поводов. Редко кто не выступал в свое время с «объяснениями» по этому поводу. Городецкий утверждал, что на Есенина очень действовало, что его не принимали в партию (примечательно, что в партию он подавал, — еще один из фактов, которые обходят), что его «Пугачев» не имел успеха. Шершеневич считает одной из причин «охлаждения» читателя и чуть ли не «травлю» Есенина, выразившуюся якобы в том, что во время выступления поэта в Политехническом Институте его «Сорокоуста» после первых десяти строк освистали и не дали читать дальше. Вряд ли, однако, Есенин рассчитывал на что-либо иное, кроме скандала, этими десятью строками: стоит перечитать их, чтобы в этом твердо убедиться.

Больше внимания заслуживают указания, что Есенин совершенно изменился в характере и отношении к окружающему после своей поездки за границу. Настроения злости и упадка относят уже к первым письмам из Европы и Америки. Ехал он туда очень бодро и даже объявил: «Я еду на Запад, чтобы показать Западу, что такое русский поэт». Неясно, как именно он предполагал показывать это. Импрессарию Юрок в своих интересных воспоминаниях описывает, как на вечере нью-йоркских поэтов Есенин сорвал платье с Дункан, хотел выброситься из окна, а потом бежал по морозным улицам, крича: «Эй, американцы!» Другие источники сообщают, что он в Америке заявил: «Кто хочет знакомиться со мной, пусть учится говорить по-русски».

Если отбросить моменты клинического порядка (наследственный алкоголизм, психическое заболевание и др.), выступает довольно ясно одно: Есенин не мог справиться с духовно-нравственными проблемами своей жизни.

Первой проблемой на его пути была революция. Не разобрался в революции не он один. Одни искренне прославляли или проклинали, другие подделывались. Есенин не пошел ни одним из этих трех путей. Он перепевал идеи окружающих. Обманывая себя самого, он делал вид, что его волнует тема «мужичьего рая», и писал одну за другой внутренние фальшивые, мертворожденные, громкие поэмы, которые теперь справедливо забыты всеми, кроме нескольких литераторов, всё еще принимающих всерьез этот «космизм».

Другой проблемой был имажинизм, захудалое литературное течение, каких тогда было вдоволь. В теории имажинизма есть несколько интересных идей, не очень оригинальных, впрочем. Да и кто не умел тогда умно рассуждать о поэзии с псевдо-глубиной и блеском. Стихи имажинистов, если и не всегда бездарны, то пошлы. «Вожди» Мариенгоф и Шершеневич были люди внутренне опустошенные, повидимому, окончательно развратившие Есенина духовно и нравственно. Самому Есенину имажинистское платье редко шло, имажинистскими приемами он иногда портил неплохие поэмы (Исповедь хулигана, Сорокоуст). Правда, это только одна сторона дела. Нельзя отрицать, что его сознательное мастерство кое в чем от имажинизма выиграло. Это было все-таки школой. Подчас на этой технике он создает и прекрасные строки, достойные Рембо:

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

и целые поэмы, как напр., «Кобыльи корабли». Развивая эту линию, Есенин мог создать лирику большого объективного трагизма. Но Есенин редко чему-либо отдавался всей душой. Как ни странно, русское «козь любить, так без рассудку» не было его девизом; этому мешал холодок мужицкой хитрецы, постоянно прорывающийся в фактах его жизни, знакомых нам. Внутренне он, конечно, созна-

вал, что, несмотря на все теории друзей,^{*)} настоящим главой имажинистов является он, и что без него просто ничего не было бы. Его это тешило, а прорывать бумажные стенки имажинизма, за которыми стояла большая футуристическая идея, ему не приходило в голову.

Духовность Есенина не смущала, у него была более «реальная» цель — достижение славы. Вернее, Есенин думал, что слава вещь «реальная», и не подозревал, что дорога славы усеяна западнями не только нравственными, но и метафизическими. Еще в сборнике «Преображение» он предвкушает:

Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Когда слава наконец приходит, Есенин, наивно путая лирическое я с конкретным, не может удержаться, чтобы не сообщить об этом каждому встречному: героине кабацких стихов А. Миклашевской, персиянке Шаганэ, которая вряд ли поняла его, и многим другим, чуть ли не собаке «сукину сыну». Разговаривая с другой собакой, качаловским Джимом, он обращает особое внимание на то, что его хозяин не только «мил», но и «знаменит». Короче говоря, третьей большой проблемы — славы, Есенин также решить не мог.

Проблема славы переплелась у него с проблемой Запада, куда он поехал эту славу утверждать. Запад заметил его только как сенсационного мужа отцветшей знаменитости и быстро перестал им интересоваться. Этого Есенин Западу простить не мог и проклял его. Вернувшись, он заявил: «Объездил всю Европу и Северную Америку. Больше всего доволен тем, что вернулся в Советскую Россию». Есенин явился живым опровержением идей Достоевского о вселенскости русского человека. Это уже четвертая неразрешенная проблема, а неразрешенные духовные проблемы тяжело дают, даже когда этого ясно и не сознаешь.

Заграницей Есенин, очевидно, особенно ясно почувствовал, что ничему не может быть родным. Поэтически он уже давно это понимал:

Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому,

а его герои высказываются еще определеннее:

Плевать мне на всю вселенную,
Если завтра здесь не будет меня.

Теперь понял и в человеческом плане. И здесь мы касаемся пятой неразрешенной проблемы — проблемы человеческих отношений. Эгоизмом тронуты души многих больших художников. Далеко не все наши великие поэты отличались рыцарским отношением к женщине. Не один Лермонтов и Некрасов помучили женщин на своем веку. Но в русской поэзии не найти, пожалуй, такой неспособности что-то разделить с другим, как-то войти в другого, — как у Есенина. Временами в его облике выступает что-то ставрогинское, и автору этой статьи, большому ценителю есенинской музыки, никогда было не понять его привлекательности, как человека. Есенина любили — истерически, сусально, безвкусно, — лю-

^{*)} Впрочем, он и сам теоретизировал. В брошюре «Ключи Марии», значение которой критики очень преувеличивали в свое время, Есенина не узнать. Он ссылается на Данте, Гёте и Шекспира, излагает лингвистические теории, не уступаящие хлебниковским и пускается в мистические рассуждения о том, что «туловище человека не напрасно разделяется на два круга, где верхняя часть от пупа подлежит солнечному влиянию, а нижняя лунному». Там же он мечтает о времени, «где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего дерева, имя которому социализм, или рай» (Может быть, при совсем плохой погоде Есенин все же читал Маркса). Он также хотел организовать новое течение «агтелизм». Возможно здесь ключ к строке «Если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней».

били за его «желтую голову» (мы точно знаем цвет его волос, а когда забываем, он напоминает), за васильковые глаза, за «русскую душу» — Бог знает за что, не любили. Но он не любил никого.

Брак Есенина с Дункан всем известен, как фактической, так и легендарной своей стороной. Обыкновенно повторяют наиболее романтические эпизоды (их первую встречу, гибель Дункан). Редко подчеркивается гротескный, почти сюрреалистический характер самого человеческого сочетания, которое напоминает не то второй акт «Золотого петушка», не то хлебниковскую поэму о шамане и Венере. Как и в последней поэме, Дункан тогда была Венерой увядшей, но еще далеко не «Афродитой гробовой». В ее чувстве к Есенину было увлечение экзотикой, была доля свойственной ей нимфомании, но была и настоящая человеческая любовь. Кроме того, она была первой выдающейся женской личностью в его жизни. Чем он ей отплатил, известно, он ее бил и оскорблял, завидуя ее европейской славе, ее внутренней раскрытости. На манер персонажа из «темного царства» Островского, он заставлял ее танцевать для себя и своих пьяных товарищей («Нам танцуй!»). В своей поэзии он заклеил ее «какой-то женщиной сорока с лишним лет». Малознакомым людям он жаловался на то, что в ней «души нет». Все это выглядит мстью природы более низкой нравственно и духовно.

Замечал ли кто-нибудь, что — как ни странно это звучит — у Есенина в стихах очень мало о любви к женщине. Его любовная тематика в ранних стихах нелична и сюжетна, в поздних она чаще всего символ чего-нибудь иного — невозвратного прошлого, например, известная строка «З первый раз я запел про любовь» примечательно написана уже за два года до смерти, и, если внимательно прочесть весь цикл, становится ясно, что это стихи не о любви, а об ожидании смерти и внутренней пустоте. Вообще, чем прямее поэт говорит о любви, тем меньше ее в стихах. Его «подруги» — марионетки, наперсницы монологов поэта, безличные существа (в этом он немного перекликается с Брюсовым). Когда же рядом с ним в первый раз появилась женщина высокой душевной организации, Есенин не смог в ней разобраться, не мог ее полюбить и не мог ей всего этого простить. «Вечно женственное» не «потянуло ввысь».

Человечности вне любви тоже было мало в его жизни. Достаточно вспомнить поэтессу, согревавшую в холодные годы в Москве постель ему с Мариенгофом, или старичка-музыканта, у которого они украли ключ.

Средь людей я дружбы не имею,
говорит он сам, и мы можем верить, потому что он же говорит:

Я сердцем никогда не лгу.

III

Невероятнейшая чепуха, что искусство
облагораживает душу.

Мариенгоф

Чем объясняется чудовищная популярность Есенина? Ведь Пушкина так не любят. На Пушкина, не открывая лет по двадцать, ссылаются, указывают, но в глубине души так не любят. Есенин писал хорошие и красивые стихи. Но сколько в русской поэзии красивых и хороших стихов и без есенинских. Народность? Но часто ли вспоминают гораздо более народного Кольцова? Какую бы заслугу ни приписать Есенину, в русской поэзии найдется поэт, делавший это так же хорошо, а то и лучше. Правда, Есенин пел тенором, а это всегда привлекает поклонников, но и тенор он не единственный на русском Парнасе.

Объяснение нужно искать не столько в творчестве Есенина, сколько в мемуарах и статьях о нем, многие из которых написаны типичным любителем Есенина, т. е. человеком, который ничего, кроме Есенина, не читал и поэтому считает его вершиной не только русской, но и мировой поэзии («Есенин — самый оригинальный»).

нальный поэт и не только в русском масштабе», «Пожалуй, и в мировой поэзии... никто так не одухотворял природу»).

Такой поклонник пишет о поэте с умилением. Если он встречался с ним лично, то старается нарисовать его как можно «красивее», облагородить до невыносимости. Многие помнят, как один из таких мемуарных отрывков вызвал у покойного Бунина «приступы тошноты». Бунину можно понять: Есенин у мемуариста вышел какой-то мечтой Фомы Опискина. Он «твердит», в то время как жена «ходит по полям и рощам, думая о проникновенных строках, выливающих из-под его пера»; он говорит прислуге: «Груша, сходите за цветами, принесите самых красивых» (это полусмердяковское множественное число поистине «наузеатично», мягко говоря). Другой мемуарист порицает бывшую жену поэта: «У Райх нехватило сил на подвиг прощения, неосуждения и терпения» (также Митрофан жалел мать, что она устала колоты отца).

Если поклонник пишет не о личности, а о творчестве Есенина, то восторгам нет конца. Есенин оказывается монополистом во всех отношениях: он один вводил в поэзию «народную» лексику, он единственный любил родину, он даже единственный во всей поэзии обращался к деревьям, как к живым («Младое, незнакомое племя» не откликнулось Пушкину). В доказательства таланта цитируются наименее удачные строки Есенина; цитаты полны искажений и «исправлений» («Стыдно мне что я в Бога не(!) верил»). Заранее можно сказать, что поклонник процитирует (независимо от темы) «Если скажет рать святая...» и «Отдам всю душу Октябрю и Маю...». С наивностью средневекового романиста, рядившего Александра Македонского в латы Ланселота, первый из этих двух отрывков (из дореволюционного стихотворения) демонстрируют как образец гражданской смелости поэта, поющего родину, несмотря на господство интернационального коммунизма. Второй отрывок повсеместно считается убедительным доказательством сопротивления поэта режиму, хотя строки эти скорее образец смысловой неточности (об этом ниже). Конечно такой критик делает вид, что «Преображения» и «Инонии» не существуют.

Секрет в том, что российский мещанство обрело своего поэта. Русские поэты бились с мещанством не на жизнь, а на смерть. Пушкин называл его «чернью» и пошел из-за него на дуэль. Маяковский называл его «бытом» и пошел из-за него в революцию, а убедившись, что «быт» восторжествовал и в революции, пустил себе пулю в сердце. «Темное царство» этого мещанства во всем его ужасе изобразил Заболоцкий. Есенин не оскорбил мещанина ни одной строчкой. Вот почему его произвели в Иваны-Царевичи русской полуинтеллигенции. В их духе — любимая есенинская рифма «лунность: юность»; они, очевидно, понимают, почему собачонка лает «по-байроновски», они несомненно согласны, что «как ни красив Шираз, он не лучше рязанских раздолей». До сих пор у них поэта не было, или были, но мелкие, в чем-нибудь ущербные. Наконец он появился — «понятный», задушевный, «русский», да еще сверх того по-настоящему талантливый. За это можно простить все и на многое закрыть глаза.

В этом свете понятен «отпор суровый» Бунину за его неуважительные замечания по адресу Есенина. Бунин не был прав во всем, но во многом был очень справедлив. Он упрекнул Есенина за «сердцещипательность», за смысловую неточность. Тон его был высокомерный, но иным тоном Бунин о Есенине и не мог говорить. Нужно было посмотреть, каким «единым фронтом» змансипированные души из числа есенинских поклонников набросились на последнего русского классика. Клич был — «наших быт». Бунину напомнили, что он «несозвучен» и что в свое время он мог не пускать мужика Есенина на порог своей усадьбы, но теперь другое дело.

Не нужно говорить о том, что подлинный Есенин сложнее иконописного образа, утвержденного его «широким потребителем», а если «Есенина распевают весь народ», то распевают он «Ты меня не любишь, не жалеешь» и «Письмо матери», т. е. наиболее безглубинные из есенинских стихов. По той же причине тот же «народ» распекает Лебедева-Кумача, но не распекает пушкинское «Заклина-

ние». Более глубокие или интересные пласты творчества Есенина, как правило, остаются вне поля зрения его поклонников. Но творчество, кажется, и не играет тут решающей роли. Гораздо важнее та часть творчества и жизни, которая подтверждает легенду.

Популярные поэтические легенды чаще всего бывают двух родов. Первый можно условно назвать «идеальным». Поэт здесь берется за пример, устанавливается как образец подражания. Любимые шаблоны «идеальной» легенды: «Нужно писать как классики», «У Пушкина это выходило», «Вот Лермонтова я понимаю» и т. д. В случае с Есениным мы имеем иной вид легенды, смысл которой — оправдание себя.

Мы часто не замечаем, что поэтический облик (я говорю о подлинных поэтах) переменялся за последние десятилетия. Уже лет тридцать, как поэт выглядит и ведет себя иначе, чем это закреплено в «классическом» шаблоне. Положительные черты этого облика еще трудно назвать, но есть одна вещь, которая отсутствует во всех вариантах этого нового типа: элемент божества. Еще недавно божество была неотъемлемым атрибутом людей искусства. Теперь она сбрасывается, как сношенное платье. И как всегда, художественная «чернь» это платье подбирает. Как раз когда искусство задумывается над новым классицизмом, «чернь» с увлечением начинает усваивать наиболее измывавшие формы романтики. Божество кажется синонимом поэтичности многим из тех, кому закрыт доступ в пределы подлинного искусства.

Есенин закрепил в божестве наиболее модное направление — говоря советским жаргоном, — «бытового разложения». В этом смысле Есенин (а не Маяковский) до сих пор определяет тип советского поэта и писателя. «Настоящее художественное творчество начинается тогда, когда художник приступает к битью стекол» (из воспоминаний о Есенине). Когда литератор бьет стекла в буфете Дома Писателя, эмигрантская пресса принимает это за протест против советской власти. Но не учитывается одна важная подробность, о которой сообщает в своем «Романе без вранья» А. Мариенгоф: когда Есенин бил стекла в поезде, он бил их не голой рукой, а обернутой в пальто. Рука, обернутая в пальто, — символ есенинской бытовой традиции. Без символов можно назвать безнаказанным хулиганством.

Все это не имеет отношения к литературе, но останавливаться на нем приходится, потому что оно часто принимается и сходит за литературу. Начинает стираться в памяти прежний тип русского поэта — человека большой культуры, подлинной смелости и чувствительной совести. Следует прибавить: и настоящего патриотизма. «Русскость есенинского типа, модная и за рубежом, не есть любовь к родине, а скорее — неумение оценить что-либо, кроме родного и знакомого.

Есенин писал друзьям из путешествия: «Европа — мразь. Чикаго — ерунда, Венеция — архитектура ничего себе, только воняет». Его окончательный приговор Западу — «духовная нищета», и добавляется: «Пускай мы нищие, зато у нас есть душа». А благоговейный мемуарист сообщает: «Он был исключительно русским и на мое замечание, почему он не занимается английским, отвечал, что боится испортить и забыть русский». Для легенды «оправдывающей» лучше материала не найти.

Вместе с тем, как будто Есенин досконально изучил Шпенглера, проводится четкая грань между «культурой» и «цивилизацией», и «материальные блага» вовсе не отвергаются. В Россию везутся «американские шкафы-чемоданы с полками, ящичками и вешалками» (Шершеневич). Деньги и вещи Дункан, у которой «нет души», понемногу перекочевывают в вышеупомянутые чемоданы. Рука хорошо обернута в пальто. Русскую душу можно продемонстрировать эффектно, а главное — безопасно. Неужели «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дорожее мне»?

Кроме безнаказанного хулиганства, неуважения к женщине, алкоголизма, «русской души» и домашних черт Фомы Опискина («он творит»), в есенинской бытовой традиции есть еще отсутствие коллегальности, дальнейший отход современной поэзии от пушкинских идеалов дружбы и замена их не то товарищест-

вом, не то собутыльничеством. Издевательство Есенина и Мариенгофа над Хлебниковым в Харькове может служить хорошим примером. Хлебников был беззащитен, и проделка опять прошла безнаказанно. С Сологубом, от которого Есенин чего-то ожидал, он был совсем иным.

Винить Есенина во всем было бы нелепо. Он прошел трудный путь поэта. Многое можно простить за стихи, за конечную расплату, многое можно даже постараться не заметить. Но упрекнуть его стоит в том, что он открыл дверь в литературу людям, которым в ней не место, и которые в есенинской легенде нашли простор для своего ширпотребного гениальничанья. Есенин — хороший поэт, но не настолько, чтобы ему простить есенинщину, эту язву литературного быта и хорошего вкуса.

В свое время Жуковский обронил фразу: «Талант ничего, главное: величие нравственное». Ирония в том, что поэзия «чувства», пожалуй, с Жуковского началась в русской литературе и на Есенине закончилась.

IV

(Ты) ... писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка ... неправильный до безвкусицы.

Из письма Плетнева к Гоголю

Могут возразить, что до сих пор говорилось о вещах, связанных с «народной» легендой о Есенине и с восприятием его творчества на одной из первых читательских ступеней. И в самом деле, было бы нелепо возражать «эссеистам», которые в одной фразе умудряются сказать, что «Есенин — отрок-пастух со свирелью... (который) скрывает мечту кого-нибудь зарезать под осенний свист» или с зощенковской краткостью заявляют: «Творчество Есенина неразрывно связано с его происхождением».

Но преувеличение ценности есенинского творчества наблюдается и в «верхах» слоев литературных ценителей. Вскоре после смерти поэта одна из его поклонниц писала:

Жил вчера, а сегодня умер
самый лучший в России поэт.

К подобной формуле, к сожалению, приближаются видные критики зарубежья. Намечается почти культ Есенина. П. Вицилли называет Есенина «гениальнейшим русским поэтом последней поры» и «безусловно крупнейшим поэтом этой поры». Г. Иванов пишет, что «имя его начинает сиять для России наших дней пушкински-просветленно, пушкински-незаменимо». Р. Гуль говорит о «гребне пушкинской волны» в лиризме Есенина. Несомненно, мы имеем здесь дело с преувеличением и некоторой потерей критериев. До сих пор в великие поэты в России попадали люди большой культуры, широкого охвата жизни и литературы, двигавшие русскую поэзию. Особенно кощунственно-неумеренно в этом контексте звучит имя Пушкина. (Не говоря уже о том, что литературно-исторически Есенин — плод лермонтовской линии). Повидимому основываются на высказывании самого Есенина в его автобиографии 1925 г. («В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину»). Есенин также оставил стихотворение «Пушкину», — далеко не блестящее, пресное, немного завистливое (рядом с ним «Юбилейное» Маяковского выглядит нахально, но добродушно и остро). Можно найти несколько разрозненных текстуальных приближений к Пушкину, но у кого их нет. Вот отрывок:

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.
И продал власть аристократ

Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

Хотя в предпоследней строке речь идет о Ленине, но пушкинское «влияние» очевидно. С тем же успехом во второй строке можно открыть «певца пиров» Боратынского. Но вернее всего это напоминает тогда еще не появившегося в поэзии Заболоцкого с его протесковыми пародическими вкраплениями.

Рука об руку с преувеличением идет почти полное отсутствие критического подхода к Есенину. О его художественных недостатках не принято даже заикаться. Таким образом отношение к его творчеству вырождается в пошловатую умиленность.

Может быть самый большой недостаток Есенина, свойственный всем поэтам с перевесом «души» над духом, это постоянная близость к пошлости. Под «душой» в данном случае понимается не *anima* и не «психея»; как это ни странно звучит, мы говорим здесь о материальной «душе», которая есть не что иное, как интенсивные флюиды телесности. В своем эстетическом «воплощении» эта «душа» всегда с трудом проскальзывает между Сциллой банальности и Харибдой натурализма. Вот примеры изображения поцелуя в русской поэзии:

Боратынский:

И в шуме дня и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье

Пушкин:

Порывом пылких ласк и язвою лобзаний...

Есенин:

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.

У Боратынского поцелуй почти мраморный. Пушкин передает всю горячую страстность (запыхающееся «п» и сверлящее «з»), но делает это на эстетическом уровне — звуками; саму же точность описания он мгновенно возвышает ненавязчивым образом («язва») и легким поэтическим клише («лобзання»). После этого есенинские строки с их натурализмом звучат не только «непоэтично», но и неэстетично.

В плохих стихах потенциальная пошлость уже выходит наружу и творит строки вроде:

Как жену чужую, обнимал березку.

Настоящей поэтической смелости у Есенина мало. Даже знаменитое «на розовом коне» оказывается давним гостем в нашей поэзии: «когда сей день блаженный на розовых конях в сиянии принесет» (Ватюшков), «на сребро-розовых конях» (Державин).

Редко отмечают один из самых больших недочетов Есенина — неряшливость стиля. Речь идет, конечно, не о провинциализмах с определенной художественной функцией, а о ляпсусах. Частое «свеситься» с творительным падежом (вместо «повесить» с винительным) еще можно принять как черту индивидуального почерка. Но кого из читателей не раздражал у Есенина порядок слов, искажающий смысл («И песни нежные лишь только пела мне»). Кстати, упомянутое «лишь только» Есенин употребляет в большом количестве, но не в качестве приемлемого союза («Лишь только ночь своим покровом...»), а как наречие («Сади целовал лишь только в грудь»). Стихи пестрят неверными управлениями, формами слов и ударениями («рассказать тебе поле», «берите всё в рабочие руки», «звонят кресты безымянных могил», «к родине отвык» и т. п.) Неправильности почти всегда случайны, непреднамеренны, а потому и нежелательны. Пожалуй, трудно даже назвать так или иначе неиспорченное стихотворение.

Конечно, Есенин был мастером, но в то время мастерство уже было неотъем-

лемым качеством любого поэта. Серебряный век поднял технический уровень русской поэзии очень высоко. Есенин, особенно в период имажинизма, прилежно изучал поэтическую технику, даже писал акrostихи; и от него можно требовать большей отделанности стиля. О стихах «Москвы кабацкой» он сам говорит своей героине Анне Снегиной: «отделано четко и строго», и среди них встречаются безупречные во всех отношениях («Не жалею, не зову, не плачу»). Тут кстати упомянуть, что его «персидские» стихи, которыми принято восхищаться, довольно грубы и неинтересно сделаны: здесь как раз не хватило мастерства. Не хватило и проникновения. Стоит сравнить их с другой «персидской» поэмой — «Трубой Гуль-муллы» Хлебникова, чтобы сразу увидеть, где в русской поэзии Персия получила свое подлинное художественное воплощение.

Рифмы Есенина часто неуклюжи и немзыкальны. Иногда они просто не подходят к стихам: он любит цегольнуть неудачной «модернистической» рифмой там, где нужна простая.

Следующую особенность есенинских стихов было бы неверно называть недостатком. Имеется ввиду частая смысловая неточность его строк при сохранении эмоциональной действительности.*) Эта неточность часто открывается как раз в самых известных, «цитатных» строках, напр., в «Отдам всю душу Октябрю и Маю, но только лиры милой не отдам». Здесь «лира» и «душа» очень опасно разделены и противопоставлены. Да и скорее надо наоборот: Есенин именно «лирой» не раз пробовал принимать «Октябрь», а «душой» не мог, хоотя и хотел. Другая популярная и очень эффектная строфа «Если крикнет рать святая» приделана к стихотворению и наивна. Вместо «дайте родину мою» надо бы «оставьте»: ведь никто еще не отнял родину, «рать святая» только предлагает ему покинуть ее. В другой знаменитой строфе — «Чтоб за все грехи мои тяжкие» предлог «за» не годится; нужно «несмотря на». В уже цитированном нами стихотворении за словами «какого ж я рожна» следует «Моя поэзия здесь больше не нужна». Почему «больше»? Как будто деревня до этого читала изысканные «интеллигентские» стихи «Радуничы» и «Голубени».

Смысловая неточность не есть есенинский грех. Это давний спор о справедливости пометок Пушкина на полях книжки Батюшкова. Лермонтовская линия развития поэзии неразрывно связана со смысловой неточностью. В ней эффектные «сплавы» (Эйхенбаум) заменили пушкинскую словесную точность. Редко замечают, (что последняя и самая лучшая строка) лермонтовского «Паруса» не поддается семантическому анализу. Любые оправдания будут натяжкой. «Буря» и «покой» продолжают в русском языке быть антонимами. Нельзя же сказать: «А он, мятежный, ищет черного, как будто в черном есть белое» Тем не менее, именно эта последняя строка «делает» все стихотворение. Какая магия сидит в этом «как будто», пусть объясняют сторонники «простоты и ясности» во что бы то ни стало.

Есенин обладал хорошим чувством цвета. Он чувствовал неплохо и звук отдельного слова. Но его ритм монотонен и примитивен. Это уловил Маяковский, когда грубовато, но верно сказал о нем: «Раз послушаешь, да это ведь из хора, балалаечник». Музыка его стиха однообразна. Неслучайно так редки в его стихах enjambements. Поэтому Есенину не удавались «длинные» жанры, которые можно «поднять» только на ритмическом разнообразии. После прочтения книжки его стихов кажется, что все они написаны одним размером, и иногда трудно вспомнить, из какого именно стихотворения застрявшая в памяти строка. Все одинаковы и все об одном. «Содержание» тоже однообразно. Даже для любимой трехрядки у поэта не хватало звуков. Сравнение с балалайкой остается самым верным. Обычно крупный поэт от стиха к стиху ставит новую задачу. Здесь, может быть, наиболее показательен Пушкин. У Есенина нет этого постоянного изменения задачи. У его балалайки, как и полагается, три струны.

*) Мы не будем говорить о курьезных анахронизмах в «Путачеве» вроде «домохозяйки» или «сегодня в половине четвертого».

Первая — Русь. «Чувство родины — основное в моем творчестве» с некоторым основанием писал сам Есенин. Он рифмует Русь почти всегда с «грусть», два раза с «тнусь». Настоящую, без орнамента, Россию он увидел творчески довольно поздно, уже незадолго до смерти (в стих. «Этой грусти теперь не рассыпать»), но к идеализированной Руси прибегал всю жизнь. Это было его единственным верным прибежищем; иного он не понимал.

Его «русские» стихи чаще всего (и с гордостью) вспоминает читатель, но в целом они менее совершенны, чем песни второй струны его балалайки, имя которой — кабак. Это древняя тема. Она совершенно по-есенински звучала уже в XIII веке в песнях средневековых вагантов:

Mihi est propositum
In taberna mori.

У Есенина кабацкая тема подчас сливается с русской, и сам поэт в эпитафии себе говорит:

Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

В момент пьяного кошмара он уже не может различить их:

В поле, что ли, в кабаке? — ничего не видно.

Есенин любит «объяснять», почему он пьет и почему он в кабаке, но если сопоставить все цитаты, то «эта прямая дорога», которая «привела в кабак» окажется совсем не «прямой» и каждый раз иной*).

Противоречивы и «объяснения» скандалов. Тема хулиганства тоже часто сливается с кабацкой, а иногда и с русской (в ней — прочная русская традиция поножовщины деревенских престольных праздников), но её можно рассматривать и отдельно. Это третья струна есенинской балалайки. Она начинает звучать очень рано, уже в «Голубени» («кого-нибудь зарежу»), усиливается в имажинистских стихах и часто до невыносимости форсируется. Так же как Есенин ошибался в том, что его волновало наступление «железной» Руси, ошибался он и в своём хулиганстве. Внутренне он не резок, не силен, а скорее нежен («Я попрежнему такой-же нежный»). Каждый раз, когда он хочет быть «грубым», балалайка фальшивит. Нет в нём «дерзкой силы», которая будто бы «пролилась» на его поэмы. Его гиперболы — детские, особенно если сравнивать с Маяковским, у которого были и сила и размах. Богоборствующий Маяковский кричит: «Раскрою отсюда до Аляски», а у богоборствующего Есенина получается только жалкое «Богу выщиплю бороду». Когда Есенин кричит в стихах, он кричит общим смыслом, в лучшем случае — словом, что, как известно, в поэзии не рекомендуется. В стихах можно кричать только ритмом. В «грубых» стихах Есенина ритм или банален («Тучи с ожереба») или меланхоличен («Всё живое особой метой»). Интересно, что когда известный художественный чтец Антон Шварц читал последнее стихотворение с эстрады**), он кричал его истощенным голосом от начала до конца. Иначе впечатления силы нельзя было создать: ритм не помогал. Не помогал и образ «хохочущего сброда», придуманный для пущего эффекта (над Есениным не хохотали, а скорее плакали, и он это знал). Некоторой ритмической силы он достигает в стихах вроде «Съль, гармоника» — путем чередования строк разной длины. Но это у Есенина редкий пример.

*) Он мучительно хотел в этом разобраться и (не то себя, не то других) убедить в причинах. Сколько в его стихах «поэтому», «вот почему», «знать», «оттого» и «оттого-то».

**) К сведению распространяющих легенду о «запрещенном» Есенине: его стихи публично читали художественные чтецы — и со сцены, и по радио. Я лично слышал лучшего чтеца СССР В. Яхонтова в двухчасовой программе, посвященной одному Есенину, в 1940 году в зале Ленинградской Филармонии. Он исполнял даже «Черного человека».

V

И это всё есть смерть.

Тютчев.

Задав несколько недоуменных вопросов общепринятой есенинской легенде и прибавив к восторгам по поводу его творчества необходимую долю критicismа, естественно подходишь к формулированию положительной оценки. Нужна ли она? В общих чертах она уже сформулирована, и в основных положениях сходятся даже советские критики и Ходасевич: идея крестьянской Руси, мечта о мужицком рае, неизбежное разочарование, когда мечта оказалась неосуществленной и неосуществимой — и гибель. Эта схема внешне убедительна. Её можно доказать высказываниями самого поэта и его единомышленников, цитатами из стихов и биографическими фактами. Не все знают, до какого абсурда можно дойти, если не учитывать внутреннего плана (к счастью, тоже цитатно доказуемого).

В каждом значительном творчестве есть внешний план и более подлинный, хотя менее заметный, внутренний. Первый есть чаще всего подобие окружающей действительности; второй идет из глубины личности и связан с творческим вымыслом. Средний читатель воспринимает только первый план, критик обязан нащупать второй. В классической литературе оба плана часто сливались и переплетались; поэтому по инерции просмотрели явный перевес второго плана у Гоголя. У Гончарова минимум второго плана. У Мордовцева его нет совсем. У Мандельштама иногда отсутствует первый план.

Попробуем пробежаться сначала по поверхности есенинского творчества и окинуть его взглядом с птичьего полета.

Первый период во многом подражателен, но, так как все строится на знакомом материале (деревенская «Русь»), некая печальная легкость, свойственная только Есенину, окрашивает стихи, в которых, несмотря на засилье орнамента, есть много очарования. Чужие отголоски улавливаются даже невооруженным глазом. Собственно говоря, знакомая всем мелодия Есенина была дана уже в третьей строфе лермонтовского «Выхожу один я на дорогу». Лермонтов сопровождал Есенина почти до смерти; в поздних стихах есть очень заметная переключка с ним: «Не шуми, осина, не пыли дорога... пусть она поплачет, ей чужая юность ничего не значит». В раннем Есенине звучат также А. Толстой («Край ты мой забытый, край ты мой родной», «Гей ты, Русь, моя родная») и Тютчев (Шёл Господь пытать людей в любви). Конечно, слышится Клюев («Сокройся, сплнь ты, племя смердящих снов и дум»), а иногда и Городецкий («Серебристая дорога, ты зовешь меня куда? Свечкой чистотетверговой над тобой горит звезда»). Больше всего в раннем Есенине Блока. Кто-то сказал, что Блок писал о тех же России и водке, но лучше. Действительно, «Выхожу я в путь, открытый взорам» (1907) и «Я пригвожден к трактирной стойке» почти исчерпывают две главные есенинские темы *avant la lettre* Блоковские мотивы звучат у Есенина и в ранних стихах («Радуют тайные вести, светятся в душу мою, думаю я о невесте...», «Опять раскинулся узорно») и в поздних. За несколько дней до смерти мы слышим в его строках блоковские «шаги командора» («Принимай же вызов, Дон Жуан»).

С революцией начинается второй период, и Есенин начинает петь не своим голосом. «Высокая» критика почему-то приняла всерьез «космического» Есенина, хотя произведения этого периода неудачны почти без исключений. Странно, что даже Ходасевич нашел в крикливой «Инонии» «соблазнительные красоты».

Третий — трагический, предсмертный — период начинается с агонии «Москвы кабацкой». Это новый, самый сильный и последний взлет есенинской музыки. Он кончается спадом (не абсолютным) незадолго до смерти. Мечта жизни — большая поэтическая слава — достигнута, и сразу летит прочь весь орнамент. Стихи «Руси Советской» голы, как проза. Ему уже «наплевать... на известность». Он «понял, что такое слава». Вернее — достиг славы, и видит, что не в славе суть, а в чем-то другом (неизвестно, в чем). Несвойственный Есенину юмор появляется вдруг (юмор висельника) в строках о «Капитале», в описаниях «новой» дерев-

ни. Пишутся бесчисленные письма (деду, матери, сестре), непоэтические, неинтересные. К концу стих становится алкоголически-неряшливым, от него идет удушливый запах сивухи, «дважды два четыре» смерти совсем близкой, и незадолго до этого последний шедевр — «Черный человек».

Таков путь есенинского творчества. Из этой внешней канвы можно делать разные заключения. Общепринят вывод об «Инонии» и разочаровании. Мы уже позволили себе усомниться в подлинности, а особенно в «примарности» темы крушения крестьянской Руси. Что же тогда является главным у Есенина, что погубило его, как человека и что сделало его поэтом?

Есенин сам рассказывает, как в 1916 г. его и поэта Кусикова в костюмах стрельцов представляли императрице в Царском Селе. Он читал свои стихи. «Она после прочтения моих стихов сказала, что мои стихи красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова Россия. Ссылался на бедность, климат и пр.» Императрица прекрасно уловила характер стихов Есенина. Сам же он в своих объяснениях был неправ (как всегда). Дело вовсе не в климате. Дело в том, что основным и постоянным подводным течением поэзии Есенина, дающим окраску всему его творчеству, является тема смерти.

Эта тема не мучила его своей метафизикой, она просто сидела в нём, вопреки всем его идеям, стремлениям и привычкам. Смерть жила в нём, хотел он этого или нет, как у старого камергера в «Записках Мальте Лауридс Бритте» Рильке («Было сразу видно, что он носил в себе смерть»... «Это не был голос Кристофа Детлева, это был голос смерти Кристофа Детлева»). Голос смерти звучит от первого сборника до последней поэмы, и искать у Есенина скифского космизма, имажинизма, цыганщины, Руси, антибольшевизма, деревни — значит искать несущественного или несуществующего.

Смерть появляется в самых ранних, еще журнальных, стихах Есенина:

Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых красные цветы...

Побледнела, словно саван...

В первом сборнике стихов «Радуница» этот голос явственно слышен. Иногда это в сюжете

Мимо окон тебя пронесли хоронить...
И под плач панихид...

иногда в образе

Ткет ей саван нежнопенная волна

в песне ямщика

Я умру на тюремной постели,
Похоронят меня кое-как

но уже проникает в природу

Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют

а иногда звучит совсем лично, как у зрелого Есенина

Похороним вместе молодость мою

Само название «Радуница» связано с поминовением умерших.

Во втором сборнике «Голубень» тема продолжает звучать:

поминальные кресты...

Иногда смерть уже заполняет собой метафору

Смерть в потемках точит бритву.

Даже слово «дроги», употребляющееся Есениным в дополнительном значении «телега», окрашивается первым значением «похоронных дрог». Позже это будет у Есенина еще сильнее

Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

В сборнике «Преображение» тема смерти исчезает совершенно — и это самая натянутая, самая неесенинская книга. Но в «Треряднице» смерть снова вступает в свои права. Здесь появляется мотив самоубийства («на рукаве своём повешусь») усиливаются настроения близкой смерти

Будет ветер сосать их раны,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час...

Под лай собачий похоронят...

Скоро мне без листвы холодеть
(из «оссиановского» «По-осеннему кичет сова»).

В «Песне о хлебе», русском эквиваленте «Джона Ячменное Зерно» Роберта Бернса, весь сбор урожая рисуется похоронными красками. Сноп — «желтые трупы», телеги — «катафалки», овин — «могильный склеп», возница «чит погребальный чин».

Мы еще не дошли до сплошного похоронного марша поздних стихов, а смерть уже окрашивает всю поэзию Есенина. Началось это задолго до революции. Законен вопрос, да было ли пресловутое «разочарование» таким решающим для жизни и творчества Есенина. Смерть сидела в нём с самого начала, и она-то и делала его поэтом своими неисповедимыми путями. Как только поэт уходит в «космическое», в имажинизм — и тема смерти исчезает или ослабевает, Есенин почти теряет талант, во время, становится деланным — это примечательно. «Кобылы корабли» — неожиданный шедевр неудачного периода именно потому, что связан с родной Есенину темой смерти.

Есенин родился с червоточинкой. Не Русь, а смерть сделала из него поэта. Теория о «разочаровании» — типичный материализм в критике, вывод прямо из жизненного факта, без попытки копнуть вглубь; и большая ирония в том, что за рубежом эту материалистическую теорию закрепил не кто иной, как Ходасевич («Некрополь»). Гибель Руси в последних стихах Есенина тоже можно рассматривать, как обычную в лирике объективизацию личного, перевод своего на внешнее, население мира собой. В творчестве других поэтов подобный подход также ведет к большому успеху интерпретации. У Некрасова нельзя исходить из «страданий народных», потому что некрасовская «окружающая действительность» есть только проекция его большой души (К. Чуковский). Если в творчестве Маяковского не замечать темы самоубийства, тоже начинающую звучать в самых ранних вещах, не уйдешь от примитивно-политической оценки (об этой теме писал Р. Якобсон).

Здесь хочется остановиться и обратить внимание на одну любопытную вещь. Имя Есенина незаслуженно и неоправданно произносят рядом с пушкинским, тогда как другая параллель и естественнее и интереснее: с Гоголем. Есть свидетельство, что Есенин «самым лучшим автором считал Гоголя, с которым находил у себя какие-то родственные черты» (Ив. Розанов). С первого взгляда и личный и творческий аспект этих двух поэтов показывают мало сходства. Случайные «гоголевские» строки («Эх, вы сани, а кони, кони, видно, чорт

вас на землю принес») еще ничто не доказывают. Но есть более глубокое сходство. Уже само утверждение, что к Пушкину его «тянет» (тянет часто к противоположному), а Гоголю «родствен», говорит о более органической связи в последнем случае. В мечте провинциала о всемирном влиянии, в дьявольском стремлении к славе, в зачатках мании величия у Есенина проступают гоголевские черты. Оба они безлюбье, оба не разбирались в женской душе. Особенно сходны трагическая борьба в душе у каждого между непонятым сидящим внутри и сознательными устремлениями. У обоих в душе к концу жизни воцаряется непреодолимый адский холод.

В голове болотный бродит омут,
А на сердце изморозь и мгла.

Есенинское путешествие в Европу и гоголевское паломничество в Святую Землю тождественны. В обоих случаях была последняя попытка обрести внутренний свет, и в обоих случаях этим только была приближена гибель.

В самой образности сколько общего:

Луну наверное собаки съели...
Вот эту луну, как керосиновую лампу в час вечерний,
Зажигает фонарик из города Тамбова.

Отсюда — один шаг до гамбургского бочара, «прескверно» делающего луну в бреде Поприщина.

Пробовал ли кто-нибудь считать у Есенина скелеты и мертвецов? Их больше, чем у Гоголя. Мы уже встречали их в ранней лирике. Кладбище появляется снова в «Кобыльях кораблях»:

черепов златохвойный сад...
зареву трупов...

и продолжается в «Исповеди хулигана»:

Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост.

В «Пугачеве» шествует какой-то некрофилический парад (6-я сцена полна гоголевскими образами: там и «от этакой чертовщины хуже бабы дрожит казак» даже выражение «страшная месья»). Всю ткань поэмы пропитывают «зловещие скелеты», вербы, как «скелеты тощих журавлей», «кладбищенский план», «гроб смердящий», «зари желтый гроб», облака, «как могильные плиты», «скелет», «носящий «теплое мясо», «желтые полчища пляшущих скелетов», «мертвые головы», «погосты», «тело с гробами надежд, как кладбище»:

Кругом мертвецы, вон они хохочут,
Выплывывая сгнившие зубы.

Эти образы идут и через «Москву кабацкую»: «скелеты домов», «как кладбище усеян сад», «я душой стал как желтый скелет», «месяц на простом погосте на крестах лучами метит». Всё здесь «чадит мертвячиной», и у самого поэта «в легком теле тихий свет и покой мертвеца». Даже многовостановленная Русь теперь не «хаты, в ризах образа», а «кладбища и хаты».

Цитат, пожалуй, более, чем достаточно, хотя их можно привести вдвое больше. Тема продолжает идти по более поздним стихам, и даже в «Персидских мотивах» можно встретить мертвых. Таким образом, упоминание имени Гоголя в связи с Есениным имеет больше оснований, чем сравнение с Пушкиным.

Мы подошли к последнему периоду, где поэт уже «увядая золотом охваченный». Сначала льется вино и растет внутренний холод (Есенин уже греется от месяца). Наконец, повидимому, на Западе, Есенин ощутил смерть уже непо-

средственно, увидел её во всей черной пустоте. Друзей нет, любить женщин он не может и не умеет, Запад чужой, СССР не менее чужой, и даже воспоминания прошлого не утешают, потому что дореволюционной России он тоже не принимает. Слава не уничтожила одиночества. Тема смерти переплетается с темой одиночества, невозвратного прошлого и гибели. Растет кошмар, «сонные сиделки (гоголевские уродцы) хрипят», вино всё еще льётся, «на душе холодное кипенье». Есенин начинает писать о себе в прошедшем времени. Мелькают разрозненные картины родной деревни, плохие строчки чередуются с замечательными, зачем-то возникает Персия, где «персиянка» рифмуется с «тальянкой». Уже цветы прощаются с ним. Начинает веять «сволочь-выюга», в которой «тысяча гнусавейших дьячков» отпевают его. Он видит «себя усопшего в трубу», «в ушах могильный стук лопат». Есенин начинает лихорадить. Он кричит: «Жить нужно легче, жить нужно проще», вдруг заговаривает о любви к людям, ко всем сразу, скопом — но эта любовь всегда почему-то возникает, когда он думает о смерти. Тут же он противоречит себе: «Я презренъ к тебе не таю» («Презренье, я всегда отмечен был тобой»). Теперь Есенин неестественно акцентирует любовь к жизни. Это похоже на Маяковского, который, как раз когда убедился, что всё плохо, закричал «хорошо!». И Есенин кричит: «Я с собой не покончу, иди к чертям», «Не умру я, мой друг никогда» — но как не покончить, когда подошел к самой черной дыре в русской поэзии:

Наша жизнь — простыня да кровать,
Наша жизнь — поцелуй да в омут

и когда «горькая правда земли» представилась «сукой» и «кобелями».

Но именно в такие моменты «с жизнью мы удерживаем связь», и Есенин теперь особенно внимательно замечает конкретные детали живого мира, так часто и так некстати употребляет эпитет «чувственный». В животных нет смерти (Рильке «Ihn sehen wir allein»), и Есенин особенно тянет к зверям.

Мы приблизились к проблеме «реализма» Есенина. Он не напрасно называл себя реалистом. Это, может быть, его главное отличие от Гоголя-фантаста. Он реалист не только в наивном плане, когда его конкретное я заходит в лирическое (подчеркивание своей известности, отчеты о скандалах, называние себя по имени в стихах*). Он реалист не только в том, что берет образы для символического «Сорокоуста» и сюрреалистических «Кобыльях кораблей» из жизни, а не из воображения (как сообщают мемуары). Его реализм в том, что видит он только этот, конкретный, ощущаемый пятью чувствами мир и не чувствует потребности в ином:

Холодят мне душу эти выси,
Нет тепла от звездного огня...
Не хочу я лететь в зенит...

(странный переключек с первыми строками стих. Маяковского «На смерть Есенина»; понимал ли Маяковский, каким смыслом наполняются его строки после этого).

Но своего реализма Есенин долгое время не замечал, отвлекаемый то клюевскими узорами на полотенцах, то эсеровской символикой. Лишь незадолго до смерти он увидел, что он голый перед лицом смерти.

В какой-то степени каждый поэт начинает с «романтики» и кончает «реализмом», отрешением. И интересно, что, ощутив этот «реализм», он часто идет на смерть. Этот процесс глубже, чем пресловутые «разочарования», и разнообразнее, чем это кажется авторам «обыкновенных историй». Это внезапное понимание, что в этом мире жить нельзя, что он недостаточен, что он неодухотворен. Этого «отрезвления» не залить конкретным, есенинским пьянством. Такова — по разному — история Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского — и Есенина.

* То же самое у Маяковского несет совершенно иную функцию; это уже об-раз.

Реализм — «в совершенной пустоте, в абсолютной черноте». В нём неизбежно заводится чертовщина, как плесень в сырости и темноте. Для недуховного человека вышний и конечный реализм — смерть. Есенин в этом честнее других, он всё доводит до конца. «Прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть».

Когда смерть осмысливается метафизически, религиозно, мистически — как угодно — это выход хотя бы трагический. Но Есенин не имел доступа в мир идей. Единственная «идея» его жизни была некоторое время искусственная и непоэтическая головная мечта о сытой деревне, о *Schlaraffenland*. Внутри же, без его ведома сперва и без спроса, точила смерть, которую он не мог ни победить, ни проанализировать интеллектом, ни преобразить, переведя в духовный план, ни даже осознать ясно. Он мог только рисовать её, выпуская время от времени в свои строки. Это самый жестокий конфликт, когда причины не можешь даже осознать. Тогда начинают расти грибки — «черные человеки». «Реальное» я не имеет иного выхода, кроме своего раздвоения или расщепления на два и больше опять-таки «реальных» я. Так появляется двойник, «черный человек», — не дух, не существо из иного мира, а конкретное посюстороннее.

Любой последовательный недуховный реализм ведет к дырке, кончает «черным человеком». Реализм есть смерть. Таким образом, «Черный человек» это одновременно и высшая точка творчества Есенина, достигнутая дорогой ценой, и его крайнее духовное падение. В какой-то степени в нём намечается нравственный суд над собой, но еще очень слабо.

Интересно сравнить эту вершину есенинского реализма с другой поздней поэмой, «Анной Снегиной», которую, несмотря на её популярность, можно отнести к самым незначительным произведениям Есенина. Это нетрагический, неконфликтный, традиционный реализм, каким кишит третьестепенная литература. Она легко читается, и только. Из-за любви, что там описывается, не стоило писать такую большую поэму (разве только, чтобы показать читателю, что «любили и нас» — и даже помещицы*). Впрочем, в поэме есть два неплохих «некрасовских» описания природы.

Приходом Есенина в конце жизни к своему подлинному стилю — реализму (как в его традиционной, так и в его углубленной форме) можно было бы кончить, если б не было предсмертного стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья». Его невольно пропускаешь, даже обрываешь со счетов как неудачное. Может быть, виной тому безвкусная, почти «оперная», хотя и ужасная, смерть поэта: вскрытые вены, кровь в этрусской вазе, последние стихи кровью, завещание (сердце — Райх, кровь — Дункан, мозг — С. Толстой). Поневоле подступает бунинское «чувство тошноты».

Но в стихотворении есть строчки

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди

которые посреди поздней «реалистической» фантазмагии кажутся сперва неестественными в своем утверждении неизбежной иной жизни после смерти.

На самом деле это не случайность. Задатки духовности и веры у Есенина были, они только не получили необходимого развития. В поисках таких «просветов» находишь неожиданно один уже в «Радунице». Строка буквально сры-

* У этой помещицы в словаре есть выражения «вообще» и «может». Поэма также содержит один из самых глупых пассажей у Есенина:

Скажи,
Кто такое Ленин?
Я тихо ответил:
«Он — вы».

Поэт говорит это мужикам до октябрьской революции.

вается с языка у поэта:

Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть.

В «Голубени», уже не так ясно, тот же мотив

Глаза, увидевшие землю,
В иную землю влюблены

и невятное, но многозначительное упоминание о «нездешнем перелеске». Там же возникает важный мотив «странника»:

Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля

(Потом будет «В этом мире я только прохожий», «Ведь каждый в мире странник» и др.)

В «Треряднице» опять обмолвка

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилища

Наконец позже, опять неожиданно, посреди приветствий неизбежной «черной гибели», когда чуть не в каждом стихотворении «в рукопашной мертвецы застыли с распростертыми руками», он хочет

Мечтать о другом, о новом,
непонятном земле и траве,
что не выразить сердцу словом...

Мысль эта саму смерть окрашивает в просветленные тона:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвести и умереть...
Эту жизнь за всё благодарю...
Гробовую дрожь приемлю...

Теме «иной жизни» посвящено, может быть, самое лучшее и уж наверное самое глубокое стихотворение Есенина «Мы теперь уходим понемногу». Пусть его направленность, как и в других цитированных отрывках, земная; пусть иной мир подается негативно, только отрицанием этого

Знаю я, что не цветут там чащи и т. д.,

пусть общий характер этих строк скорее античный, чем христианский; но это подлинный проблеск той реальности, с которой Есенину так редко приходилось иметь дело. Ему только не удавалось назвать её, потому что в «реалистическом» лексиконе для этого нет слов.

Возможно, что нужные слова были близки к нему в момент самоубийства. Следы этого есть в «До свиданья». Но грань была уже переступлена, и внезапный свет не спас. Если так, то к достижению и этих глубин и высот его привела сидевшая в нём смерть. «Законное естественное переживание смерти возможно и в атеистическом сознании... и в нём тогда заложено скрытое религиозное зерно» (Г. Федотов).



Вот это подводное течение у Есенина — смерть и всё, что из неё и от неё растёт, — и останется «в веках». Этого немало. У некоторых признанных и популярных поэтов и того нет. Поэт измеряется этим «вторым планом». «Массы» могут продолжать «распевать» «Ты жива еще, моя старушка», а многоумные критики восхищаться скучной «Инонией» и безвкусным «Преображением», — нас-

тоящий Есенин — в стихах и строках о смерти. В этом его неповторимость, тогда как «разочарований» от революции — хоть пруд пруди. Знал бы Бунин, что они с Есениным писали об одном.

Если нужна мораль, то она тройная:

1) Не следует обманывать ни других, ни себя, когда объясняешь творчество или складываешь легенду о поэте. Не следует замазывать неприятного, поэта надо подавать всего, без цензуры, со всеми недостатками.

2) Легенду о поэте-хулигане и алкоголике не следует неустанно воплощать в жизнь. Её пора сдать в архив. Современному поэту нужны благородство и человечность иного толка.

3) Не следует упрощать сложное и привыкать к шаблонам, хотя бы их установили хорошие критики. Литературу нужно постоянно переоценивать, а для этого по-новому перечитывать; если не вычитывается ничего нового, возможно, что это плохая литература.

Статья писалась не для «комсомолки» и «белогвардейца», а скорее для того «монаха трудолюбивого», который еще, чего доброго, перечитывая наши газеты через много лет, подумает, что в 50-е г. г XX века и впрямь Есенина считали Пушкиным наших дней. Так вот пусть «потомков сдержанное племя» будет знать, что не все считали.

И «комсомолке» и «белогвардейцу» и каждому вообще нужно осознать свою вину во всём происшедшем и происходящем (она у всех большая), а в этом Есенин не поможет (если уж требовать этой «пользы» от поэта Есенина). Он их только объединит в совместной любви к дешевке (что не значит, конечно, что Есенин — «дешевый» поэт). Таким образом, его «воспитательное значение» сомнительно, и знамени из него не сделаешь без самообмана.

А если так уж нужен поэт-знамя, то Пушкин «всё так же сладостно-вольнoлюбив».

Без числа и меры*)

Роман Игоря Гузенко — одно из очень немногих произведений художественной литературы, вышедших за границы Советского Союза, но посвященных советской жизни.

Литература о Советском Союзе на Западе вообще огромна. Но художественная литература более, чем скудна. Иностранные писатели недостаточно знакомы с советской жизнью и, естественно, воздерживаются писать о ней. Исключением, и счастливым исключением, является здесь разве Артур Кестлер.

Эмигранты старшей генерации советских отношений тоже не знают и писать о них были бы не в состоянии, если бы даже и хотели того. Границей их возможностей является время революции и гражданской войны.

Большого можно было бы ожидать от лиц, оставивших пределы Советского Союза позже, после того уже, как советский быт более или менее сложился: от так называемых невозвращенцев, всякого рода беглецов, Ди-Пи, эмигрантов военного времени, бывших советских и немецких также военнопленных, послевоенных «перебежчиков».

В большинстве случаев, однако, авторы из всех перечисленных здесь групп ограничились составлением личных воспоминаний, иногда очень интересных и умных, богатых фактами, но художественных произведений они, как правило, не пишут. Во всяком случае таких произведений немного, а в этих немногих случаях художественность их часто стоит под вопросом. Исключения (покойный Гагарин, например, С. Широков, Н. Нароков) подтверждают правило.

Есть нечто мешающее художественным произведениям, написанным авторами, оставившими Советский Союз, быть по-настоящему художественными, — то, что нередко снижает также ценность и не претендующих на художественность их личных воспоминаний. Это не субъективность, так как положение эмигранта включает уже в самом себе субъективное отношение к тому, что сделало его эмигрантом. Это не повышенная также эмоциональность и не то, что называют тенденциозностью, последняя здесь неизбежна: ведь опять-таки, если бы у эмигранта не было определенной тенденции и столь же определенных эмоций в отношении к тому, о чем он рассказывает, он не стал бы эмигрантом. Конечно, лучше когда автора не видно из-за его рассказа, — если это вообще возможно, но всякий, читающий сочинения эмигрантов, заранее должен учитывать, или как немцы говорят — «in Kauf nehmen», кто их автор, каково его прошлое, через какие стекла он смотрит на описываемые им явления.

Дело не в тенденциозности и не в эмоциях. Какой был бы это человек, не говоря уже о художнике или политическом деятеле, у которого не было бы ни эмоций, ни тенденций? Нет, бывает нечто худшее: потеря чувства меры, неумение различить правду от вымысла, действительное от воображаемого, а то и еще хуже: желание кому-то понравиться, угодить, попасть в точку, выполнить чей-то действительный или предполагаемый заказ.

*) О книге Игоря Гузенко «Падение одного титана» — *The Fall of a Titan* — a novel by Igor Gouzenko. New York. W. W. Borton & Co. 1954

Эмоции придают изображаемому ту или другую окраску, тенденция влияет на выбор фактов. Но ни эмоции, ни тенденции не оправдывают искажения фактов и, еще меньше, придумывания несуществующего и невозможного. И это в одинаковой мере относится как к художественным, так и нехудожественным — имеет здесь в виду форму, а не качество — произведениям.

Художественный вымысел, воображение художника имеют свои границы. К художественным же произведениям, имеющим дело с историческими событиями и лицами, это относится в особенности: рассказывая о Цезаре и Клеопатре, например, художник волен был выдумать любовную сцену между ними в таких подробностях, которых никогда могло и не быть, но которые могли бы и быть, раз между этими двумя историческими лицами имели место исторически же засвидетельствованные встречи, исторически доказанная близость. Но художник не смел бы перенести этот роман из Египта в Китай, скажем, или в Индию, так же, как не смел бы изобразить Цезаря в цилиндре, а Клеопатру в кокошнике.

То же и в воспоминаниях: Витте мог изображать Николая II-го или царицу в том или другом свете, — зная об отношении автора к царской семье, читатель заранее знает, что ему ждать здесь от этого именно автора — но что получилось бы, если бы Витте заставил бы последнего русского царя, подобно Петру Первому, собственноручно снимать головы непокорным царедворцам на площади Зимнего Дворца? Смешные примеры и детские, может быть. Но, если отбросить нарочитую утрировку, мы найдем нечто подобное и в книге Игоря Гузенко.

Пишущий эти строки не литературный критик, а когда ему приходилось заниматься анализом исторических романов, исторических повестей и других произведений этого рода, его интересовала в них не столько литературная, сколько историческая сторона.

Книга Игоря Гузенко не исторический роман, но, тем не менее, в нём фигурируют не вымышленные, а подлинные исторические лица либо под своими настоящими фамилиями, как Сталин, Молотов, Ворошилов и др., либо под слегка измененными, вроде Верии, например, или Горина, за которыми не трудно узнать Берия и Горького. А всё описываемое в романе — обстановка, общественно-политические отношения, быт и прочее — тоже относится к совершенно определенной эпохе и определенному месту, то есть, к Советскому Союзу начала или середины тридцатых годов. В этом случае, как и во всех других подобных, нельзя отнимать у автора права следовать своей художественной фантазии в изображении характеров и в зарисовке ситуаций, вытекающих из фабулы. Но вместе с тем нельзя ни ему, ни кому другому прощать и нарушения художественной и исторической правды. Никто вообще не смеет произвольно обращаться с фактами, которые относятся не к фабуле собственно, а к исторической среде, куда помещает их автор.

Всякое искажение действительности, какими бы мотивами не было оно продиктовано, не только оскорбляет чувство правды у читателя, но является погрешностью и против элементарнейших правил эстетики. Ложь, даже самая невинная, не может быть художественной. Художественный же вымысел совсем не то, что ложь. Вот почему так называемый «социалистический реализм» не имеет ничего общего с художественным реализмом. И дело здесь не в идеях или убеждениях. Дело в том, что художественный реализм сам в себе предполагает правду, а социалистический реализм соткан из лжи, построен на заведомом искажении действительности.

О романе Игоря Гузенко писали много; и его содержание, как и положенные в его основу идеи, в общем достаточно известны. Роман, как принято говорить, имел «хорошую прессу». Если учесть, что это — первое произведение и сравнительно очень молодого еще автора, живущего к тому же не в совсем обычных условиях человеческого общежития, то нельзя не признать, что автор вполне обладает и необходимым литературным наследством, и остротой взгляда, и, больше того, несомненным дарованием. А если вспомнить еще и о том, что все книги хороши, кроме скучных, то вряд ли кто отнес бы книгу Гузенко к разряду

скучных. Она от начала до конца читается с неослабевающим интересом. Но...

Однако, напомним сперва о её содержании и вложенных в неё идеях.

Центральной фигурой романа является Федор Новиков, молодой советский историк, профессор Ростовского на Дону университета. Его биография довольно типична. Отпрыск старой русской интеллигенции, сын инженера-путейца, он, благодаря некоторому стечению обстоятельств, очутился в Красной Армии, в каком-то разведывательном отряде, где ему пришлось выполнять специальные задания на службе ЧК. Профессиональным чекистом он не стал, но связи с «органами» не прекращались у него и тогда, когда, после гражданской войны и окончания им университета, он посвятил себя академической деятельности.

Свою карьеру Новиков делал довольно успешно. Этому способствовали и его связи с «органами», и его принадлежность к партии — то и другое одновременно едва ли было возможно, но такие «неувязки» в романе — на каждом шагу; есть, как увидим, и значительно большие. Помогло ему и то, что улавливая дух времени, он сумел угодить власти подходящей темой о происхождении древних славян, которую выполнил в духе «советского патриотизма» или, собственно говоря, российского великодержавничества. Здесь в романе тоже «неувязка», на этот раз хронологического порядка, так как окончательное торжество подобных тенденций в советской исторической науке, сделавшее возможным появление работ типа новиковской, относится ко времени значительно более позднему, чем то, к которому автор относит своё повествование. Но о хронологической последовательности, как и о географической точности, в романе нет вообще и помину — такова довольно своеобразная манера автора.

Карьера Новикова восходила к зениту — в пределах, возможных для партийного советского ученого. Но её нормальное течение неожиданно осложнилось специальным заданием, которое Новиков получил от «органов». Задание носило совсем особый характер, было настолько сложным и необычным, что оно должно было повлиять на весь ход его жизни.

Высшее партийное руководство заметило, что Михаил Горин, — прославленный писатель, в котором читатель без труда узнает Максима Горького, хотя со всеми относящимися к нему данными автор романа обращается совершенно произвольно, смешивая действительное с вымышленным, — начал колебаться в своём отношении к режиму. Перед властью стала дилемма: или во-время и безболезненно «перековать» колеблющегося, поставив его на нужный путь, или, при неудаче, убрать его с этого пути.

Решить эту дилемму практически должен был Федор Новиков. Данное ему задание состояло в том, чтобы убедить Горина в абсолютной правильности политического курса, представляемого Сталиным, и побудить его писать в духе оправдания этого курса. В случае же провала этого плана Новикову подлежало убрать Горина, становившегося тогда не только нежелательным, но и опасным для власти.

Михаил Горин занимает в романе место большее, чем даже сам Новиков. Если личная судьба Новикова служит наглядным свидетельством того, как советский строй ломает живую человеческую личность, всецело подчиняя её, — со всеми её устремлениями, чувствами, переживаниями и отношениями, — посторонним для неё целям, то в судьбе Горина автор пытается показать еще и другое: трагедию великого художника и мыслителя, увлекшегося призраком «Общего» (призраком абстрактного человечества) и за этим призраком упустившего из виду единственную реальность, какой является каждый живой человек, с его действительным горем и радостями, действительными лишениями и страданиями.

Идея не новая! Это то, о чем говорил и Иван Карамазов — тень Достоевского всюду в романе, но от этой тени несвободно ни одно сколько-нибудь значительное произведение всей новой русской литературы — отказываясь от вечного абстрактного блаженства, покупаемого ценою страданий хотя бы одного конкретного ребенка.

Михаил Горин, покидая убежище на о. Капри для своей старой родины руководствовался не только естественной к ней привязанностью, но и верой в то, что там закладывается фундамент великого будущего, что там зажглась уже зари грядущего счастья всего человечества. И призрачный свет этой зари скрыл от его глаз ту жалкую действительность, которая окружила его со всех сторон. Из-за звуков небес, созданных его воображением, он не слышал не только скучных песен земли, но даже тех страшных стонов, которыми она была наполнена от края до края. «Слёз младенцев» он долго не замечал, а когда нельзя было их не видеть, он отворачивал глаза, пытаясь вглядываться только в им же созданную химеру.

Без конца, однако, это не могло продолжаться. Ибо, имея очи, нельзя не видеть и, имея уши, нельзя не слышать. Михаил Горин начал и видеть и слышать к тому как раз времени, когда судьба, в лице всё видящей, всё охватывающей, всё подавляющей власти, поставила на его пути секретного сотрудника «органов», молодого, талантливого, энергичного Новикова, обладавшего мертвой хваткой, когда ему нужно было выполнять свои «задания».

Горин заколебался, начал терять себя. Новиков шел к цели без колебаний. Он ни на минуту не сомневался в том, что ставкой в игре, которая была навязана ему посторонней, неумолимой силой, могла быть только его собственная голова. С чужими головами такие люди, как он, ни при каких обстоятельствах не считаются. Игра началась...

В романе много других персонажей, много эпизодов, не всегда оправдываемых главным сюжетом. Автор пытается сделать свой рассказ интереснее, чем он мог бы по его мнению быть, давая силуэтные зарисовки, уклоняясь от темы, вдаваясь в бытовые подробности, порою запутывая фабулу. Мы не станем, однако, углубляться в чисто литературные достоинства и недостатки произведения. Нас интересует другое: насколько справился автор со своими задачами; верно или неверно передал изображаемую им действительность; сумел ли он воплотить в своём произведении идеи, с которыми он обращается к читателю или которые он, лучше сказать, декларирует?

Прежде всего, в чём состояло «падение титана»? Что нужно считать моментом этого «падения»? Началось ли оно уже тогда, когда Михаил Горин решил покинуть Капри для созданного им призрака? Или тогда, когда убаюканный всеобщим заказанным и незаказанным преклонением, казенной и неказенной лестью, окруженный исключительным комфортом и почти царской роскошью, он закрыл глаза и уши, чтобы не видеть реальных ужасов реальной жизни? Тогда вся его жизнь на родине была сплошным и непрерывным падением. Но если так, то что тогда означает его финал?

В тот момент, когда его глаза, наконец, открылись, а из души готов был вырваться гневный протест и против окружающего и против самого себя, Федор Новиков «убирает» его, унизительно, грубо, с отвратительной жестокостью. Что это было: искупление или логическое завершение всё того же падения? А может быть «падение титана» тогда только и началось, когда Горин стал видеть то, чего не видел раньше, когда он изменил своему кумиру? Основная идея романа осталась нераскрытой...

Лучше в романе вышло с другой его идеей: о том, как личное существование систематически и безжалостно приносится в жертву какому-то абстрактному, неодушевленному и безличному «Общему». Вся жизнь Федора Новикова, да и не его одного, прекрасная к этому иллюстрация. Подчиняясь неумолимому «Общему», Новиков принужден расстаться с Ниной, дочерью Горина, которую он полюбил, насколько был вообще способен после всего им пережитого полюбить. «Общее» было представлено на этот раз секретарем Обкома Верией, в котором нетрудно узнать хоть и сильно окарикатуренного автором Лаврентия Берия. То же самое «Общее» никак уже не персонафицированное, но давящее на каждого советского человека с неменьшей силой, в виде общественного мнения, в виде партийной дисциплины и прочего, побудило Новикова расторгнуть брак

и грубо оттолкнуть от себя другую женщину, Нинину подругу Любу, которую он тоже успел полюбить и которая готовилась уже стать матерью его ребенка.

Примечательно, что в жизни, представленной в романе Игоря Гузенко, тот самый жернов, который в порошок растирает жизнь заурядных или только немногим возвышающихся над общим уровнем людей, с такой же самой силой обрушивается на головы и тех, кого волной вынесло на самую поверхность. Этим жерновом раздавлен первый секретарь обкома партии Ларин, место которого занял Верия. Под грузом этого жернова-пресса погибла семья партийного вельможи Сидорова, директора крупнейшего военного завода, участника гражданской войны. Даже сам начальник местного ГПУ, на всё и на всех наводящий ужас, беспощадный и звероподобный Дуров должен был на себе самом испытать силу этого пресса, когда Верия приказал ему во имя «политической целесообразности» прекратить вполне законченное преследование убийцы его собственного сына.

В романе много ярких картин, рисующих подлинную советскую действительность во всей её невообразимой жути. Многие картины выписаны с большим художественным мастерством и неизгладимо запечатлеваются в памяти. Автор начал свое повествование со времени гражданской войны. И ему удалось дать несколько замечательно выразительных её штрихов. Чего стоит, например, пьяный красноармеец, грабящий темной ночью прохожего и бросающийся потом целоваться с ним со слезами раскаяния? Или комиссар, собственноручно расстреливающий белогвардейцев «для острстки» перед построенными рядами перепуганных насмерть «буржуев», которых согнали копать никому не нужные окопы, — это акт так называемого «красного террора»! Автор — большой психолог, и ему удалось одним-двумя мазками изобразить здесь не только самый акт экзекуции, но и внутренние переживания как её исполнителя, так и её свидетелей.

С неподражаемым мастерством и в духе подлинного художественного реализма написана в романе картина рабочего общежития химической фабрики, где наряду с тысячами других влачили свое горькое существование жена и дочь арестованного советского вельможи Сидорова. Не менее красочно изображена университетская «столовка», одна из тех многих «столовок», которые как-то заставляли — помню это — даже типичного сына революции выдавить из себя со вздохом: «А всё-таки трудно, братцы, привыкать к социализму!» — это уже не из романа, а из жизни.

Советская жизнь полна контрастов. Не знаю, будет ли парадоксом сказать, что эти контрасты не только не мешают существованию нечеловеческой системы, но в какой-то мере составляют её основу. Наглядно-символическим изображением такой контрастности в романе Гузенко служит одна картина: по течению «тихого» Дона, в прекрасную летнюю ночь, плывет уютная и, по советским условиям, роскошная речная яхта. На её борту приятно и весело проводят время представители советской элиты: владелец её, член обкома, и директор завода Сидоров с женой и дочерью, и кандидаты в женихи последней братья Новиковы, Федор — красный профессор и в недалеком будущем ректор университета, — и Николай, его брат, красный студент. Навстречу яхте в темноте ночи движутся барки, до краев наполненные живым человеческим грузом: заключенными из местного концлагеря, возвращающимися с работы на ночлег.

Это — *memento mori*, неотступно напоминающее каждому советскому человеку, как бы высоко ни стоял он на иерархической лестнице, о бренности его личного существования и его личного благополучия.

Много жуткого в советской жизни. Но самое жуткое — не убогие столовки, не рабские общежития, даже не концлагеря, густой сетью покрывающие страну. Самое жуткое это то непредставимое для людей свободного мира порабощение духа, особый душевный паралич.

Не то страшно, что Федор Новиков выгнал из дому свою беременную жену после того, как её отец оказался «врагом» — подлецы и негодяи возможны везде, при любом общественном строе — а то, что он не мог поступить иначе, то,

что любой советский человек его положения поступил бы таким же самым образом. Ведь когда Лида, жена Новикова, пришла в университет, где каждый знал её как студентку и жену профессора и ректора, не нашлось ни одного человека, который, по-человечески подошел к ней, сказал бы ей участливое слово, протянул ей руку помощи. Все отвернулись. А, главное, не могли, не смели не вернуться!

Полную глубокого смысла картину — встречи праздничной яхты Сидорова с баржами «ЗК» на волнах тихого Дона — автор романа испортил одной надуманной подробностью. Выдумал он её для большего эффекта. Сколько таких ложек дёгтя влило автором в бочку мёда на протяжении всего его романа! Как часто покидает его чувство меры и, что еще хуже, чувство действительности и художественной правды. В данном случае совсем не нужно было заставлять концлагерников устраивать по прихоти полупьяного Сидорова импровизированный концерт, еще менее того, заставлять умирать одного из главных его исполнителей. И также не нужно было устраивать здесь мелодраматический побег одного из арестованных, бывшего друга Лиды Сидоровой — он прыгнул с баржи в воду и тут же был застрелен стражей. Всё это вышло натянуто и неправдоподобно. Однако в романе есть много чего и похуже.

Чувство действительности, чувство художественной правды не раз изменяло автору романа. В погоне ли за эффектом, из-за недостаточного знания читателя, введенного как-то в заблуждение на этот счет, по каким ли иным причинам, но Игорь Гузенко в описании фактов много раз позволяет себе явные преувеличения, доходящие до прямого их искажения, не говоря уж о грубом натурализме и склонности к дешевому приключенчеству. В изображении характеров он также доходит до карикатуризма, допускает невероятные психологические ситуации, впадает в явные противоречия. Немало у него неточностей и в чисто бытовых подробностях, а о свободном обращении его и с исторической хронологией — речь идет не о хронологических датах, а о исторической последовательности событий — говорилось уже раньше.

Два-три года в советской жизни составляют иногда целую эпоху, а из романа Гузенко читатель никогда не узнает, относится ли описываемая в нем ситуация к двадцатым годам или тридцатым, эпохе нэп-а или к эпохе пятилеток, — первой пятилетки или второй, ибо и между ними была существенная разница. Ведь даже университетская столовка, например, выглядела совсем иначе в годы нэп-а, в годы раскулачивания (в начале первой пятилетки) и, наконец, к концу тридцатых годов, накануне войны. С такими мелочами автор, однако, не считается, поэтому и картина у него получилась искаженной, при прекрасно выписанных отдельных её местах.

Хуже всего обстоит дело в романе с зарисовкой характеров. Правда, нужно сказать, что автору удалось как раз то, что редко кому удается: изображение положительного героя. Образ Николая, брата Федора Новикова, хороши. Простой, не снимающий звезд с неба юноша, без всяких претензий, без какой бы то ни было ходячести и позы. Он не прочь поухаживать из-за лишней порции за официанткой в университетской столовке. Он не видит ничего для себя зазорного подсматривать в окошко за братом, когда тот находится в обществе Любы. Не задумался бы он, поверьте, и «спереть» что-либо, если бы оно плохо лежало. Но зато он был единственным на всём свете — на советской земле, конечно, — человеком, который позаботился о семье арестованного Сидорова, не побоялся грозивших ему в связи с этим неприятностей. Не постеснялся Николай сказать в глаза брату о том, что тот поступил со своей женой просто-напросто как подлец и негодяй, помимо всякой там партийной этики. Не только сказал ему это, но и «дал в морду», совсем по заслугам. Да, это вполне удавшийся образ настоящего живого положительного героя, без всяких кавычек.

По сравнению с Николаем Новиковым другой положительный герой Андрей Дёмин, тоже студент, первый жених Лиды Сидоровой, олицетворяет собою советское подполье. Он — непримиримый и бескомпромиссный борец против ре-

жима. У него хватило смелости в присутствии целой труппы однокурсников назвать чекиста Олега, сына чудовищного Дурова, палачом. Он имел также смелость вступить в пререкание с самим Гориньым, несмотря на то, что тот спас ему жизнь и приютил его больного и искалеченного у себя на даче. Но этот герой вышел бледным и неживым. Это не человек, а схема. В нём всё надумано, начиная с его схватки с молодым Дуровым, споров с Гориньым, участия в антисоветской вооруженной «банде» и кончая прыжком в воду с баржи ЗК, трагической смертью на глазах у невесты.

Нельзя сказать, куда нужно отнести Нину Горину, подругу Лиды Сидоровой. Нина за год или два успела пережить три романа, хоть и совсем разные по содержанию и качеству. Деревенский Дон Жуан и лихой наездник Рудой, смесь советского хулигана с активистом, свободно и без всякой задержки переходящий от лирических излишней любимой девушке к бессмысленной и дикой физической расправе над самыми безобидными «нарушителями законности», собравшимися без надлежащего разрешения ловить рыбу, это — первый избранник Нины. Жестокая грубость Рудого оттолкнула от него Нину. Но автор не показал, как Нина отнеслась к самому факту того вопиющего бесправия, которое позволило распоясавшемуся молодчику безнаказанно расправляться с беззащитными трудящимися, такими же, как и он сам. Впрочем чуткая, тонкая и интеллигентная Нина, с её мечтательной порывистостью, — этим она отличается от Лиды, — со всей изысканностью её западного воспитания, не потрудились даже узнать, что случилось с её подругой после ареста отца, пока не навёл её на эту мысль Николай.

Вторым избранником Нины оказался Федор Новиков, которого она полюбила с первого взгляда, но с которым должна была потом расстаться из-за того, что тот должен был следовать своему партийному долгу, а не влечению своего сердца. Вынужденная отказаться от Новикова Нина уже без всякой романтики, а по самому холодному расчету, останавливает свой выбор на молодом Жданове, которого автору понадобилось сделать вторым секретарем Ростовского Обкома, помощником Верии.

Жданов и Верия относятся уже к определенно отрицательным типам, наряду с чекистом Дуровым, партийным аппаратчиком Мирзояном и многими другими. Отрицательные типы в романе делятся на две категории: отрицательные, но заслуживающие всё-таки какого-то снисхождения, и просто отрицательные. Первая — это тот же Федор Новиков, у которого бывали какие-то просветы, который чувствует хоть изредка какие-то угрызения совести, испытывает какие-то сомнения. Это — академик Глушак, сексот, приставленный к Горину, но искупающий отчасти свое моральное падение гнетущим, ни на минуту не оставляющим его, чувством страха, которым наполнено существование и его собственное и всех его окружающих. Снисхождение заслуживает даже убийца сына Горина, доктор Цыбик, искупивший свой грех сумасшествием.

Даже в Дурове остался какой-то атом человечности, проявившийся хотя бы в его слабости к беспутному сыну. У Верии и у молодого Жданова автор не нашел даже и такого атома. Зато они и превратились у него в такие же мертвые схемы, как и его положительным герой Андрей Дёмин. Не портреты, а карикатуры! Ненасытное честолюбие, карьеризм, отсутствие каких бы то ни было моральных scrupul, ни намёка на идейность, даже не чисто доктринальный фанатизм, что отличает этих большевистских вельмож. Пусть это и так. С живым Берией и живым Ждановым едва ли и было иначе. Но зачем понадобилось, чтобы Верия, в довершение ко всему прочему, был ещё устройством ночных оргий? Зачем нужно было показывать его в таком отвратительном виде, когда он шел на свидание с обкомовской проституткой? Чтобы сделать его еще отвратительнее? Зачем нужно было, чтобы Жданов в присутствии своей невесты «давал в зубы» своему мажордому? И так ли необходимо было для полноты его характеристики рассказывать, как он, не такой уж молодой человек, жестокий и холодно расчетливый службист, взбирался ночью на дерево, чтобы, подобно ис-

порченному мальчишке, подсматривать, как в спальне раздевается его будущая супруга? К чему вводить в роман такие подробности? Что добавило это к облику персонажей?

Натурализма нехорошего тона в романе достаточно, — натурализма в сочетании с прикличечеством в стиле детективных рассказов. Начать с того, как Федор Новиков похищает эстрадную певицу, бывшую свою любовь, на глазах у сотни вооруженных зрителей, офицеров Белой Армии в Одессе. И это тогда, когда сам он был агентом секретной советской разведки и должен был бы бояться за каждый свой шаг, чтобы как-нибудь себя не выдать. Затем — как Нинин поклонник Рудой избивает плетью несчастных рыбацких, а его возлюбленная делает с ним то же самое. Как сын Дурова, Олег пытался изнасиловать Лиду Сидорову на торжественном банкете, чуть ли не в присутствии всего собравшегося там «советско-партийного актива» и во всяком случае на глазах у целого десятка своих сверстников, представителей советской золотой молодежи. Сюда же нужно отнести и описание убийства этого самого Олега Дурова Федором Новиковым, — трудно понять, зачем вообще понадобился автору этот пинкертоновский эпизод, — и отвратительную в своих подробностях сцену рукопашной между братьями Новиковыми, и столь же отталкивающую сцену убийства Федором Новиковым Михаила Горина, и многое другое в том же роде.

В нашем языке нет слова, которое подобно такому, например, как «трюк-творчество», что ли, обозначало бы создание художником совершенно невероятных, ни внешне, ни внутренне невозможных ситуаций, рассчитанных только на то, чтобы возбудить интерес у читателя. А такого рода сцен в романе Игоря Гузенко имеется не в малом количестве.

Самым же невероятным эпизодом в романе наиболее психологически натянутым и аляповатым является рассказ о том, как Федор Новиков накануне убийства им Горина по совершенно непонятным и менее всего ему свойственным побуждениям, пытается с опасностью для жизни спасти незнакомого ему мальчика, сына расстрелянного чекистами горинского садовника. Не трудно понять, зачем этот эпизод понадобился автору: ему хотелось в отношении Новикова избежать того самого упрека, который он предвидел по отношению к Верии и Жданову — упрека в чрезмерном употреблении одних только черных красок. Спасение мальчика должно было хоть немного смягчить впечатление от всего образа Новикова — убийцы. Но эпизод повис в воздухе.

Есть в романе и нечто худшее, чем склонность автора к дешевым эффектам, к натуралистическим описаниям и авантюрным трюкам. Это сознательное или несознательное искажение им действительности, — собственно то, что пишущего эти строки главным образом и интересует в этом произведении.

Искажений, к сожалению, много. Искажения касаются большого и малого. А все вместе они делают то, что написанное автором становится той неполной правдой, которая бывает хуже прямой лжи. Не подлежит никакому сомнению, что искажение действительности у Игоря Гузенко объясняется либо не всегда достаточной его осведомленностью, либо желанием (большей частью произвольным, чем произвольным) представить изображаемое им еще хуже, еще мрачнее, чем оно есть на самом деле. Но нужно ли это? Как будто советская жизнь недостаточно мрачна сама по себе, чтобы делать её еще мрачнее? Нужно ли забывать о числе и мере, когда мы рассказываем даже о своем враге?

Приведу несколько наиболее выразительных примеров того, как автор «Падения титана» либо теряет чувство меры в описании советской жизни, либо рассказывает о том, чего сам хорошо не знает. Будем говорить и о большом и о малом.

На одной из ростовских фабрик рабочие, доведенные до отчаяния невыносимыми условиями жизни, объявляют забастовку. В двадцатых и даже начале тридцатых годов такие случаи бывали, так что в самом случае ничего неправдоподобного пока нет. Но вот на фабрику приезжает секретарь обкома Верия и, чтобы отвлечь гнев рабочих от самого режима, как такового, переключив его на одного

из его представителей — директора фабрики, призывает рабочих учинить погром квартиры директора и сам лично участвует в этом погроме. Этой подробности никто из знающих непосредственно советские отношения не поверит: сместить директора «для показу», отдать его под суд, даже расстрелять — это было бы возможно, но громить организованно его квартиру и организованно же делить между собою его вещи, по личному приказу секретаря обкома, это категорически исключено. Благодаря одной неправдоподобной детали потеряно впечатление от всего рассказа: о невыносимых условиях жизни советских рабочих, доведенных до отчаяния, и о том, как власть в подобных случаях ищет выхода в «корчах отпущения».

В Ростовском филиале Академии наук (такового кстати никогда не существовало, но это незначительная подробность, Верии тоже ведь никогда не было в Ростове на должности секретаря обкома, и писатель с именем Михаила Горина, но с лицом Максима Горького, также никогда там не жил) — секретарем партийной организации состоял некий Мирзоли, типичный партийный карьерист, отъявленный болван и мерзавец. И это было в порядке вещей, что все партийные и, больше того, беспартийные сотрудники Академии, от её президента и до рядового ассистента, трепетали в страхе перед секретарем ячейки. Но когда этот секретарь ставит сотрудников Академии на зарядку в строй и сам подает им команду, или заставляет их приветствовать его, становясь перед ним во фронт, как это было принято в старой армии по отношению к генералам, весь образ его начинает звучать фальшиво.

Первый секретарь обкома может отдать приказ об аресте любого своего сотрудника, хоть и с последующим оформлением этого через прокуратуру и согласованием с управлением государственной безопасности. В результате применения соответствующих средств «следственного воздействия» любой арестованный раньше или позже напишет собственноручное показание, почему он может быть «ликвидирован» по приговору особой «тройки» (в которую входит и секретарь обкома, но наряду с председателем облисполкома и начальником областного отдела ГБ), «особого совещания» и т. п. органов террора. Но чтобы секретарь обкома мог арестовать двух самых ответственных сотрудников обкома так, как это делает Ларин в романе Игоря Гузенко, арестовать и «ликвидировать» их в течение двух-трех часов, хотя бы и под видом «самоубийства», — этому все-таки трудно поверить.

Да и весь рассказ о падении и гибели Ларина, о возвышении Верии, занявшего его место, в особенности же история с открытием в Ростове мифического филиала Института Маркса-Ленина, эпизод с прощением матери Андрея Демина и заступничеством за него Горина, все это также звучит крайне неправдоподобно.

Ларины падали, верии занимали их место. Сотрудники обкома, до курьезов включительно, следовали за своими павшими патронами. Одних расстреливали. Других ссылали. Кое-кто (и немало) при этом кончал самоубийством: кто заблаговременно перед арестом, кто в момент ареста, кто потом уже, в тюремных камерах. Всё это так! Но происходило все это не совсем так, не так упрощенно, как об этом говорится в романе. Соблюдались при этом какие-то внешние формы. Была хоть видимость какой-то законности. А это делало всю процедуру еще страшнее, еще отвратительнее, так как к жестокости здесь присоединялась и ложь.

То же нужно сказать и об аресте и «ликвидации» Горина. Разве нельзя было оставить это как-то незаметнее, тише? Так уж необходимо было расстрелять на месте двадцать человек прислуги Горина, даже без комедии следствия, только по распоряжению одного уполномоченного ГПУ? А «ликвидировать» его обязательно должен был не кто другой, как ректор местного университета, да еще таким способом, как разможив ему голову о радиатор? Нельзя было покончить с ним без шума, так, как покончили с его сыном, и как оно, наверное, и произошло на самом деле с живым Максимом Горьким?

В случае с Лариным все крайне упрощено. В случае же с Гориным, наоборот, все до крайности усложнено, и, так сказать, обуафорено. И сделано это единственно для того, чтобы дать двум главным героям романа до конца выговориться. Как будто у них не было ни времени, ни повода сделать это раньше, в более нормальной обстановке. Но тогда было бы меньше эффекта. Если искать эффектов в подобных вещах... Вот еще несколько более мелких подробностей, относящихся уже к повседневной советской жизни и быту. Тяжелы, невыносимо тяжелы условия работы и жизни рабочих на химическом заводе, где работает Лида Сидорова с матерью после ареста отца. Перед нами рабы в самом настоящем смысле этого слова. Преувеличивать здесь нечего, потому что ужас действительности превышает всякое воображение. Однако представитель государственной прокуратуры, специально прикомандированный к заводу, не мог все же приговаривать рабочих к расстрелу собственной властью, как об этом говорится в романе.

Органы террора опутывают своей сетью все учреждения и все предприятия в советской стране. Всюду имеются так называемые спецсекторы, с помощью которых осуществляется постоянная связь «органов безопасности» со всеми без исключения винтиками огромной государственной машины. Однако никаких оперативных функций, которые им приписываются в романе, спецсекторы не ведут, за наставлениями профессуры и студентов они не наблюдают — это выполняется по другой линии — и арестовывать кого бы то ни было они не могут. Небольшая деталь, но и она — необходимый штрих к общей картине.

Представители местной советско-партийной верхушки живут, вообще говоря, раздельно, и в отличие от трудящихся масс ни в чем себе не отказывают. Пользоваться специальными услугами обкомовской машинистки во внеслужебное время, возможно, никому не возбуждалось. Хотя «бытовое разложение» всегда могло быть поводом для неприятностей, и партийные сановники типа Верии, обставляли эту сторону своей жизни несколько иначе, чем это описано в романе. Но совсем уже невероятно, чтобы первый секретарь обкома взял на себя инициативу по организации внепланового ночного посещения всем активом общества женской балетной школы, где-то в окрестностях города. Зачем это? Для большего эффекта? Но разве для характеристики жизни и быта правящей социалистической элиты не достаточно описания свадебного пиршества в доме Горина, рассказа об особняке Жданова, рассказа об официальном банкете, устроенном по случаю открытия Института Маркса-Ленина? В этих рассказах все правдиво. А с балетной школой это уж нечто без меры.

И такая еще подробность: ректор университета не мог пропустить несколько дней без записки врача, несмотря на то, что, вызывая врача, он подвергал себя смертельной опасности, — это случилось после убийства Новиковым Олега Дурова. Однако в романе понадобился и настоящий детективный эффект, в интересах, очевидно, уловления «американского читателя», который в представлении автора никак не может обходиться без детективов. Впрочем описано все это — и убийство Дурова, и раскрытие этого дела — довольно живо.

Молодой Дуров, отчаянный хулиган и во всех отношениях полнейшее ничтожество. Как сын партийного вельможи он довольно типичен. Но нужно ли было сыну начальника областного управления ГПУ собственнически продавать «ба-рахло» на «толкучке», не берусь судить. Легче поверить, что профессору Новикову, прежде чем идти в дом Горина, пришлось посетить предварительную толкучку, так как нигде в другом месте нельзя было найти подходящий для такой цели костюм. Впрочем Олег Дуров действовал через подставных лиц, оставаясь до решительного момента в тени. Сцена с ограблением Новикова, с которого этот же костюм был снят потом какими-то бандитами среди бела дня, да еще в присутствии Нины Горинной, не кажется неправдоподобной, хотя вряд ли она была необходима для художественной целостности повествования. Но подобные эпизоды, рассчитанные на «интересность», в романе на каждом шагу.

Какой же все-таки итог можно подвести под рассказ Игоря Гузенко о советской жизни? Отдельные мазки кажутся грубыми и неверными, но что вышло из целой картины? Что вынесет из неё читатель, никогда не бывший в советской стране и знающий о ней только по наслышке? Общее впечатление от всего, о чем говорится в романе, может быть сформулировано приблизительно так: невыносимая всеобщая скудость быта, примитивность и грубость; ничем не ограниченный произвол со стороны одних и безграничная, тупая покорность других, изредка нарушаемая взрывами бессильного отчаяния или переходящая в безвольное, пассивное сопротивление; а в конечном итоге полное обезчеловечивание всех — и верхов, и низов.

Лишь изредка, подобно тому, как густой мрак ночи пронизывают зарницы далекой грозы, на беспросветно темном фоне советской жизни мелькают отдельные блестящие, в виде немногих праведников, которыми держится еще наша несчастная земля. Младший Новиков, пожалуй, и Лида Сидорова, Чепрок, слуга и старый друг Горина, не совсем удавшийся автору Андрей Денгин, старая учительница, случайно встретившаяся на пути Лиды, пастух-колхозник, помиловавший попавшего ему в руки Федора, даже хулиган Рудой, бунтующий против зла, наполняющего до краев жизнь, все это — зарницы, освещающие ночной мрак, покрывающий русскую землю. Но мрак от этого не стал прозрачнее.

Лучшее враг хорошего! Картина, написанная Игорем Гузенко, в общем верна и в общем исполнена с талантом. Но если бы автор не терял чувства меры и не жертвовал бы художественной правдой в угоду чьему-то дурному вкусу, если бы он больше считался с историей и географией — раз он оперирует все-таки историческими и географическими величинами — и воздерживался от ненужных трюков, его первое произведение было бы еще лучше, а описанная им картина была бы еще убедительнее. Пусть это послужит уроком и для него и для всех, кто возьмет на себя подобную задачу.

В заключение перефразируем известное изречение: Друг мой Платон, но истина мне больший друг! Ненавидим большевиков, искалечивших нашу Родину, надругавшихся над самой человеческой природой. Но будем до конца служить истине! И даже о большевиках не будем говорить ничего, кроме правды!

ГНОСЕОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ

«Гнотис аутон» — «познай самого себя» — этот философский призыв, развитый Сократом, представляет собой одну из вечных тем философии, которым она обязана своим существованием. И тот познавательный порыв, которым дышат эти слова, указывает на то, что первоначально мы не знаем самих себя, что дело самопознания — трудное дело, что в нем скрыта проблема.

В настоящей статье нами ставится вопрос о том, возможно ли знать самих себя, — вопрос об условиях возможности самопознания. Поэтому заглавие работы — не психология, а **гносеология** самопознания.



Исходным пунктом возможности самопознания является самосознание — присущая человеку способность познавать не только внешние объекты, но и самого себя. Способность самосознания представляет собой, может быть, в самую специфическую черту человеческой личности: не даром Лейбниц именно в ней видел главное отличие человека от природы.

Предмет самосознания — «я», «самость», дан мне более интимным и глубоким образом, чем вещи внешнего мира. И, тем не менее, о внешнем мире мы обычно более знаем, чем о себе.

Можно заранее указать на две главных причины, обуславливающих наше незнание или малознание самих себя: первая причина заключается в природе самосознания — в неуловимости собственного «я» для познавательной рефлексии. Вторая причина носит психологический характер, она коренится в почти инстинктивной неприязни большинства людей к анализу глубин собственной внутренней жизни.

В силу укоренившихся материалистических предубеждений, многие лица склонны отрицать за душевной жизнью всякую глубинность, считать ее чем-то производным, чуть не иллюзорным, по сравнению с осязательной, каждый момент напоминающей о себе, реальностью внешнего, предметного мира.

Тем менее склонны такие лица признать своеобразие реального бытия носителя душевной жизни — нашего «я». Как остроумно заметил Фихте, большинство людей готовы считать себя скорее за кусок лавы с луны, чем за свое «я».

В настоящей статье мы исходим из усмотрения первозданности и первореальности «я», пытаясь дать этой первореальности гносеологическое оправдание.

Тема о гносеологии самопознания, по своей природе, расчленяется на два вопроса: о роде данности «я» (Gegebenheitsart) и о роде бытия «я» (Seinsart). Этот последний вопрос — о сущности «я» носит уже метафизический характер, касаясь метафизики внутреннего опыта.

Но перед тем, как строить метафизическое учение о сущности «я», необходимо уяснить себе: 1) каким образом «я» дано самому себе, и 2) каковы условия возможности этой само-данности «я».

АНТИНОМИЯ САМОСОЗНАНИЯ

Каким образом «я» дан самому себе? — Очевидно, в самосознании, смысл которого и заключается в том, что оно есть самосвидетельство «я» о себе. Если интуиция внешнего мира, обладание им в подлиннике, может быть подвергнута сомнению, хотя бы методологическому, то о себе самом я знаю, во всяком случае, не через посредство чего-то, а непосредственно, интуитивно. Говоря словами Декарта, никакой демон не может обмануть меня в факте моего собственного существования, как мыслящего существа. «Сум когитанс!» («Я есмь мыслящее!»).

Абсолютная достоверность самосознания, действительно, неоспорима. Но дает ли она самопознание? Дает-ли она право утверждать, что «я», как бытие, как «ессе» дан в самосознании, так что мне достаточно лишь осознать эту данность, чтобы познать самого себя? Вопрос может показаться праздным. — Если я познаю состояние своего сознания, во всяком случае, непосредственно, то этим самым я познаю непосредственно и самого себя.

Однако, проблема самопознания далеко не столь проста. Ведь мои внутренние состояния — мои ощущения, представления, мысли — еще не есмь «я», **имеющий их**.

Строго говоря, мне даны моментальные состояния моего сознания. Заключать от непререкаемой реальности этих состояний к бытию их предполагаемого источника, значит полагать нечто, непосредственно не-данное. Гносеолог же обязан воздерживаться от экзистенциальных суждений — о существовании или несуществовании предметов, поскольку эти суждения не основаны на очевидности.

Неискушенный в философской диалектике человек не сомневается в познаваемости и, тем менее, в реальности бытия «я». Проблема самопознания для него не существует, ибо он и не задумывается над тем, что такое «я». Большинство людей в отношении своего «я» — такие же «наивные реалисты», какими они являются в отношении внешнего мира. Как мы инстинктивно убеждены в существовании внешнего мира таким, каким он является нашим чувствам, столь же инстинктивно мы убеждены в существовании нашего «я», как о нем свидетельствует самосознание. И если интуитивизм и родственные ему направления в современной гносеологии (англо-американский нео-реализм) возрождают «запретный» плод наивного реализма, то они производят это не наивно, освобождаясь от грубых, натуралистических представлений о знании, усматривая в знании духовный акт, духовное обстояние. Тем не менее, философская рефлексия и современная психология, подорвав «наивный реализм» в области внешнего восприятия, выдвинули и ряд аргументов против адекватности самопознания.

В самом деле, «мои» собственные состояния становятся «данными мне», как только я направляю на них свое внимание, коль скоро я пытаюсь их познать. Иначе говоря, они не могут уже рассматриваться как **часть** моего «я», но, в лучшем случае, как **функция**. Ибо «моим» стало теперь **мое внимание**, точнее говоря, «я внимательный». Моя же печаль, моя радость, моя мысль — поскольку я объективирую их — потеряли характер непосредственной субъективности. **Из акта они стали фактом**. Строго говоря, я могу объективировать лишь свои прошлые состояния, след моего «я», хотя бы прошлые состояния были отделены от настоящего долей секунды. Мое «я», мало того, и мое внимание неуловимы для меня, ибо они не суть «предметы», но орудия познания, не поддающиеся объективации.

Достоверность самосознания, из которой исходит даже субъективный идеализм, не есть еще достоверность той самости, которая обнаруживает себя в сознании.

Это значит, что познавательный путь к «я» более сложен, чем **простая ссылка на достоверность самосознания**. «Путь от сознания к «я» не короче пути от сознания к внешнему объекту» (Эдуард Гартман).

Таким образом, тезис о непосредственной само-давности «я», как реальности, оказывается, при ближайшем рассмотрении, своего рода «идолом внутреннего

восприятия», глубоко вложенным в нас самой природой, но отнюдь не выражением мнимо «самоочевидной» истины.

«Я» не дано и не может быть дано в форме объекта, «предмета», ибо оно есть субъект. Пытаясь поймать свое «я», мы схватываем лишь следы, лишь тени этого неуловимого «я». «Глаз не видит тебя, ибо ты — зрачок моих глаз» — читаем мы в индусских Упанишадах.

И, всё же, «я» есть нечто не только очевидное, но и самоочевидное, не только данное, но и само-данное. Мы, во всяком случае, не можем отмыслить своего «я». «Суждение: «я мыслю» должно постоянно сопровождать все мои представления» — говорит Кант.

В этом — основной парадокс, основная антиномия самосознания.

Но прежде, чем приступить к попытке ее решения, мы должны сказать несколько слов об одной ложной попытке разрубить Гордиев узел самосознания — путем отрицания «я». Необъяснимость чистого «я», гипотетичность его бытия, как субстанции психической жизни, привела в свое время Юма к отрицанию реальности «я», к сведению его наиболее устойчивой, почти нерасторжимой связи представлений. От Локка и Юма и берет свое начало т. наз. «психология без души», без «я», получившая полное господство в 19 веке и влиятельная, в модернизированной форме, и по сей час. Предоставим слово самому Юму: «Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим «я», я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию — тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никак не могу поймать свое «я» отдельно от перцепций». И далее: «Дух — нечто вроде театра, в котором друг за другом выступают различные перцепции: они проходят, возвращаются, исчезают и смешиваются друг с другом в бесконечно-различных сочетаниях. Собственно говоря, в духе нет пустоты в любой данный момент и нет тождества в различные моменты, как бы ни велика была наша естественная склонность воображать себе подобную пустоту или подобное тождество».

Как бы ни относиться к этим утверждениям, Юм остается правым в одном: «я» неуловимо психологическими средствами. Антирезисс формулированной выше антиномии самосознания («я» — само-данность и, в то же время, «я» неуловимо) выражен Юмом с достаточной убедительностью. Доведенный до своего логического предела, этот антирезисс (отрицание бытия «я») приводит, однако, к абсурду — к паниллюзионизму, — который есть уже род отрицательной метафизики, отрицающей самое понятие «бытия».

Красочное описание тех выводов, которые получаются из отрицания «я», дано Фихте в его «Назначении человека». «Я отнюдь не имею права говорить: я ощущаю, созерцаю, мыслю. Я могу только сказать: является мысль о том, что я ощущаю, созерцаю, мыслю. Я ни в чем не знаю бытия, не знаю и своего собственного бытия. Нет бытия. Существуют образы, это единственное, что существует. Они знают о себе как образы, которые проносятся мимо, хотя нет ничего, перед чем они носились бы. Я сам — один из этих образов; Впрочем, я даже не это, а только смутный образ образа. Всякая реальность превращается в странную грезу без жизни, о которой грезится, в грезе, сопутствуемую грезой о самой себе».

Отрицание «я» приводит к парадоксу представления без представляющего, мысли без мыслящего. Оно вступает в противоречие с аксиомой самосознания — неотмыслимостью «я», которое должно все-таки полагаться как то, что представляет себе представление без представляющего. Но этим самым «гносеология без «я» (каковой является радикальный эмпиризм в отношении внутреннего опыта — см., напр., статью В. Джемса «Существует ли сознание») отменяет, уничтожает самое себя.



Итак, ни тезис самосознания — непосредственная данность «я», ни антирезисс — отрицание «я» не оправдывают самих себя, поскольку им было преждевременно придано метафизическое значение, то-есть, поскольку мы пытались утверж-

дать или отрицать реальность «я», данного в самосознании.

Однако, эта антиномия самосознания сохраняет свое значение, поскольку мы остаемся в рамках феноменологии самосознания. Ибо «я», действительно, не дано в самосознании как объект, а с другой стороны, оно несомненно наличествует в самосознании как субъект. Нет ничего более интимно-близкого, и в то же время более загадочного, чем «я». «Я» одновременно и имманентно (тезис), и трансцендентно (антитезис) сознанию. «Бытие «я» настолько же непосредственно достоверно, насколько непонятно» (Ясперс). «Достоверность «я» может совмещаться с глубочайшим незнанием сущности «я» (Н. Гартман). «Я» как искомое самосознания, как моя собственная личность трансцендентно сознанию» (Штерн).

Как видно из этих цитат, лучшие представители современной философии свободны от гносеологического оптимизма Декарта, оставшегося наивным реалистом в области самосознания.

Сознание трансцендентности собственного «я» сознанию все более укореняется в современной философии. Суммируя, можно сказать, что в предварительных результатах нашего исследования мы приблизились скорее к гавани Канта, учение которого в корне подрывает правомерность отождествления внутреннего восприятия с «я». Согласно учению Канта, «я», как «вещь в себе», как ноумен, непознаваемо: я сам — являюсь — себе; правда, не в пространстве, а во времени, которое есть «чистое наглядное воззрение» внутреннего чувства. Однако, это приближение к Канту — лишь этап на пути нашего исследования. В дальнейшем, как будет видно, наши пути разойдутся с путями Канта.

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ «Я»

Признание трансцендентности «я» является единственным разрешением отмеченной выше основной антиномии самосознания. Ибо если «я» не есть предметная данность, если оно неуловимо, необъективируемо и все же несомненно существует, то это может лишь означать, что «я» не может быть понято как только составной член сознания, что оно трансцендентно. «Я» отличается от души, от сознания именно тем, что оно «имеет» душу и сознание. С другой стороны, сознание есть все же «мое сознание». Трансцендентность «я» не может быть абсолютной, иначе мы не имели бы непосредственного ощущения своего «я».

Это значит, что «я» трансцендентно сознанию, но сознание имманентно «я». В свете этого синтеза, тезис (непосредственная данность «я») и антитезис (его неуловимость, необъективируемость) находят свое место как сохраненные но, в своей исключительности, отмененные моменты.

Что же дает нам этот синтез для самопознания? — Прежде всего, осознание тщетности всех попыток познать свое «я» путем опредмечивающей рефлексии. Мало того, оно дает осознание метапсихичности «я». «Я» не есть предмет психологии, но субъект бытия!

Кроме того, лишь трансцендентность «я» обосновывает тождество самосознаний. Это единство и означает приуроченность всех психических функций к единому «я». «Я» несводимо к психическим функциям, ибо оно есть, по крайней мере, носитель этих функций.

Нас могут спросить, почему мы так убеждены в единстве самого «я», в его само-тождестве, являющемся молчаливой предпосылкой возможности единства душевной жизни? — Этот «коварный» вопрос, разрушительный по своей кажущейся безответственности для эмпирического, психологического, во времени текущего «я», неприменим, однако, для «я» трансцендентного, о котором у нас и идет речь.

Непредвзятый анализ душевной жизни убеждает нас в том, что единство душевной жизни только и может держаться на само-тождестве «я», как чего-то устойчивого в потоке переживаний. В особенности явление памяти невозможно понять без признания пункта тождества между настоящим и прошлым. Ибо об-

разы памяти со-отнесены со мной, вспоминающим эти образы, вот сейчас, в настоящий момент. Для того, чтобы иметь возможность вспоминать, мое «я» должно стоять над текущим во времени потоком душевной жизни, иначе образы прошлого канули бы в небытие, каковым и является прошлое с чувственно-эмпирической точки зрения.

Тезис о метапсихичности, трансцендентности «я», вероятно, вызовет протест у многих лиц, живо ощущающих живую конкретность «я». — Наша конкретная личность протестует против неестественного отрыва «я» от живого потока душевной жизни. В самом деле, если душевная жизнь, лишенная «я», лишается и своего единства, то, наоборот, «я», взятое в отрыве от душевной жизни, раздетое от душевного покрова, кажется неестественной, безжизненной, абстракцией. Наша личность протестует против признания этого бледного, призрачного «я» за самое себя!

Однако, мысленное различение не есть реальное отделение. «Я» существует в неразрывной связи со «своей» жизнью, но как притяжательное местоимение «свой» нужно отличать от личного местоимения «я», так в конкретном содержании нашей личности необходимо отличать реальные и идеальные моменты. Трансцендентное «я» не есть живой поток сознания, но есть его носитель и источник. — Этот живой поток сознания вне «я» стал бы не меньшей абстракцией, чем «я» без потока.

Мало того, эта трансцендентность, метапсихичность, над-временность «я» является условием возможности самосознания и самопознания. Если бы «я» было всецело имманентным, чисто-психическим, временным, то оно не могло бы осознавать себя как «я». Мало того, в таком случае, *самая идея «я» не могла бы возникнуть*, так как самосознание предполагает возвышение над самим собой, самообъективацию.

Но, в то же время, несомненно, что «я» не только трансцендентно, но и имманентно; точнее, сознание имманентно «я». Это значит, что «я» не есть отвлеченная, безвременная идея, наподобие идей математических, но есть существо, *самость*. «Я» трансцендентное обычно отождествляет себя с «я» эмпирическим. Вечный созерцатель во мне не может оставаться индифферентным к страданиям и борениям моего эмпирического «я».

Иначе говоря, воздержание от суждений о роде бытия «я» может быть лишь методологически-предварительным. «Я» во всяком случае есть *бытие*, притом первичное, единственно-безвопросное бытие. В этом Декарт остается правым. Вопрос может заключаться лишь в том, какого рода бытием обладает «я». Предварительный анализ самосознания показал, что «я» не есть предмет, что сущность «я» не исчерпывается его актами, что «я» — метапсихично. И мы вправе спросить себя вместе с Паскалем: *«Где же мое «я», если оно не находится ни в душе, ни в теле?»*

«Я» КАК ПРЕДМЕТ МИСТИЧЕСКОЙ ИНТУИЦИИ

Осознание трансцендентности «я» менее всего означает, что «я» не дано в самосознании. Оно дано непосредственно, интуитивно, самолично, в этом Декарт остается правым. Однако, мое «я» дано мне иным образом, чем мои собственные душевные акты и состояния (которые могут быть все же объективированы). Мое «я» не только дано, но и само-дано. Оно само-дано нечувственным, но и не рациональным образом. Оно дано в интуиции особого рода, которую проф. Н. Лосский называет «мистической интуицией». «Я» невыразимо ни в каком отвлеченном понятии, ни даже в их неопределенной сумме. По выражению проф. Лосского, «я» — «металогично».

Некоторые философы, учитывая своеобразие «я» как носителя душевных актов, отличного от их содержания, видят в нем лишь непротаявленную, «слепую» точку. Дриш, напр., считает в этом смысле самопознание возможным. Однако, согласно Дришу, самопознание сводится к тавтологии: «я» есмь «я». На это надо возразить, что «я», действительно, является слепой точкой, с чувственной точки

зрения, но не в своей самосутности. Учение Канта о «трансцендентальном единстве апперцепций», т. е. самосознания, также учитывает отличность «я» от душевных актов, равно как и от априорных категорий. Однако, Кант видит в этом «трансцендентальном» принципе не конкретное существо, а лишь высший закон сочетания явлений (внутренней жизни) в целое сознания. Иными словами, Кант приписывает «я» атрибуты отвлеченно-идеального бытия, в то время как «я» есть бытие **конкретно-идеальное**.

Гуссерль приближается в своей трактовке «я» к Канту. В нашем же понимании трансцендентное, точнее, трансцендентно-имманентное «я» есть конкретное, индивидуальное существо, возвышающееся над собственной психофизической личностью.

Трансцендентное «я», «субстанциональный деятель», в своем самобытии, индивидуально-неповторим. Говоря религиозно, каждое «я» является носителем своей идеальной сущности, как «замысла Божьего о себе». Следовательно, нельзя сказать, как это утверждает Гуссерль, что существует единое трансцендентное «я», все же индивидуальные «я» суть лишь психофизические модификации этого чистого «я», вернее, по Гуссерлю, «я-тождности» («Ichheit»). — Существует множество трансцендентных «я», являющихся носителями **общих** универсальных категорий — пространственности, временности и пр.

Понятие «я», выражаясь в терминах логики, принадлежит к **конкретным идеальным** понятиям, в отличие от конкретно-общих (напр., понятие класса), или абстрактно-общих (понятие закона), или конкретно-индивидуальных (события).

Следует отметить, что очень немногие обладают мистической интуицией собственного «я», как такового. Психологически говоря, развитие интуиции собственного «я» предполагает особое душевное обстояние, некоторую степень возвышения в ощущении души. Высокая степень интуиции высшего «я» достигнута в индуистской религиозной философии, где «трансцензус во-внутрь» полагается за первое условие самопознания. В противоположность индуистскому, созерцательно-му самопознанию, христианское самопознание носит более действительный характер. Оно тесно связано с победой над грехом, с самопреодолением, а не самоотрешенностью.



Итак, «я» отличается от души, от сознания именно тем, что оно «имеет» душу и сознание, обладает ими, будучи им трансцендентно. В свете этого познания, становится вполне понятным, что большинство психологов отрицает субстанциональность души, признавая наличие лишь психических процессов. Субстанционально, самоотжественно лишь «я», неуловимое для психологии, поскольку научная психология стремится объективировать душевные процессы, «я» же, по своей природе, необъективируемо. И все же «я» остается неизбежным, хотя и неуловимым фоном психологии. Поэтому, в качестве предельного понятия, оно не должно было бы отрицаться даже научной психологией.

Трансцендентность «я» обычно не создается нами, так как, в интересах борьбы за существование, сознание, преимущественно, **экстравертировано**, — направлено на ориентацию во внешнем мире. Обычно под «я» мы разумеем совокупность постоянных свойств нашего характера, отличая их от преходящих влечений и состояний. Это «повседневное» «я» можно назвать эмпирическим, опытным «я», отличая его от трансцендентного, точнее, трансцендентального, подлинного «я». В этом смысле можно истолковать различие, проводимое Вильямом Джемсом между социальным «я» — („ME“) и собственным «я» — („I“). Нетрудно, однако, показать, что социальное «я» является **лишь псевдо-я** (Schein-ich), «персональной», если употреблять этот последний термин в смысле Юнга. Но большинство людей лишь путем глубоких потрясений осознает, что их подлинное «я» глубже социального. Про человека, утратившего способность интимного самосознания, мы говорим иногда, что он «потерял» свое «я». В драмах Пиранделло даны замечательные образцы утраты человеком своего «я», когда человек, надевающийся

различные социальные маски, уже не знает, какая из этих масок является его подлинным лицом.

С другой стороны, самоанализ, т. е. интравертированная функция души, также не дает подлинного самопознания, ибо самоанализ ничего не творит, в нем душа разлагается аналитическим рассудком на разрозненные элементы, — «комплексы». Марсель Пруст в своем романе «В поисках за утраченным временем» дал яркие иллюстрации разложения «я» в образах памяти, путем ложного, самоанализирующего самоуглубления.

Это лишний раз показывает, что «я» постижимо не путем объективизации, а каким-то другим, более глубоким образом. Я не есть ни факт, ни акт, ни идея. «Я» одновременно и идеально, то есть, стоит над временным потоком, и реально, ибо оно проявляет себя в душевной жизни. В «я» есть нечто от идеи и нечто от психического акта. Это бытийственное своеобразие «я» ставит вопрос о роде его бытия.

РОД БЫТИЯ «Я»

Выражение «род бытия» требует некоторого разъяснения. Каждой вещи, каждому объекту присущ свой собственный, определенный способ существования. Так, геометрическая фигура есть аспект отвлеченно-идельного бытия (с точки зрения эмпириков, она есть абстракция), фантазия сумасшедшего есть плод его воображения, краски, звуки суть «качества», камень есть материальный предмет, представления суть элементы психики и т. д. Какой же способ существования присущ «я»? Об отрицательных определениях мы уже говорили: «я» нематериально, непсихично, надвременно. Оно не есть ни факт, ни акт, ни отвлеченная идея. Однако, все эти определения — отрицательны. Они указывают, чем «я» не является, но не показывают, что оно такое. Положительное же определение «я» составляет одну из труднейших задач философии.

Предварительно можно определить «я» как сферу творческих возможностей, точнее, как носителя интенциональных психических актов (интенциональность означает направленность сознания на некий объект). «Я» есть как бы тот **непротяженный фокус**, через который «мои» психические акты и направленности, настоящие и прошлые, объединены, координированы друг с другом. Эту «слепую точку» психических актов и состояний необходимо мыслить сверхвременной, иначе не было бы возможным такое основное свойство психики, как память.

Однако, это определение дает понятие лишь о статической стороне «я». Динамические же определения «я» могут быть найдены через феноменологический анализ душевных актов, ибо природа «я» ярче всего выражается в совершаемых актах, которыми, однако, «я» не исчерпывается, в силу своей сверхвременности. Тут нужно различать между душевными процессами, протекающими более или менее **автоматически** и лишь осознаваемыми мною, и актами в собственном смысле слова, т. е. **направленностью** «апперцепции» на те или иные предметы, события, ценности. Акт, вытекающий из направленности моего «я», **не только может «осознаваться» мною, но «совершается» мною**. Непосредственное самонаблюдение удостоверяет нас в том, что «я» **есть творческий источник совершаемых мной актов, — и переживатель и сознатель «данных мне» психических состояний**. Динамическую природу «я» можно, поэтому, определить, как сферу творческих возможностей — как сферу **свободы**. Мы называем акт свободным тогда, когда он вытекает из нашей собственной сущности, то-есть из нашего «я». Способ существования, род бытия «я» можно обозначить как то, что переживается нами как **свобода**. Свобода неразрывно связана с «я», она составляет его природу, его стихию, его **сущность**. Ничто предметное, объективируемое не может быть названо вполне свободным. Свобода присуща лишь сфере радикальной субъективности, то есть — «я». «Дух дышит свободой». Но дух и есть трансцендентное «я»! Таким образом, непосредственное свидетельство самосознания о свободе не обманывает нас. Однако, свободно лишь наше подлинное, трансцендентальное «я». Эмпирическое же «я», обросшее корой привычек, постоянно ограничиваемое в своей свободе внешними условиями, никогда не может быть

вполне свободным. Поэтому всякая реализация первозданной свободы «я» всегда связана с ущерблением этой свободы — ущерблением, но не отменой, ибо свобода не была бы свободой, если бы она была нереализуема. Итак, перефразируя слова Спинозы, мы можем сказать: „Sentimus experimusque nos liberos esse“. («Чувствую и знаю, что мы свободны»).

Трансцендентность «я» по отношению к психике означает его первичную **отрешенность** от потока душевной жизни, то-есть, его свободу. Если бы «я» исчерпывалось сполна психическими определениями, т. е., не было бы трансцендентным; оно не было бы свободным. Трансцендентность «я» означает, что оно принципиально свободно от чего бы то ни было в мире. Наше «я» — **«не от мира сего»**. Поэтому, пытаясь мыслить «я» в привычных, «мирских» категориях, мы наталкиваемся на пустоту, «мэон». Но именно по отношению к «я» более всего оправданы слова Фауста: «В твоём Ничто я Все найти надеюсь». Будучи принципом единства психики, «я» способно давать то или иное направление потоку душевной жизни, сообщать ему тот или иной смысл или ценность. Проблема «я» неразрывно связана с проблемой свободы, ибо что же иное является субъектом свободы, как не «я»? Можно даже сказать, что лишь та философия имеет право исповедывать свободу, которая признает своеобразную реальность «я».

Понятие свободы можно употреблять в двух основных значениях: в смысле отрицательной свободы «от» чего-либо, чаще всего от причинной связи, и в положительном смысле свободы — «для», то есть, свободы в смысле ее положительной ценности. Это последнее, положительное понятие свободы составляет одну из труднейших задач философии.

Что касается отрицательной свободы, то уже утверждение «я» как не только мета-физического, но и мета-психического бытия содержит в себе и утверждение отрицательной свободы. Если «я» нематериально, то к нему неприменимы законы материального мира, и в этом смысле «я» свободно от материальности. Если «я» метапсихично, то к нему неприменимы и законы психики, в том числе законы «психической причинности».

Но отрицательное понятие свободы бессодержательно. Никто не удовлетворится считать себя свободным на том основании, что ядро его личности — метапсихично, если в конкретной жизни проявления нашего «я» подчинены законам материальной и психической причинности. Свобода тогда лишь наполняется положительным содержанием, когда «я» способно не только отрешаться от психики, но и руководить психической жизнью, притом руководить осмысленно, целенаправленно и ценно-сообразно. Свобода в смысле абсолютного произвола не есть еще свобода. Если б, она была возможна, она сделала бы личность рабой ее собственных иррациональных капризов. Если бы «я» было источником внезапных капризов, нарушающих причинную связь событий, то эта свобода была бы абсолютно иррациональна; в качестве таковой, она не могла бы быть предметом философского анализа и не имела бы нравственной ценности.

Непосредственное самонаблюдение показывает нам, что «я» бывает большею частью рабом стихийных, подсознательных влечений, рабом «Оно», но что, в то же время, «я» способно **задерживать** те или иные влечения, давать им то или иное **направление, «сублимировать» влечения**. Личность обладает изумительным свойством противопоставлять себя не только окружающему миру, но и самой себе. В «я» находится многое такое, что не является, строго говоря, **моим**. Человеческая личность есть сложное многоединство различных «автономных комплексов», — «суб-я». Эти «суб-я» часто настолько тесно трослись с моим собственным «я», что нужно духовное самоопределение, чтобы отличить «мое собственное», от «данного изнутри мне». Это отличие «я» от «данного изнутри мне» невозможно путем опредмечивающей рефлексии, оно осуществимо лишь в акте духовно-нравственного самоопределения. Только тогда чисто философское отличие трансцендентного «я» от эмпирического «я» становится не только философской тонкостью, но духовной реальностью. И положительная свобода достигается как раз в том, что трансцендентное «я» овладевает, покоряет себе эмпирическое «я».

Способность «я» проявлять свою положительную свободу обнаруживается прежде всего в том, что в психологии называется «установкой» (в средневековой философии был лучший термин: «интенцию аними» — «устремление духа»). «Я» проявляет свою положительную свободу в занятии определенной установки. Эта трансцендентная установка отличается от психологической апперцепции тем, что она направлена не только на ожидание определенных событий плюс готовность определенным образом реагировать на них; она направлена на **ценности**. Каждая личность имеет свою определенную иерархию ценностей, которой она руководится в своем поведении. При этом «я» не творит ценностей, но совершает субъективную выборку из объективно-сущей иерархии ценностей.

Выбор определенной ценности в качестве руководящей, иначе говоря, **акта решения** есть именно тот, высший род активности, в котором в наиболее чистом виде проявляется природа самого «я». Всё дальнейшее поведение личности представляет собой следствие этой первичной оценки, этого **первичного выбора ценности**. Совершенный мной «я» акт выбора руководящей ценности **влечет за собой не один «атомический» поступок, а целую серию поступков**, в которой каждое звено цепи психической причинности вытекает одно из другого.

Это и есть та «причинность из свободы», начинающая новый ряд поступков, которую имел в виду Кант.

Такого рода «трансцендентальная» свобода отнюдь не нарушает эмпирической причинности, но пользуется ей, как материалом для своего воплощения. Воспользуемся для ясности изложения метафорой. Представим себе различные влечения души в форме обладающих большой инерцией шариков, сталкивающихся и сцепляющихся друг с другом на плоскости. Движения этих шариков подчинены их собственной закономерности. Но если я поверну плоскость под определенным углом, притом не на авось, а по расчету, то изменится и характер движения этих шариков, отнюдь не нарушая физических законов. Совершаемый «я» акт первичной установки, первичного выбора, будет подобен этому повороту всей плоскости под определенным углом, что изменит и направление движения шариков. «Я» при этом вовсе не должно ежеминутно вмешиваться в ход движения шариков, чтобы заставить их произвести определенную желаемую комбинацию. Для этого достаточно повернуть определенным, строго рассчитанным образом самую плоскость. Конечно, «я» — не математик, беспристрастно производящий расчеты, но «я» в своем устремлении к тем или иным ценностям совершает своего рода «ценностный расчет», руководясь «логикой сердца». Во всяком случае, с точки зрения двухмерного наблюдателя, находящегося на плоскости и не могущего заметить по причине своей двухмерности совершенный поворот, не произойдет никакого **единичного нарушения** законов причинности. Тем не менее, всё направление душевной жизни изменится. Психологи, отрицающие самобытность «я», подобны таким двухмерным наблюдателям на плоскости, отрицающим и свободу. Ибо для того, чтобы заметить поворот, нужно быть **трехмерным существом и обозреть всю плоскость**. Наше «я» подобно трехмерному деятелю, которое из глубины совершает акты поворота плоскости (душевных процессов), меняющие всю конфигурацию «шариков», причем нашему «я» вовсе не нужно толкать то один, то другой шарик. Все чисто психологические объяснения, перемены поведения никогда не могут дать удовлетворяющего разум и совесть основания. И святой, и преступник, с точки зрения психического детерминиста, одинаково подчинены законам психической причинности. Но с точки зрения трехмерного наблюдателя удовлетворяющим объяснением будет именно поворот всей плоскости, изменяющий весь ход движения шариков-комплексов. Поэтому для психического детерминиста (находящегося на плоскости) не будет ни «начал», ни «концов» — будет только единый процесс.

Искать же объяснений перемены в законосообразности движений шариков в пределах самой плоскости — тщетное занятие; для этого нужно выйти в третье измерение.

Подобно этому, если, совершив непоправимый поступок, мы пытаемся затем,

в минуты позднего раскаяния, осознать первопричину этого поступка, — мы никогда не найдем исчерпывающего объяснения в предшествующих поступку обстоятельствах и переживаниях: все это будет лишь частью причины. Генетическое объяснение никогда не даст окончательной причины. Первопричину нужно искать в **выборе ложной ценности**, определившем мою новую установку, а тем самым и сам поступок. Этот выбор ценности есть род **непричинной детерминации**, род «причинности из свободы» (сравнимый с поворотом плоскости трехмерным деятелем — нашим «я»). **Этот акт трансцендентного выбора происходит вне времени, хотя он проецируется в душу и переживается ей в определенные промежутки времени.**

Если руководиться в самопознании вопросом: «почему я это сделал», то мы никогда не найдем удовлетворяющего нашу совесть объяснения. Угрызения совести в этом случае могут быть лишь заглушаемы «извиняющими обстоятельствами». Существенным является вопрос: ради чего, то-есть, ради какой ложной ценности и вызванных ей соответствующих душевных побуждений совершен был данный поступок. Причинный ряд не дает достаточного основания поступкам. Понять душевную жизнь можно лишь через те ценности, на которые она установлена, которые, так сказать, были вобраны в душу. Душевная жизнь может быть понята под знаком категории «ценносообразности». Даже телеологическое объяснение, само по себе, не дает достаточного основания. Ибо ценность первичнее цели — мы выбираем цель ради ее ценности.

Но наше «я» именно потому имеет непосредственное отношение к миру ценностей, что оно свободно. Несвободное существо не могло бы обладать способностью оценки как выбора ценности. Оно могло бы лишь переживать свои внутренние состояния, как субъективные удовольствия или неудовольствия. Оно было бы вынуждено предшествующим причинным рядом «выбирать» те или иные ценности, но тогда от идеи выбора остались бы рожки да ножки.

Итак, непосредственное отношение «я» к миру ценностей иллюстрирует лишь один раз первозданную свободу «я».

«Я», НИЧТО И АБСОЛЮТНОЕ

Здесь поневоле возникает вопрос: не является ли «я» Абсолютным? Ведь оно «отрешено», «трансцендентно», «метапсихично», сверхвременно; оно — «не от мира сего»; оно есть сфера творческих возможностей. Оно есть «для себя бытие» — оно обладает самобытием, в то время как все явления в мире существуют относительно друг друга.

Однако, является ли «я» основанием самого себя? — Очевидно, нет, ибо, в таком случае, оно было бы Абсолютным с большой буквы, оно было бы всемогущим Богом. Ибо, при всей своей трансцендентности, «я» непосредственно ощущает себя, как существо тварное. Откуда «я»? «Унде сум?»

Но, будучи я столь чудесен,
Отколе произошел? — Безвестен!
А сам собой я быть не мог...

Державин.

Очевидно, что «я» дан сам себе. Мало того, эта само-данность есть существенное определение самости. — **«Я» существую «для себя», но не «от себя» («а се»).** Но что же является основанием моей самости? Этим основанием не может быть ничто в мире, ибо я — трансцендентно, оно — «не от мира сего». Но это значит, что фоном бытия самости является Ничто! «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал...» (Пушкин). Эта поставленность самости обнаруживает себя эмоционально как ужас. Недаром Кьеркегор говорил, что «предмет ужаса есть Ничто», и недаром Гейдеггер ставит проблему Ничто на анализе ужаса, предметом которого является Ничто. Перед лицом страха смерти, — если мы не всецело загипнотизированы этим страхом, — мы яснее всего сознаем самих

себя. Перед лицом Ничто самость чувствует свою **чуждость** миру, свою **вброшенность** в мир. «В ужасе бытие испытывает свою собственную необоснованность, свою полную зависимость от за ним стоящего «Оно», — от «бросателя», которому оно обязано своей «брошенностью». Ужас ставит существование на край пропасти, из которой оно произошло — лицом к лицу с «Ничто». (Гейдеггер, «Бытие и время»).

Но, с другой стороны, здравый смысл говорит нам, что Ничто не может быть основанием самости, ибо таким основанием может быть лишь **сущее**. Ничто есть фон бытия самости, а не его основание. И здесь наша мысль снова возвращается к Декарту, для которого «врожденная» идея самосознания неразрывно связана с идеей Бога. Ибо, если «я» дан сам себе, как существо **абсолютopodobное** (термин В. В. Вышеславцева), но отнюдь не Абсолютное, то это значит, что мое абсолютподобное «я» сотворено подлинным Абсолютным — Господом Богом. Если мое подлинное, трансцендентное «я» — «не от мира сего» и все же есть начало **тварное**, то это значит, что **самость предстоит Богу**. По учению апофатического, отрицательного богословия, Бог постигается через его непостижение, через отрицание за Абсолютным всего относительного. Стояние «я» перед лицом Ничто приобретает, таким образом, смысл как предварение встречи с абсолютно-трансцендентным, — с Богом. **Предел самопознания заключается в сознании своей зависимости от Абсолюта, своей тварности, — но и своей интимной связи с Ним**. Мы ощущаем себя тварными перед лицом Бога-Отца, и мы приобщаемся Богу через Христа, Сына Божия, Богочеловека. Поэтому молитва и исповедь являются лучшими путями самопознания, — именно потому, что в молитве мы стремимся раскрыть себя не ради себя, а ради Бога, и только перед лицом Господа Бога можем мы видеть самих себя в необманном свете Абсолютного. Недаром блаженный Августин говорил: «Если увижу Тебя, то увижу и себя».

Но постижение Абсолютного (и себя в свете Абсолютного) возможно в силу того, что в моей самости есть нечто от Абсолютного.

Waer's nicht das Auge sonnenhaft
Die Sonne koennt es wie erblicken?
laeg's nicht in uns des Gottes eigne Kraft
wie koennt uns Goettliches entzuecken?

(«Не будь у глаза общего с солнцем,
Как мог бы он увидеть солнце?
Не лежи в нас Божья сила,
Как могло бы нас восхищать Божественное?» — Гётте)

Та же идея о богоподобии человека выражена и в Священном Писании: «И сотворил Бог человека по образу Своему». — Подлинная сущность самости есть богоподобие, обладание образом Божиим в себе. Богоподобие, абсолютopodobие человека есть условие возможности мистического опыта, а самопознание, в его глубинности, составляет часть этого опыта.

Правда, осознание самостью своего абсолютподобия включает в себе соблазн самообожествления, если при этом личность не проникнута духом смирения перед подлинным Абсолютным. Парадокс христианства заключается в том, что оно раскрывает одновременно как истину о богоподобии человека, так и истину о его падении, о его ничтоподобии. Этот парадокс, неразрешимый рационально, разрешается откровением о **богосыновности** человека. Ибо человек сотворен Богом, но сотворен **по образу и подобию** Бога.

Таким образом, проблема самопознания, в своей последней глубине, обнаруживает себя как **религиозная проблема**.

Массовая психология

Настоящее исследование может быть намечено в ряде тезисов, из которых каждый нуждается в научной проверке, в указаниях литературы и в достижении более точной формулировки. Но вместе с тем эти тезисы составляют план работы, намечают пути исследования.

I. СОЦИОЛОГИЯ И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Социология — очень молодая наука. Бесполезно спорить о том, наука ли она. Важно, что существует сфера социального опыта, социальных потрясений, социальных экспериментов. Последние обычно мало приятны, но кто не желает пассивно подвергаться экспериментам, тот сам должен участвовать в экспериментировании и понимать его законы. Социальная активность, ее понимание, ее искусство требует многих знаний. Право, мораль, хозяйство, религия, — все эти сферы должны быть в какой-то степени понятны и доступны каждому обществу. Но прежде всего и больше всего он должен обладать так называемым «знанием человека», знанием человеческого характера, иначе говоря — знанием психологии. Современная социология прекрасно понимает, что без психологии она просто невозможна, и притом она нуждается не в старой психологии изолированного индивида, но в **психологии коллективной**.

Нужно признать однако, что социологи все еще пользуются психологией весьма устаревшей, преимущественно психологией **индивидуального сознания**, думая из атомистического взаимодействия индивидов построить и понять сознание коллективное. Но современные психологические открытия в сфере бессознательного меняют все наше знание о человеке: всю антропологию и всю социологию. Многие современные социологи поняли, что коллективное сознание нельзя понять из взаимодействия сознательных индивидов, ибо здесь целое первее части (это утверждается с большой силой напр. О. Шпанном), но никто еще не пришел к заключению, что коллективное сознание нельзя понять без **коллективно-бессознательного**, в котором оно укоренено, в которое оно погружено, которым оно непрерывно питается.

При помощи этих двух пар противоположностей: **личности**, как единства **индивидуально-сознательного** и **индивидуального подсознания**, с одной стороны, и **социального целого**, как единства **коллективного сознания** и **коллективно-бессознательного**, с другой стороны, — современная аналитическая психология совершенно по новому решает все вопросы социологии и переворачивает все ее здание. Прежде всего она утверждает, что социальное целое в полноте своей жизни и истории **вовсе не есть только коллективная жизнь**, — так утверждают лишь коллективисты, напр., коммунизм, марксизм, и пр. Социальное целое есть на самом деле единство взаимно проникающих противоположностей индивидуального и коллективного, причем эти противоположности **равноценны и равноправны**. Их равноправие не позволяет такого упрощенного понимания «части и целого», при котором коллектив, как целое, всецело объемлет и содержит в себе

личность, как часть. (это и есть точка зрения коллективизма). Дело в том, что личность никогда не соглашается быть только частью, она сама есть **целое своего рода**, в котором коллективная душа, сознательная и бессознательная, присутствует как его часть, ибо каждая личность несет в себе и содержит весь коллектив, с его сознательным и бессознательным, и содержит еще нечто другое: свою собственную индивидуальную душу. Индивидуация есть столь же ценный и столь же реальный процесс, как и «социализация» души, причем оба неразрывно связаны. Значение личности, как «микрокосмоса», монады, давно замеченное философами (Платоном, Лейбницем), хорошо известно аналитическому психологу.

2. ИНДИВИДУАЛИЗМ И УНИВЕРСАЛИЗМ

Основные контroversы (спорные вопросы) социологии с точки зрения новой психологии бессознательного ставятся и решаются теперь совсем иначе. Так, прежде всего, контroversа индивидуализма и универсализма, идущая через всю социальную философию от Гоббса до Отмара Шпанна. Тард, Зиммель и даже Макс Вебер понимают коллективное сознание по методу Гоббса, как взаимодействие сознательных индивидуумов, т. е. атомистически. Отмар Шпанн в наши дни с большим блеском развил противоположную точку зрения: целое первое своих частей, индивидуальное возникает и может быть понимаемо только из универсального. Для нас спор разрешается так: Отмар Шпанн прав, поскольку его универсализм указывает на существование коллективно-бессознательного, которое первое во времени и генетически, нежели всякое индивидуальное сознание. Существует огромная традиция в социальной философии, утверждающая эту линию мысли. Но, с другой стороны, мы должны признать, что существует процесс индивидуации, процесс образования индивидуального сознания, которое затем действительно вступает во взаимодействие с другим индивидуальным сознанием именно так, как это описано у социологов-индивидуалистов. Шпанн неправ в том, что не понимает реальности и ценности процесса индивидуации. Ошибка же индивидуалистов состоит только в том, что это **сознательное взаимодействие** они считают единственной социальной связью, соединяющей личность с личностью. На самом же деле одна живая личность связана с другой **четырьмя способами**. Во-первых, **коллективно-бессознательным**, в которое они обе погружены, как корабли погружены в единое море или растения в единую почву; второе, **коллективным сознанием** — общий язык, общие понятия, «всеобщие и необходимые суждения»; третье, **индивидуальными сознательными актами** взаимодействия — договоры, свободные союзы, обмен услуг, разделение труда. Обычно социология останавливается только на этой третьей связи живых личностей, едва касаясь второй, ибо она ей не по силам. Только немецкая философия, с ее понятием «духа», умеет еще схватить сущность этой связи, как связи Логоса.

Но третья связь есть связь личностей очень бедная и абстрактная, связь юридическая и экономическая. Существует еще **четвертая** и самая глубокая. Дело в том, что живая личность есть единство индивидуального сознания с индивидуальным-бессознательным и эти противоположности связаны некоторым центром, который называется «я сам», или «самость», как единство противоположностей, охватывающих целую личность (*Totalität der Persönlichkeit*). Причем этот таинственный центр, эта **самость** связана и с более глубокими противоположностями коллективно-бессознательного и коллективного сознания, которыми она по своему питается. И вот такая личность, во всей своей полноте (*Totalität*), может быть связана с другой личностью во всей ее полноте (сюда входит и особое взаимоотношение „animus" и „anima"); это будет глубочайшей интимной связью **самости с самостью** (self and self), которая называется **дружбой и любовью**. Последней связью социология обычно не занималась, хотя общественное значение ее огромно: достаточно сопоставить любовь, брак, семью, союз друзей и вспомнить о христианской любви, как о последнем и высшем соединении личностей.

3. ДВЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ: GEMEINSCHAFT, GESELLSCHAFT.

Существует еще одно фундаментальное противопоставление, проходящее через всю немецкую социальную философию и социологию. Оно чрезвычайно ценно, дает подлинное социальное знание и огромную перспективу для понимания настоящего и будущего. Это сформулированное у Тённиеса (Tönnies) противопоставление: „Gemeinschaft“ — „Gesellschaft“. Оно было воспринято и положено в основу его исследований величайшим немецким социологом Максом Вебером, оно влияло на общеизвестное противопоставление культуры и цивилизации; введенное русской философией истории и заимствованное Шпенглером. Наконец, оно продолжает жить и действовать и в современной Германии. Достаточно бросить взгляд на то, как социологи характеризуют эти две формы общения, чтобы тотчас увидеть, что истинный смысл этого фундаментального различения раскрывается только через современную аналитическую психологию, через ее противопоставления коллективно-бессознательного и коллективного сознания. В самом деле: „Gemeinschaft“ сравнивается с живым организмом: „Gesellschaft“ — с сконструированной машиной. Первая форма покоится на глубокой внутренней солидарности чувства, как она обнаруживается, например, в семье; вторая есть внешний легальный порядок, возникающий тогда, когда разделение собственности и расхождение интересов разъединили членов группы. Тённиес дает и психологическое обоснование этих двух форм общения. В основе той и другой лежат две формы человеческой воли. Он называет их „Wesenwille“, — „Kürwille“. „Kürwille“ есть сознательно избирающая воля, которая определяется рефлексией и исходит из абстрактно мыслимой цели, чтобы технически определить и избрать лучшее средство. Напротив, „Wesenwille“ есть воля глубинная, органическая, природная, выбирающая средства и цели спонтанно, интуитивно, в силу обычаев традиции, памяти. Тённиес должен был бы прямо сказать: **бессознательная воля, бессознательная** психическая энергия. Это психологическое противопоставление обосновывает всю социологическую теорию Тённиеса. Обе формы общения исторически необходимы, обе присутствуют вместе в той или другой степени; **переход от первой ко второй** определяет историческую эволюцию, которая однажды закончилась падением римской империи и которая повторяется теперь на наших глазах. Это есть переход от семейного начала, от жизни «патриархальной», с ее первобытным единством чувств (Gefühlsübereinstimmung) от жизни сельской, управляемой обычаем, наконец, от жизни города-полиса, в котором еще религия соединяет людей, — переход от всего этого к жизни новых больших городов, где свирепствует индивидуальная воля к власти и наживе и возникает политика, которая колеблется между требованием индивидуальной свободы, с одной стороны, и деспотизмом государства, с другой стороны.

Этот триумф «общества» („Gesellschaft“), несмотря на все его ценности, несет свои социальные опасности: все глубинные связи нарушены, народ умирает от гипертрофии города и коммерции. Сплоченность в пространстве (Zusammendrängtheit im Raume) разрывает единство во времени, разрывает традицию. Чрезмерное развитие духа уменьшает витальные силы. **Социализм**, борьба классов соответствует этой последней фазе «общества», которое утратило, растворило последние органические связи; остались только разъединенные индивидуумы, подчиненные только их собственному капризу — без совести, без веры, без традиции, без религии. Социализм есть одновременно симптом такой формы, такого состояния «общества» и вместе с тем требование **тоталитарной этической регламентации**. Люди «общества» — это те самые, которых Гоббс описал в своем Левиафане и которых Маркс соединил в своих классах.

Если к этой замечательной социологической характеристике применить открытия современной аналитической психологии, то мы тотчас поймем, что противопоставление общины и общества („Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“) точно соответствуют основному противопоставлению **коллективно-бессознательного**, с одной стороны, и **сознательного взаимодействия индивидуумов**, с другой стороны. „Ge-

meinschaft" есть общение, погруженное в коллективно-бессознательное, охраняемое его патриархальными архетипами, управляемое традицией, обычаями, живущее под властью мифов, символов, религии. „Gesellschaft“, напротив, предполагает дифференциацию сознательных Я (Ichbewusstsein), предполагает известную высоту процесса индивидуации. Это — поздняя форма общества, предполагающая уничтожение первобытного коммунизма. Еще русский крестьянин никогда не говорил «я», но всегда говорил о себе «мы». Бессознательный обычай уступает место сознательно сформулированной норме закона. Бессознательно органическое должно смениться сознательной организацией. «Сознательный пролетарий» нужен для марксизма и социализма.

Здесь совершается та последняя ставка на сознание, на ratio, в противоположность всему бессознательному, интуитивному, иррациональному, которая характеризует современную западно-европейскую и американскую культуру. Макс Вебер, наиболее философский из социологов, прекрасно показавший огромное влияние религиозных символов на социальную жизнь, даже на экономическую структуру общества, дал характеристику этой ставки на сознательность. Всё рационализировано: рационализирована экономика, рационализировано право, рационализирована бюрократическая машина государства, рационализирована даже религия в своей теологии. Всё построено по принципу сознательной целесообразности («zweckrational»), но вместе с тем мир потерял свое очарование («Zauber»), свои чары, — маги, мистики, философы более не нужны. Всё поведение человека рискует быть рационализированным и детерминированным. Он может задохнуться в этой тоталитарной детерминированности. Надо спасать личность, надо спасать свободу, ибо свобода есть индетерминизм, иррациональная свобода. Так ставит проблему Макс Вебер. При этом он не думает, что политическое или социальное движение может спасти личность, может превратить наше рабство в свободу. Эти выводы социального философа очень ценны с точки зрения аналитической психологии, но требуют утлубления и уточнения с точки зрения ее открытий.

Мы подошли к проблеме, которую может решить только аналитическая психология и только такая философия, которая на нее опирается. Проблема ставится так: правомерна ли ставка на сознание, и не является ли ставка на бессознательное столь же правомерной, или даже лучше. В области социальной психологии это означает: что ценнее — Gesellschaft или Gemeinschaft. Выбирая и делая ставку на сознание, мы выигрываем научное предвидение, рациональную технику и организацию, плановое хозяйство социализма, но зато теряем фантазию, миф, традицию, высокое символическое искусство, религию и мудрость. Здесь ставится проблема выбора и, следовательно, проблема ценности. Огромное количество социальных учений прямо отождествляло сознательно-рациональное со светом и прогрессом, а бессознательно-иррациональное с мраком и реакцией. Так думали от эпохи просвещения до Огюста Конта и до наших дней, так думает теперь марксизм всех видов. Но есть и огромная противоположная традиция. Сам Тённис явно симпатизирует «Gemeinschaft», а не «Gesellschaft» и, следовательно, склонен сделать ставку на мудрость коллективно-бессознательного. В современной Германии такое течение весьма influentно (Klages и др.).

Именно здесь аналитическая психология может сказать свое, и совершенно новое, слово. Она прежде всего говорит, что отождествление сознательности и рациональности с добром не верно, и есть вековой предрассудок. Сознание само по себе может быть «люциферическим», оно не есть ни добро, ни зло. Предрассудок «просвещения» и интеллектуализма должен быть устранен. Существует невыносимая и «убийственная» рационализация. С другой стороны, столь же не верно отождествление коллективно-бессознательного с ценным и мудрым. Коллективно-бессознательное само по себе лежит «по ту сторону добра и зла», заключая в себе все потенции; как семена мудрости, так и семена безумия. Действительная ценность появляется только там и только тогда, где и когда бессоз-

нательное сталкивается и вступает в некоторое особое сочетание с сознанием. В чем состоит это особое сочетание и как оно достигается — это и есть секрет и искусство аналитической психологии.

Как превратить антагонизм и конфликт между сознанием и бессознательным в гармонию противоположностей и в отношение взаимного восполнения (*«Komplementärverhältnis»*) — такова проблема аналитической психологии. Эта проблема есть вопрос жизни как для отдельной личности, так и для целых коллективов и наций, ибо психическое равновесие целой нации так же может быть нарушено, как и равновесие индивида. Здесь аналитическая психология должна показать свою мощь: **психоанализ наций**, коллектива столь же необходимым и возможен, как и психоанализ отдельного индивида. Не трудно, например, указать на социальную опасность погружения коллектива в бессознательное. Примером социального строя, обусловленного бессознательной традицией, может служить **Индия с ее кастами**. Но возможен еще и другой внезапный регресс к архаическим формам общения, встающим из коллективно-бессознательного, какой мы видим в современных диктатурах (напр., «назад к Вотану»). Противоположный пример беспощадной рационализации общества, ставки на «сознательного пролетария», на так называемый «научный социализм» мы имеем в **советской России**. Здесь коллективно-бессознательное как бы хотят ампутировать; всякая связь с ним как бы прерывается. Фантазия, миф, символ, религия уничтожаются. Но психической хирургии, как известно, не существует. Коллективное бессознательное мстит жестоко. И чем сильнее подавление коллективно-бессознательного, тем упорнее его бессознательный саботаж.

Наконец, если бы нужно было привести пример нации, которая поняла необходимость равновесия этих противоположностей, необходимость взаимного восполнения сознания и бессознательного, то это **Англия**, англосаксонская культура. Только так можно понять эту необычайную привязанность к традиции, патриархальности, к старым символам, к религии, к обычаю — и вместе с тем веру в прогресс, стремление максимально рационализировать и упорядочить все сферы жизни, ввести всюду сознательную целесообразность. С одной стороны — патриархальная наследственная монархия, с ее пышной символикой коронаций; — с другой стороны — сознательно рациональная организация парламента и министерств, сознательное устранение всего, что в традиционализме является регрессивным, угрожающим сознательно-свободной организации общества. Англия являет собой поразительный синтез *„Gemeinschaft“* и *Gesellschaft* — коллективно-бессознательного с коллективно осознанной и организованной свободой. Мы взяли три ярких примера, но этот психоанализ может и должен быть выполнен по отношению ко всякой нации. Он представляет однако лишь простейший исходный пункт подобного исследования.

4. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ.

Современная социология уже чувствует, что она не может обойтись без психологии, но по существу она не умеет ею пользоваться и не знает, какая психология ей нужна. Еще Огюст Конт вовсе отрицал психологию. Социология все еще остается или юридической, или экономической социологией. Она не берет всего человека, а берет лишь абстракцию, — или субъекта права, юридического субъекта, или «экономического человека» (*homo oeconomicus*) с необычайным упрощением его психологии, какое мы находим у Гоббса, английских экономистов и Маркса. Вот пример бессилия, экономической социологии решить актуальнейшую проблему современного социального кризиса. Основная идея Дюркгейма в его знаменитой и влиятельнейшей *«Division du Travail social»* состоит в следующем. Он спрашивает: должны ли мы уступать или нет непрерывно возрастающему в своем действии принципу разделения труда, этой тенденции

к специализации, и отвечает: да, ибо разделение труда не только выгодно технически и экономически, но оно выполняет **моральную функцию**, солидаризуя тех, кто в своей специализации друг друга взаимно восполняют; оно усиливает социальную связь (*la cohésion sociale*), но установление этой связи составляет основную функцию норм морали. Таким образом разделение труда делает возможным мораль кооперации, допуская при этом индивидуальную дифференциацию. И он добавляет: здесь, как и везде, социальное бытие определяет мораль. Не одни только философы-моралисты возмутились этими тезисами: они глубоко неверны морально, ибо неверны антропологически и психологически, и представляют собою наивный оптимистический рационализм в духе идей «солидарности» Огюста Конта.

Современный социальный трагизм разбивает всю эту мораль коллективизма и социологизма. Юнг блестяще показал **психическую деформацию личности**, производимую подобной системой специализации, односторонне развивающей одну функцию личности, нужную для общества, при подавлении всех остальных функций, столь важных для ее целостного единства: личность уродуется и уничтожается, ибо она по своей природе **универсальна** и требует гармонического единства всех своих функций. Это подавление социально второстепенных функций рождает неврозы и социальную ненависть, личность ненавидит систему, которая ее уродует, и ненавидит тех, которые свободно развивают те функции, которые у нее должны оставаться подавленными. Профессиональная деформация личности, это она раскрывает всю остроту современного социального вопроса и показывает, в каком направлении нужно искать его решения. Мы имеем следующий конфликт: то, что выгодно технически и экономически, вредно и невыносимо психически, разрушает личность и потому не морально и не справедливо. На анализе идей Шиллера Юнг доказал, в своих «Психологических типах», социальную деформацию личности в той самой системе, которую Дюркгейм считает выражением морали и справедливости. Высокая коллективная цивилизация здесь соединяется с индивидуальным варварством, ибо человек, у которого развита только одна функция счетовода или функция мускульного усилия низшего рабочего, в остальном является просто варваром. Рабство подавленных функций есть неизлечимая рана в душе современного человека. Капитализм и коммунизм ничем не различаются в этом отношении: оба стоят на точке зрения коллективной цивилизации, оба требуют фабричного стиля жизни, оба ведут к тирании коллектива и поугубляют систему Тэйлора. В свете современной аналитической психологии вся социальная проблема получает совершенно иную постановку и решается совершенно иначе: коллектив представляет собой **варварскую массу** односторонне цивилизованных и дрессированных индивидуумов, которые в сущности не являются личностями. Эта масса может каждую минуту разрушить цивилизацию, ею созданную. Безработица, досуг, сокращение рабочего дня ставят огромные проблемы воспитания личности, культуры личности. Без процесса созидания личности, процесса индивидуации, без превращения массы в дифференцированные личности, досуг есть социальная опасность. Здесь открывается огромная сфера исследований совершенно новых.

5 ДВИЖЕНИЕ МАСС

Современное социальное знание вовсе не представляет собой спокойного исследования протекающего в академической атмосфере, каким оно было раньше. Теперь оно призвано к разрешению острого кризиса истории. Пред социологом стоит актуальнейший вопрос: как сделать, чтобы индивидуум не был раздавлен бюрократическим аппаратом тоталитарного государства, чтобы свобода не была уничтожена плановым хозяйством. Чтобы личность не погибла в **режиме масс**.

Движение масс, в таком размере, как оно происходит сейчас, есть новый

социальный феномен. Массы обычно покоятся, как геологические пласты. Сейчас они пришли в движение, которое идет из подземелий глубины, подобно землетрясению. В 1896 году Густав Лебон предсказал: «Время, в которое мы вступаем, будет поистине эрой толпы. Психология масс в сущности совершенно не изучена, — она принципиально другая, нежели психология сознательной личности. Густав Лебон и Сигеле были первыми, которые наметили здесь путь исследования. Фрейд оценил заслугу Лебона и понял, что здесь открывается огромная сфера для применения и проверки открытий психоанализа. Лебон прекрасно понимал значение **бессознательного** для психологии толпы и вплотную подошел к коллективно-бессознательному. Существенные элементы психологии толпы им определяются так: 1) исчезновение сознательной личности; 2) predominance бессознательного; 3) внушение однородных чувств и идей; 4) немедленное превращение внушенных идей в акты, отсутствие задерживающих центров; толпа не доминирует над своими рефлексам, подобно дикарю или ребенку. Существенная поправка, которую нужно сделать по отношению к Лебону, состоит однако в том, что масса не есть непременно толпа: толпа есть частный случай массового движения и случай сравнительно редкий.

Фрейд принимает всю постановку вопроса, как она сделана у Лебона, но стремится понять психологию коллективно-бессознательного при помощи идеи гипноза и влюбленности в вождя (перенос «либидо» на одно лицо). Его конструкция, несмотря на всё искусство и остроумие, дает однако мало для понимания содержаний коллективно-бессознательного, а этими содержаниями всегда руководятся вожди, которые часто являются простыми медиумами коллективно-бессознательного. Это последнее само предопределяет, какие внушения оно примет и какого вождя признает, — это предопределено в его прообразах, в его «архетипах». Фрейд сближает две «искусственно-организованных толпы» — церковь и армию, в том, что обе создаются через любовь к единому вождю. Но он не замечает самого главного, что обе построены на различных, даже противоположных, «архетипах» военачальника и учителя (иерея). Здесь ему не хватает как социологии, так и психологии коллективно-бессознательного. Но прежде всего нехватает, конечно, здорового религиозного чувства, чтобы понять сущность религиозного феномена.

6. ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ МАСС

Задача настоящей работы: сопоставить данные социологических наблюдений с открытиями коллективно-бессознательного, чтобы понять психологию массового движения и указать пути, как возможно овладеть этим движением, как воспитывать и организовывать массы.

Эта проблема требует нового решения. Старое решение состояло в том, что массы организовывались и воспитывались при помощи учреждений, при помощи законов и декретов. Но, 1) сохранение и мгновенное разрушение учреждений (традиция и революция) сами объяснимы не иначе, как из глубины народной души. Учреждения являются лишь внешним выражением того, что происходит в душе нации, и их ценность определяется тем, как эта душа на них реагирует. 2) Закон, т. е. запрет и императив, совершенно недостаточен как для воспитания личности, так и для воспитания масс, ибо он создает накопление протеста („loi de l'effort convertit"), которое особенно страшно в революционных массах, удерживающих неподчинение закону.

Социология показывает внешние проявления — то здоровые, то болезненные, то устойчивые (хозяйственный и юридический быт), то преходящие (войны и революции), которые свидетельствуют о спокойствии или тревоге народной души, об ее исканиях и разочарованиях. Часто они представляются совершенно бессмысленными, ибо мы не понимаем того, что происходит в коллективно-бессознательном. Не понимаем и потому не можем на него воздействовать.

Но социология, как она существует сейчас, вместе с историей, недостаточна

даже для того, чтобы установить внешние симптомы: они для нее неожиданны и непонятны. Дело в том, что она имеет дело с новыми, никогда не бывшими формами и учреждениями (напр. антитеза фашизма и коммунизма; появление планового хозяйства и тоталитарного государства). Эти формы еще не описаны и не оценены, ибо к ним еще невозможно установить объективно научное отношение. Их оценка всецело обусловлена бессознательными комплексами данной нации. Важно прежде всего указать, что эти новые социальные формы стоят в теснейшей связи с **войнами и революциями**. Достаточно указать на диктатуру, которая по существу и даже юридически связана с «военным положением» (*Status belli*). То, что в этих формах кажется совершенно новым и невиданным, может оказаться на самом деле возрождением самого примитивного и архаического.

Поэтому психоанализ современного массового движения, современных сдвигов и взрывов коллективно-бессознательного должен исходить не из социологических теорий, имеющих в виду совершенно иное состояние общества, а из всего социального опыта современных войн и революций, создающих эфемерные, часто патологические формы общества. Тот, кто хочет производить настоящее исследование, должен весь этот опыт иметь перед собой. Он должен иметь счастье, или несчастье, участвовать в этом эксперименте и в опыте различных стран. Новые формы должны быть исследованы, описаны, пережиты, но с особой точки зрения — как симптомы того, что происходит в коллективно-бессознательном, точнее в том столкновении коллективно-бессознательного с организацией коллективного сознания, которое определяет настоящий момент истории. Только тогда можно решить, какие социальные события являются лишь паталогическими симптомами психической эпидемии и какие имеют здоровое творческое значение.

Настоящая работа представляет огромное поле для исследования. Прежде всего она требует применения новейших открытий в области коллективно-бессознательного и методов его исследования (Цюрихская школа), ибо без психоанализа коллективно-бессознательного невозможно понимание массовой психологии. Но она требует затем мастера социологического, юридического, социально-философского анализа, способного наблюдать, открывать и описывать социальные симптомы, интерпретируя их в свете аналитической психологии. Ибо социальное наблюдение здесь должно вестись совершенно особо: необходимо установить, выражением каких стремлений является данное социальное событие и юридическое учреждение и как народная душа реагирует на него. То и другое притом часто остается скрытым в бессознательном. При таком подходе и методе, настоящая работа может быть поставлена и начата; при этом, конечно, желательна еще помощь и сотрудничество компетентных лиц по наблюдению массовых движений различных стран. Подробный план работы здесь невозможен, ибо предвосхищает ее результаты и их систематизацию. Но возможно наметить основные проблемы, дающие направление всему исследованию.

7. ПРОБЛЕМА ОСНОВНЫХ АРХЕТИПОВ МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ

Единственный путь к постижению коллективно-бессознательного — это установление его «архетипов», исконных прообразов, обозначающих и выражающих постоянные устойчивые комплексы и сохраняющих непрерывную связь примитивного и архаического с современным и даже с будущим. Основные архетипы коллективно-бессознательного, необходимые для понимания массового движения, — это архетипы **власти** и **авторитета**. Власть, подвластность и свержение власти — вот какие комплексы и переживания за ними скрываются. Архетип власти и авторитета есть самый очевидный и простой: он бесспорно связан с архетипом **отца**. Зевс — отец богов и людей. От самой примитивной до самой развитой религии сохраняется этот архетип: отношение человека к Богу символизируется как отношение сына к отцу. Политическое значение этого архетипа огромно: он определяет «патриархальную» теорию монархической власти, живет

в понятии «пэра» или «сенатора». Но существует и противоположный архетип **ниспровержения власти и авторитета**. Он следует, как тень, за первым архетипом. Он лишь отчасти и в скрытом виде присутствует в «Эдипус-комплексе» (последний можно понимать так: свержение власти отца и присвоение того, чем он обладает, для наслаждения этими благами), но гораздо ярче и проще он выражен в «Прометеус-комплексе», и, наконец, в «Люцифер-комплексе». **Восстание ангелов, восстание титанов**, решивших свергнуть богов, — все это тот же самый архетип, выражающий тот же комплекс, как и восстание Спартака. Маркс, с его штурмом и подкопом небесных и земных авторитетов, есть полное выражение того же комплекса и архетипа. Английские легитимисты эпохи Кромвеля возводили всякую революцию к Люциферу.

Однако было бы величайшей ошибкой отождествлять один архетип с добром, другой со злом. Дело в том, что коллективно-бессознательное не знает добра и зла, оно по ту сторону добра и зла, или ниже добра и зла, (отсюда имморализм мифов, «священных книг» и даже эстетической фантазии). Каждый архетип выражает комплекс, который может быть употреблен во зло и в добро. Отсюда понятно, что может существовать **злая власть** и ложный авторитет и может существовать **справедливое восстание**, но и наоборот, Догматическое рациональное отождествление власти и авторитета с добром совершенно так же должно быть устранено, как и противоположное ему отождествление революции и восстания с добром. И однако обе эти установки безраздельно господствовали в сознании целых исторических периодов. И до сих пор, например, термины «революционный» и «контрреволюционный» в психологии масс, в психологии толпы, употребляются для обозначения «благородного» и «неблагородного».

8. АРХЕТИП ВЛАСТИ И АВТОРИТЕТА

Архетип «вождя» не прост и не однороден. Он есть исконный архетип отца, патриарха, как носителя **власти и авторитета**. Но власть и авторитет не одно и то же. Они могут даже противопоставляться. Сократ и Сенека есть авторитет, не обладающий властью; Нерон есть власть, не обладающая авторитетом. Дифференциация противопоставлений и разделение власти и авторитета идет через всю историю до наших дней. Оно начинается с архаического, примитивного противопоставления „Häuptling“ и „Medizinmann“, князя и волхва, вождя и мага, далее: священника и царя, касты брахманов и раджей, наконец, папы и императора в средние века — и завершается современным постулатом разделения церкви и государства. Дифференциация власти и авторитета есть огромная заслуга современного правового государства. Напротив, возврат к отождествлению волхва и вождя в тоталитарном государстве коммунизма, вождя, который дает «генеральную линию» во всем, есть регресс, архаизм, возвращение к примитивному человечеству.

Платон сделал ошибку, желая слить воедино власть и авторитет, царя и философа. Однако, проблема **авторитетной власти** существует: власть должна быть авторитетной, но это авторитет особого рода: компетентность в сфере искусства управления, в сфере хозяйства и права, в сфере социальной организации. Авторитет мудрости, философии, авторитет „Medizinmann“, как целителя тела и души, совершенно другой. Это — два характера, два исконных типа людей, две социальных функции, которые должны оставаться **раздельными**. В этом — великая мудрость противопоставления двух архетипов: вождя и волхва.

9. РОЖДЕНИЕ СВОБОДНО-СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Другое открытие комплексной психологии, выросшей из психоанализа, состоит в ее умении пользоваться комплексами и их архетипами для сублимации глубочайших подсознательных сил, для их возвышения и возведения, для управления душой (психогония), иначе говоря, для психической алхимии, превращающей нейтральные или неблагородные элементы в благородные. Это превра-

щение невозможно иначе, как посредством **индивидуации**, т. е. посредством облегчения рождения (сократовой майэутики) **свободной индивидуальной личности** из стихийной глубины коллективно-бессознательного.

Архетипы авторитета и ниспровержения суть архетипы коллективно-бессознательного, т. е. архетипы массовой психологии; они не являются высшим содержанием духа, духовно свободной индивидуальной личности. Последняя не хочет быть ни тираном, ни рабом, ни бунтовщиком. Она не одержима ни духом лакейства, ни «духом противоречия», ни «похотью господства». Человек массы — весь во власти этих архетипов. Это — «слабосильный бунтовщик, не могущий вынести свободы».

Существуют люди, созданные для подчинения, и другие, созданные для власти. Творческая личность не желает быть **ни тем, ни другим**. Она не желает в сущности **ни властвовать, ни подчиняться**. Таких творческих личностей не мало: таковы ученые, философы, пророки, поэты, — те, кто делают открытия и получают откровения. Не легко вообще духовно-творческую личность заставить заниматься политикой: демон сократа запрещал ему заниматься политикой. Платон ставит вопрос, какие соображения могут заставить философа взять власть? И приводит только одно: дабы дурак не властвовал над философом. Известно в современной Европе и в Америке, что лучшие люди не идут в политику. Свободная сознательная личность по существу довольствуется чаще всего духовным **авторитетом**, не желая власти. Она пользуется архетипом «учителя истины», властвующего посредством истины и мудрости. Однако нельзя отрицать, что существует то, что Платон называл, «царственным искусством», что Макс Вебер назвал «харизматическим демагогом», или вождем Божьей милостью. Это — специальная творческая одаренность, требующая, конечно, свободной сознательной личности, и вместе с тем одаренность, какая в идеальном случае требуется для **носителя власти**. Нужно признать однако, что это — самая редкая форма одаренности, бесконечно реже встречающаяся в истории, нежели одаренность научная, художественная, или даже пророческая.

10. ЛИЧНОСТЬ, МАССА И ВОСПИТАНИЕ МАСС. МАССА И СВОБОДНО-ОРГАНИЗОВАННОЕ ОБЩЕСТВО

Кому не знаком тот странный феномен, что «сотня вполне одаренных людей, соединившись вместе, образуют только одну посредственную голову» (einen großen Wasserkopf); тот феномен, что многочисленные конференции, состоящие из многих выдающихся людей, всегда достигают весьма посредственных результатов в своих писаниях и резолюциях. Причина этого лежит в том, что здесь начинает действовать массовая психология, психология толпы, творческая личность теряет свою индивидуацию и снижается до средней массы, как бы погружается назад, в коллективно-бессознательное. Нужно помнить, что масса вовсе не состоит **из личностей**, как думают обыкновенно. Масса есть противоположность личности: масса есть **безличность**.

Но существует и обратный феномен, открытый и сформулированный Сократом: из столкновения мнений и **диалога** многих индивидуальностей рождается истина, которую ни один из них не мог открыть изолированным индивидуальным путем. Это — принцип диалектики, принцип «майэутики», на котором покоится, в сущности, всякая наука. Это, вместе с тем, — принцип совета, на котором построена идея парламента. Диалектика есть связь свободных творческих личностей, через которую совершается самое рождение этих личностей и их соединение в новой форме взаимодействия через свободное общение, лежащее в основе всякой культуры. Вся проблема воспитания масс сводится, в конце концов, к тому, как превратить массу в совет, собор индивидуально-творческих личностей, и как воспрепятствовать этому собору и совету снова раствориться в массу. Истинный философ никогда не согласится насаждать свою философию огнем и мечем (ин-

квизия, папощезаризм, цезарепапизм, марксизм), ибо философия есть диалектика и диалог, в котором можно сказать да и можно сказать нет, но именно по отношению к царю-философу это невозможно. «Генеральная линия» не признает «нет».

11. СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ПРИМИТИВНЫХ НАРОДОВ

Настоящее исследование невозможно без привлечения некоторых важных результатов из области психологии и социологии примитивных народов. Здесь наша работа соприкасается близко с огромной американской и английской литературой, возникшей после Моргана. Этот — драгоценный опытный материал, который аналитическая психология истолковывает совершенно по-новому. В виде примера приведем знаменитую проблему **тотемизма** и два способа ее решений, которые даны в споре американского ученого Голденвейзера с английским ученым Фрезером. Известно, что тотемизм бесконечно разнообразен по своим формам и его сущность трудно выразить в одном понятии. Голденвейзер определяет тотемизм как «тенденцию определенных социальных единств ассоциировать себя с объектами и символами, имеющими эмоциональное значение или «процесс специфической социализации объектов и символов эмоциональной ценности». В понятии эмоционального символа есть правильное предчувствие того, где надо искать решения. Но без коллективно-бессознательного и без психологического объяснения символизма фантазии решение не может быть дано.

Другой автор — J. G. Frazer (London) — производит комплекс тотемизма из одного определенного психологического источника: верование, существующее в центральной Австралии, по которому каждый ребенок есть перевоплощение тотемистического духа, царящего в тех местах, где мать ребенка заметила впервые свою беременность. По мнению Фрезера это является достаточным объяснением всего тотемизма из идеи общего предка. Голденвейзеру, напротив, такое объяснение кажется абсурдным.

Уже Фрейд поставил этот вопрос на совершенно новую почву в своем „Totem und Tabu“. Дальнейшее исследование и открытия в области коллективно-бессознательного дают возможность сказать следующее: обе теории имеют смысл и говорят об одном и том же: о фантазиях, дающих символическую характеристику коллективно-бессознательного данного клана, расы, нации. «Символ, имеющий эмоциональную ценность», — это очень хорошее выражение, близко подходящее к истине. Клан, племя, народ обозначает себя самого посредством образа, фантазии, символа (животного и растения), определяющего основную эмоцию, основной характер его коллективно-бессознательного содержания. Родственная эмоция, оближающая человека с каким-либо животным, может быть понята как настоящее **родство**, как происхождение от льва, от медведя, от волка (Ромул и Рем). Орел, лев, змий, голубь, агнец — все это символические определения с большим эмоциональным значением, выражающие в едином образе сложный комплекс характера и личной установки (напр. «будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии», или еще «человек человеку волк»). Весь комплекс тотемизма живет и теперь среди нас в сублимированной форме, в форме религиозного символа или символа эстетического. Вся наша геральдика с ее **гербами и орлами** покоится на тотемизме (напр. город Берн и его медведи, или «галльский петух»). Конечно, никто не верит теперь в происхождение французов от петуха, но «Chantecclair» Ростана все еще остается поразительным по остроумию и богатству «автосимволикой».

Здесь открывается ценность изучения примитивной психологии и социологии: оно помогает постигнуть корни коллективно-бессознательного, указывает странную связь с древнейшим архаическим его содержанием, связь, которой мы бесконечно дорожим, как это видно в нашем искусстве, в нашей религии и в нашей символике, и которой мы имеем основание серьезно опасаться.

О возникновении русской революции и смысле ее

В 1917 году в России началась революция, беспрецедентная в истории человечества по своей разрушительности, жестокости, обилию жертв и длительности. Люди, не жившие в России до 1917 года и потому не имеющие представления о тогдашней русской культуре, обыкновенно, воображают, будто режим царской России был варварский, жестокий, стесняющий свободу всех граждан во всех отношениях и создающий невыносимые условия жизни для рабочих и крестьян. Такой режим, думают они, неизбежно должен был привести к жестокой революции. Задача моей статьи состоит в том, чтобы отстаивать мысль, что такие представления ошибочны и что революция 1917 г. есть результат несчастного стечения обстоятельств, а вовсе не внутренней необходимости русского исторического процесса.

В жизни русского государства и общества было много внутренних затруднений и недостатков, но те из них, которые могли бы стать причиной революции, постепенно преодолевались естественным процессом развития, и если бы не было тяжелой мировой войны 1914 - 1918 гг., революция в России не произошла бы.

Начнем с вопроса об экономической жизни России. Граф Коковцев, бывший долгое время министром финансов и в 1911 - 1914 гг. Председателем Совета Министров, говорит в своей книге «Из моего прошлого» о непрерывном и весьма значительном накоплении народного богатства во всех его видах за десятилетие 1904 - 1913 гг. Возьмем из этой книги только данные о приросте капиталов в Государственных Сберегательных Кассах, куда вносили свои сбережения мелкие вкладчики. «К началу 1904 г. в них сумма вкладов — денежных и процентными бумагами — составляла 1.022 миллиона рублей; к концу 1913 г. она дошла до 2.100 миллионов рублей, то-есть увеличилась в два раза. Число сберегательных книжек возросло за то же время с 4.854.000 до 8.597.000.

Под влиянием мероприятий, направленных к улучшению и интенсификации сельскохозяйственного производства, повышенному потреблению сельскохозяйственных машин и химических удобрений, распространению агрономических знаний, расширению сети агрономических учреждений и т. д., русское крестьянство крепло, увеличивалась устойчивость урожаев и производительность посевов» (Т. II, стр. 378). Рост промышленности был чрезвычайно быстрый; можно было надеяться, что через несколько десятилетий Россия догонит Соединенные Штаты Америки.

В то же время правовое и экономическое положение крестьян было в высокой степени ненормальное. В большинстве губерний было общинное землепользование. Земля принадлежала общине, но делилась на участки, отдаваемые в пользование отдельным семьям, которые обрабатывали их индивидуально. Периодически производился передел земли, и семья, поднявшая урожайность своего участка путем правильной обработки его, лишалась этого участка. Таким образом, община стесняла переход к улучшенному интенсивному сельскому хозяйству, и крестьянам всегда недоставало земли вследствие экстенсивного хозяйства. Искон-

ная жажда увеличения своих земельных участков поддерживала в них убеждение в том, что справедливость требует, чтобы земля была отнята у помещиков и передана им, трудящимся на земле.

Положение крестьянства начало глубоко изменяться, когда в 1906 году Столыпин провел закон, давший возможность крестьянам выходить из общины, получать из нее участок земли в личную собственность и устраивать на ней прочное хуторское хозяйство. В то же время усилился процесс перехода помещичьих земель в руки крестьян путем покупки при содействии Крестьянского банка. Благодаря этим мерам в России образовался бы в короткое время многочисленный класс мелких земельных собственников, которые сделали бы революцию невозможной.

Правовое положение крестьян также было ненормально. После отмены крепостного права, говорит Витте, крестьянин «перестал быть крепостным помещика», но он стал «крепостным крестьянского управления, находившегося под попечительным оком земского начальника» (Воспоминания, т. I, стр. 445). Благодаря Государственной Думе это ненормальное положение подлежало устранению, и Дума третьего созыва начала уже заботиться об улучшении положения крестьян.

Кроме экономических условий, источником революционного брожения в России была борьба против самодержавия. Но и этот источник революционных настроений очень ослабел после того, как самодержавие было отменено манифестом 17 октября 1905 г. Правда, Государственная Дума первого созыва не могла работать с правительством вследствие крайней политической неопытности русской интеллигенции. Но уже Дума второго созыва, говорит Маклаков в своей книге о ней, а также Дума третьего и четвертого созыва начала вырабатывать умение сотрудничать с правительством. В особенности по вопросам государственной обороны перед войною 1914 г. и по вопросу о поднятии просвещения это сотрудничество было в высшей степени плодотворно. Согласно закону, выработанному Государственной Думой и Государственным Советом, Министерство Народного Просвещения должно было получать ежегодно прибавку в десять миллионов рублей специально для целей первоначального народного образования. В 1922 г. эта прибавка составила бы сто миллионов рублей в год и сеть народных школ должна была оказаться достаточной для всеобщего обучения. Этот рост школьного дела был органический. Он состоял не только в постройке новых школ, соответствующих требованиям школьной гигиены, но и в учреждении новых учительских семинарий для подготовки учителей и в устройстве новых университетов. Школы были обеспечены учебниками и учебными пособиями благодаря заботам не только правительства, но и таких земских самоуправлений, которые увлекались задачей вырабатывать пособия для народной школы. Вся эта успешная работа государства и общества была сорвана большевистской революцией. Большевики хвалятся, что ввели в СССР всеобщее обучение; но они ввели его десятью годами позже, чем оно явилось бы без революции; при этом они крайне понизили уровень образования учителей и до сих пор не могут обеспечить школу учебными пособиями.

Борьба между Государственной Думой и старым самодержавным правительством, боявшимся расширения прав Думы, была явлением, подобным тому, что происходило у всех западноевропейских народов. Расширение прав свободы и народного представительства всегда совершается в процессе упорной борьбы со старой властью, которая не доверяет новому порядку до тех пор, пока безопасность и полезность его не обнаружится на деле. В России этот процесс до войны и в начале войны совершался в такой форме, что давал право надеяться на выработку у нас оригинальной и высшей формы демократической конституционной монархии. В. Маклаков в своей книге «Власть и общественность на закате старой России» говорит: «В России были тогда две силы. Была историческая власть с большим запасом знаний и опыта, но которая уже не могла править одна. Было общество, многое правильно понимавшее, полное хороших намерений,

но не умевшее управлять ничем, даже собою. Спасение России было в примирении и союзе этих двух сил, в их совместной и согласной работе» (585). «Конституция стала воспитывать и власть, и самое общество» (601).

В начале XX века, перед войной 1914 г. главные источники революционного брожения были устранены: экономическое положение России быстро улучшалось, начиналось уравнивание крестьян с другими сословиями, самодержавие было ограничено. Тем не менее, в феврале 1917 г. произошла революция. Как она возникла? Революционер Н. Суханов, внимательно наблюдавший все фазы этого процесса, пишет во втором томе своих семитомных «Записок о революции»: «революция возникла непосредственно как реакция на неслыханные тяготы войны» (413). И в самом деле, февральская революция возникла стихийно, не по плану, выработанному какой-либо группой революционеров, без захвата власти какой-либо определенной партией. Крайне изнурительная война, бестолковое поведение правительства, назначение Государем непопулярных министров, компрометирование царской семьи Распутиным, призыв под оружие пятнадцати миллионов человек и наполнение армии запасными старших возрастов, усилившиеся вновь расхождение между правительством, народом и Государственной Думой были толчком к тому, что два полка, Волынский и Литовский, пошли к Государственной Думе, только что распущенной правительством. Дума, понимая, что правительство не в силах подавить восставшую стихию, не подчинилась указу о роспуске и образовала Временный Комитет «для водворения порядка в стране».

Можно быть уверенным в том, что если бы не было изнурительной войны, в России не возникло бы вновь глубокое расхождение между народом и правительством и не произошла бы революция. Без войны «революции не было бы» — пишет Маклаков в книге «Первая Государственная Дума» (стр. 11). Вследствие тяжелой войны и вызванных ею нелепых действий правительства пала в феврале 1917 г. царская власть, а вслед за этой политической революцией Ленину удалось в октябре осуществить вторую революцию, социальную, направленную против буржуазии и помещиков. Он достиг своей цели путем бессовестной демагогии, обещая, что при переходе власти в руки Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов будет немедленно заключен мир, будет произведена конфискация помещичьих, удельных, монастырских и церковных земель для передачи их крестьянским комитетам, а рабочие получают контроль над производством.

Соблазнив солдат, крестьян и рабочих, большевики свергли Временное правительство. Путем террора и политической полиции пронизавшей своим шпионством всю общественную и частную жизнь, они создали такую всевластную диктатуру, которая дала возможность Сталину произвести в 1929 г. третью революцию, наиболее жестокую и кровавую, направленную против последнего класса собственников, против крестьян. Принудив почти всех крестьян стать батраками в совхозах и колхозах, правительство СССР сосредоточило в своих руках всю экономическую, военную и полицейскую силу. Оно стало деспотически эксплуатировать всё население, крестьян, рабочих и служащих в такой мере, как это невозможно ни в каком капиталистическом государстве. Вместо демократического коммунизма оно создало рабовладельческий государственный капитализм. Соблазненный демагогией народ не получил и одного из обещанных благ. Вместо мира началась жестокая гражданская война; крестьяне стали крепостными, получающими крайне скудное вознаграждение за свой труд; рабочие тоже оказались прикрепленными к фабрикам и заводам и стали получать за более длительный и напряженный труд меньшее вознаграждение, чем прежде.

В тоталитарном Советском государстве население не только лишилось политической свободы, но и всех гражданских свобод — свободы совести, свободы мысли и слова, даже свободы научного исследования, свободы собраний и союзов, независимого суда. Вместо обилия материальных благ получилась крайняя бедность, потому что безответственное правительство употребляет все силы народа не на удовлетворение его потребностей, а на создание грандиозной военной мощи,

на фантастические преобразования страны, на создание пятых колонн во всем мире и на удовлетворение прихотей правящего класса.

Жестокость Советского правительства имеет не зверский, а сатанинский характер. Оно сламывает волю человека не только ужасными пытками, причиняющими физические страдания, но и нравственными пытками, из которых самая страшная — пытка мучениями детей, истязаемых на глазах родителей. Сведения о том, как достигнуто было «сознание» кардинала Миндсенти в несовершеннолетних им преступлениях, показывают, что советская полиция нашла яды, посредством которых можно парализовать влияние воли человеческого «я» на деятельность центров речи и письма и таким образом добиться следующего странного явления: после многократного внушения подсудимому текста «сознания», нужного правительству, язык подсудимого произносит и руки его пишут «сознание», не соответствующее его воле и действительному поведению. Не человеческий ум, а сатанинский избрал этот способ унижения личности.

Революция 1917 г. произошла не как следствие внутреннего развития русской истории, а как результат несчастного стечения обстоятельств, вызванных внешним фактором — изнурительной войной. В этом смысле она есть дело несчастного случая. Причиняемые революцией страдания русского народа длятся уже тридцать семь лет. Поэтому в уме религиозного человека, признающего Провидение и уверенного в том, что всякое событие имеет какой-нибудь положительный смысл, возникает вопрос: почему Бог допустил такое зло и так долго терпит его? Ради какого добра Он попускает существование столь страшного зла? На этот вопрос историки дадут лет через сто более или менее точный ответ. Но и в наше время можно строить догадки по этому поводу. Попытаемся вступить на этот путь.

Экономическое и социальное развитие в наше время решительно поставило человечество перед трудной задачей выработки строя, обеспечивающего большую, чем прежде, социальную справедливость. Давно уже моралисты, напр., Вл. Соловьев, говорят, что каждому человеку должны быть обеспечены материальные средства, необходимые для духовного развития и достойной человеческой жизни. Большинство влиятельных собственников глухи к этой проповеди. Они презрительно называют строй, оказывающий помощь экономически слабым слоям общества, словами «благотворительное государство», «государство подачек» и т. п. Недавно в США напечатана широко распространяемая с целью пропаганды книга Джона Флинна «Путь к социализму». Автор этой книги искусно внушает читателю мысль, будто такие социальные реформы, как медицинское страхование, постройка дешевых жилищ и т. п., неизбежно приведут к социализму, т. е. к национализации средств производства, и к утрате не только экономической свободы, но и многих других свобод. Несостоятельность рассуждений Флинна можно пояснить следующим сравнением. Положим, кто-либо, увлекаясь естественными методами лечения и поддержания здоровья, каждый день делает легкую гимнастику, совершает неумотительные прогулки, берет летом воздушные ванны, а потом без совета с врачами берет солнечную ванну и умирает от солнечного удара. Естественные методы поддержания здоровья вовсе не виноваты в этом печальном конце: гимнастика, прогулки, воздушные ванны не обязывают каждого, кто ими пользуются, прибегать и к такому сильно действующему средству, как солнечные ванны.

Книга Флинна, несмотря на свою логическую бессвязность, будет иметь большой успех среди богатых собственников: против социальных реформ она снабжает их доводами, придающими им видимость борцов за великие блага свободы, а не за свои эгоистические интересы. Сломить их своекорыстие может лишь страх перед революцией. СССР именно и есть пугало, внушающее такой страх. Советское правительство создает грозную военную мощь с целью покорения всего мира и, мало того, оно насаждает опасные пятые колонны во всех государствах. Страх перед нависшей над всем миром опасностью послужил уже во многих государствах толчком к социальным реформам, а также к освобождению многих

колониальных народов и к напряженному исканию новых путей в общественной и государственной жизни.

В течение более, чем столетия, множество европейцев, включая и русских, фанатически веровали в то, что социализм есть единственное средство осуществления социальной справедливости. В уме многих лиц социализм из средства превратился в самоцель. Пример СССР служит наглядным доказательством того, что перемена субъекта собственности еще не решает вопроса: государство, став единственным субъектом собственности, может еще более эксплуатировать трудящихся, чем частные капиталисты. Надо надеяться, что тяга к социализму, приобретшая характер навязчивой идеи, теперь ослабевает, и уж во всяком случае никто не будет стремиться к стопроцентному социализму. Слишком ясно, что социальная справедливость может быть достигнута не только путем перемены субъекта собственности, а и различными другими способами, напр., посредством всеобщего страхования (план Бевериджа), посредством законов, подчиняющих промышленность общему благу и т. п.

В наше время опасность эксплуатации труда капиталом очень уменьшилась благодаря возрастающей силе рабочих союзов. Стачки рабочих угольной и сталелитейной промышленности Соединенных Штатов Америки показали, что союзы рабочих обладают большей силой, чем капиталисты-миллионеры. Скоро может подняться вопрос о том, как защитить общество от злоупотребления рабочими мощью их союзов. Говорить о монопольном владычестве капитала в современных подлинных демократиях могут только бессовестные советские клеветники и неумные их попутчики.

Кроме нового экономического строя, перед человечеством стоит еще одна грандиозная задача — создать сверхгосударственное объединение народов. Преодолеть государственный эгоизм, требующий абсолютного суверенитета государства, еще труднее, чем победить эгоизм отдельных лиц. Есть два пути для достижения этой цели. Наиболее простой и сравнительно легкий способ — объединить человечество путем насилия, т. е. посредством мощной вооруженной силы. Эту задачу ставит себе СССР. Другой способ объединения человечества, благородный, но крайне трудный, — создание сверхгосударственной организации путем свободного соглашения народов.

Бескорыстное стремление к миру и гармоническому сотрудничеству всех народов есть мотив, слабо действующий на волю человечества. Гораздо могущественнее влияет страх совсем утратить свободу, не только государственную, но и свободу всей жизненной деятельности. Военная сила чудовищной деспотии СССР внушает этот страх и побуждает человечество ускорить создание сверхгосударственной организации путем ряда свободных соглашений. Провидение использует таким образом зло русской революции для благих целей.

Каковы бы ни были полезные для человечества следствия русской революции, они достигаются путем безмерных страданий русского народа и потому для нас, русских, возникает мучительный вопрос, почему же именно Россия послужила лабораторным кроликом для социальных экспериментов и пугалом для других народов. Есть внешний повод к тому, чтобы именно России было суждено стать жертвой исторического процесса. Только такое громадное государство, как Россия, владеющая одной шестой частью света с самыми разнообразными естественными богатствами, может в течение десятков лет выносить убийственный опыт стопроцентного социализма, воспитать у остальных народов миллионы опасных мечтателей, желающих строить тоталитарный муравейник, и дать урок неосуществимости этой утопии. Кроме этого внешнего повода для мучительной судьбы России, должно существовать еще внутреннее, из самой природы русского народа вытекающее основание выпавших на его долю страданий. Ответом на этот вопрос могут быть только догадки, опирающиеся на многостороннее исследование характера русского народа и русской истории. Но и после такой попытки понять провиденциальный смысл русских страданий пришлось бы в дополнение к своим домыслам сказать: неисповедимы пути Господни.

Без сомнения, тяжкие грехи русского народа, следствием которых явилась печальная судьба наших собратьев, живущих в СССР, и нас, находящихся в эмиграции. Однако надо надеяться, что грехи эти искуплены длительными страданиями и близится час освобождения России от безбожной и бесчеловечной власти. Если это освобождение произойдет не путем внутреннего переворота, а вследствие войны, судьба России, как государства, будет в значительной мере зависеть от союза демократий, которые победят большевистскую власть. Если победители будут отождествлять Советское правительство и русский народ, тогда они будут бояться России, как великого государства, считая ее неисправимым агрессором. В таком случае они будут стараться раздробить Россию на несколько самостоятельных государств и, следовательно, увеличат в мире число враждующих между собою государственных единиц. Такая ошибка была бы особенно выгодна для анти-демократических сил, которые будут мечтать о реванше.

Кто знает характер русского народа, тот понимает, что он несчастная жертва фанатиков марксизма, воспитавшихся в подпольи, а не творец коммунистической деспотии. По природе своей русский народ склонен к осуществлению демократического строя. Вся история мысли, искусства и стремлений русского общества в XIX и начале XX века бесспорно свидетельствует об этом. К тому же русский народ принадлежит к числу наиболее миролюбивых народов. Значительная часть огромной территории русского государства приобретена не путем завоевания, а путем мирной колонизации. Когда русскому народу удастся организовать демократический строй, в котором политика есть подлинное выражение воли граждан, Россия станет членом семьи народов, наиболее способным гарантировать мир, заботу о социальной справедливости и всеобщем благе.

Душителі духа

Сигнал к новому гонению религии был дан 24 июля 1954 г. В этот день «Правде» появилась передовая: «Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду». После 24 июля в центральной печати атеистическим статьям стали отводить целые подвалы. В «Комсомольской Правде» антирелигиозный материал в течение 3-х месяцев публиковался почти изо дня в день. Миллионными тиражами издаются антирелигиозные брошюры и плакаты. Краеведческим музеям приказано восстановить, прикрытые было, антирелигиозные отделы. Спущены с цепи засидевшиеся своры лекторов-безбожников. Кроме пропагандно-агитационных мер в борьбе с религией власть применяет и административно-полицейские меры. Верующим угрожают преследования, духовенству — аресты, церквям — закрытие. Таково было начало.

В свое время, находясь на грани военного поражения, советская власть вынуждена была пойти на некоторые уступки религиозным чувствам народа. Патриотические подвиги в старину были тесно связаны с именами таких святителей, как Сергей Редонежский, патриарх Гермоген, митрополит Петр. Минувшей войне благословение церкви придало пафос подлинно войны отечественной. Проповеди священников воодушевляли уходивших на фронт, утешали остающихся. В оккупированных областях листовки за подписью патриарха оказались одним из самых сильных средств советской пропаганды. Благовест московских соборов заглушил последние сомнения набожных англо-саксов. Союзники стали податливее при заключении договоров, более щедрыми в поставках по «ленд-лизу». Нуждалась власть в поддержке церкви и в первые послевоенные годы. Повсюду остались сироты, потерявшие детей родители, вдовы и калеки, которых зачастую кормила церковная паперть, а не ничтожное государственное пособие. Заграницей личина веротерпимости позволила коммунистам привлечь в т) наз. «движение сторонников мира» немало представителей духовенства — англиканца Джонсона, методиста Соппера, католика Андреа Гаджера и т. д.

После окончания войны прошло почти 10 лет. Подросли и стали на ноги сироты, притихла вдовья боль, поблекли от времени подвиги искалеченных воинов — советская пресса осмеливается уже открыто обливать героев грязью: «Эти калеки, у которых надо было просить прощения, действовали на него угнетающе — оставляя такое впечатление, будто он искупался в тине» («Правда» 4.8.54 «Свет против тьмы»). Коммунистической власти показалось, что пришло время, когда можно начать новое наступление на религию. А наступать стало необходимо. Случилось то, с чем православство смириться никак не могло — религия стала отлучиваться от коммунизма молодежь.

«В кунгурскую церковь, например, молодежь ходит, чтобы послушать, как красно говорит священник Бартов. Священнослужители произносят свои проповеди страстно, убежденно, конечно, без шпаргалок. Комсомольские же докладчики обычно вяло жуют за трибуной длиннейшую лекцию, не отрываясь от приговленного кем-то текста». («Молодая Гвардия» — «В чаду кадил», июль 1954 года).

В станице Филоновской Сталинградской области даже комсомольцы венчаются в церкви. 1) В Рязанской обл. в селе Фирилово молодые люди поют в церковном хоре, 2) в Саратовщине парни и девушки охотно посещают церковь не только по праздникам, но и в будни. 3) То же самое и в Кировской, Псковской, Миланской, Полтавской, Свердловской областях — по всей России. 4)

Пропагандный материал, помещаемый в молодежной коммунистической печати, мало чем отличался от довоенных антирелигиозных агиток. Это — прежде всего прикрытая термином «научно», демагогическая рутань марксистов по адресу религиозного мировоззрения; затем попытки опорочить религию смешением веры и суеверия, церковной обрядности с дикими языческими обычаями, притаившимися в тени некоторых храмов, и, наконец, клевета на священнослужителей, питающаяся все еще примерами чуть ли не двухсотлетней давности. Для того, чтобы придать атеизму видимость научности, коммунисты прибегают к простому приему. В ходе антирелигиозной кампании пропагандный материал публикуется на фоне нескольких статей, справедливо заслуживающих названия научно-популярных и написанных солидными учеными. В «Комсомольской Правде» таким фоном были статьи профессоров И. А. Ефремова, В. Ромадина, Штернфельда. Физик Ромадин в легко доступной форме излагает принципы сложнейших внутри-атомных процессов. Палеонтолог Ефремов в серии очерков «Охотники за динозаврами» с увлекательностью приключенческого романа рассказывает об экспедициях в Центральное Гоби, где в каменных грядках красно-песчаных пород похоронены тысячи тонн костей доисторических ящеров. Астроном Штернфельд, уносит молодого читателя в межпланетные дали, знакомит его с реальными возможностями полетов на луну, Марс, Венеру. Перечисленные ученые не только нигде не нападают на религию, но даже не вступают в полемику с т. наз. «буржуазными идеалистами». Их труды могли-бы быть прочтаны в англиканской воскресной школе, напечатаны в католической газете или помещены в библиотеку православного монастыря.

Несколько по-иному выглядят статьи академика Опарина, д-ра биологических наук Дебеца, научных сотрудников Мезенцева и Мелюхина. Произведения этих авторов, несмотря на все их ученые степени и громкие титулы, не больше, чем наукообразные агитки, одобренные некоторым количеством, непонятной среднему читателю, терминологии. В своей статье «Советская астрономия в борьбе против идеализма и религии» («Комсомольская Правда» 19 сентября 1954 г.) С. Мелюхин довольно откровенно признает, что советская наука должна заниматься не бескорыстными поисками истины, а подгонкой фактов под догмы диалектического материализма. Для него главный аргумент в пользу космогонических гипотез советских ученых — это то, что последние «разрабатывают их в соответствии с принципами диамата». Гипотезы же Милна и Хойля неверны, потому что «используются в своих целях церковниками и буржуазией». Критикуя западных ученых, Мелюхин старательно обходит разбор данных опыта. В его статье нигде не упоминается ни об отношении звездной массы к массе космических лучей, что заставило бельгийца Лематра принять гипотезу распада гигантского перватома, 5) ни о температурном состоянии и химическом составе вселенной, подкрепляющих рассуждения американского ученого Гамоу, 6) ни, тем более, о смещении в сторону красного цвета (удлинение световых волн) спектра далеких галактик. 7) Последнее явление легло в основу утверждений Лематра, Милна, Гамоу и др. о конечной, но непрерывно распространяющейся вселенной и также послужило отправной точкой гипотезы Хойля о постоянном появлении новой материи в бесконечном космосе. При встречах с западными коллегами советские ученые приписывают смещение спектра то неизвестным до сих пор свойствам фотона, то существованию неких, недоступных наблюдению, мета-галактик, тем самым вынося объяснение этого феномена за пределы опыта. Сходными с Мелюхинскими приемами, пользуется для ведения полемики и академик Опарин. Он также, не рискует вдаваться в подробное обсуждение опытных данных — теорию первородной генной молекулы отмечает пустой фразой: «Это, конечно, ничего по существу

не объясняет», а главный порок менделистов-морганистов видит в том, что: их теории неизбежно скатываются к идеалистическим, религиозным представлениям». Опарин, правда, приводит довольно интересную собственную гипотезу зарождения жизни на земле, — путем полимеризации растворенных в воде углеводов, постепенного возникновения белковых веществ и превращения последних через промежуточную стадию коацерватных⁸⁾ капель в живые клетки. Основной философский вопрос биологии — «что заставляет бездушную инертную материю стремиться в сторону наивысшей организованности?» — советский академик оставляет без ответа, так же как и марксисты-астрономы оставляют без ответа вопрос: «что заставило слепую материальную природу подчиниться закону, у которого, якобы, нет законодателя?»

Если даже будущее подтвердит правильность предположений Опарина и О. Ю. Шмидта, это отнюдь не сделает марксизм более научным. Заслуга Милна, Лематра, Девилье, Александера и др. не в попытке доказать научно бытие Бога (всякое рациональное доказательство Божественного бытия противоречит самой сущности идеи Бога), а в том, что они показали, что данные научного опыта могут быть с меньшим, если не с большим, основанием использованы для идеалистического, чем для материалистического толкования природы. Их исследования лишены раз подтверждаются, с одной стороны, метафизическую нейтральность науки и, с другой, религиозный характер атеизма, являющегося по сути слепой и фанатичной верой в **небытие Бога**.

Не справившаяся ни с происхождением вселенной, ни с зарождением жизни атеистическая пропаганда столь же беспомощна и в разрешении третьей великой тайны природы — выделение человека из животного мира. В статье д-ра биологических наук Дебеца много интересных сведений о раскопках на Яве и в Китае, о мозге неандертальца и питекантропа, о колыбели человечества в Южной Африке и в Центральной Азии. Несмотря на это, главное утверждение автора, что человека создал труд, звучит малоубедительно. Марксисты вообще склонны к хлестким выражениям вроде «страх создал богов» и «труд создал человека». Бесмысленность этих формулировок заключается в том, что некая творческая сила приписывается абстракции, качеству, которое, будучи отдельно от своего носителя, ничего само по себе не представляет. Идя подобным путем, можно доказать до «созданного капиталом Маркса» и «пиковой дамы, которая родила гений Пушкина».

До постановления ЦК от 10.11.1954 г. статьи типа перечисленных выше публиковались в советской прессе сравнительно редко. Их главная цель — возродить среди интеллигенции традиции вольнодумцев XVIII — XIX веков, когда атеизм нередко считался признаком просвещенности и прогрессивности. Большая часть антирелигиозной пропаганды была не столько направлена на мировоззренческий идеализм вообще, сколько стремилась подготовить почву для административно-полицейского преследования веры.

Один из излюбленных пропагандных приемов — обвинение религии в преступной деятельности знахарей, предсказательниц и ворожей. «Комсомольская Правда» подробно описывает дикие волхования серафимовической колдуньи Зои Алексеевны Холодковой; утверждает, что религиозность родителей была причиной того, что студентка московского нефтяного института Эмилия Замошникова стала жертвой мошенниц гадалок; в одну фразу втискивает Пасху, пост и нелепые суеверия. «Смешно и нелепо выглядят в наше время юноши и девушки, верящие в чудеса и привидения, справляющие пост и Пасху, боящиеся 13-го числа и шарахающиеся в сторону от кошки, перебежавшей дорогу». («Комс. Правда» 6. 8. 1954 «О религиозных предрассудках»). Если верить коммунистической печати, то, оказывается, детей крестят обязательно в нетопленном помещении и чуть ли не в нарочно замороженной воде: «родившегося младенца окунуть к ледяную воду церковной купели» («Комс. Правда» 6.8.1954 г.), «больной ребенок соседки умер после крещения в холодной купели» («Комс. Правда» 31.7.1954 г.) и т. д. Церковь, по утверждению тех же газет, повинна и в алкоголизме и в неудачах

колхозной экономики: «Церковные праздники справляются в разгаре урожая и сопровождаются пьянкой» («Комс. Правда» 11.9.1954 г.), «Как правило пост совпадает с периодом напряженных с/х работ. А какой прок в поле от колхозника или колхозницы, изможденных постом?» («Комс. Правда» 6.8. 1954 г.). О том, какой прок от русского труженика, изможденного периодически устраиваемыми советской властью голодовками, газета не спрашивает. Молчит она и о вековой борьбе церкви с суевериями, колдовством, ворожбой и о том, что трудно найти пьяниц среди людей, по-настоящему верующих и богобоязненных.

Цель подобной пропаганды была ясна. Закрытие церквей, запрещение соблюдения религиозных обрядов советская власть пыталась представить как заботу о благе народа. Аресты духовенства оправдывались «непристойным поведением священнослужителей». 8 августа «Комсомольская Правда» посвящает целую страницу клевете на духовных лиц. Здесь и пропахший нафталином рассказ Се-рафимовича «Чудо», и более, чем вольный, перевод арабской сказки о жадном дerviше, и несколько грубых и малоостроумных фальшивок, именуемых «народными рассказами». Кроме бытовых преступлений для прокурорских актов по делу «служителей культа», фабриковался и более серьезный обвинительный материал. В одном из июльских номеров газеты «Молодежь Литвы» можно было найти следующие строки: «Мариенас видел, как духовные отцы сотрудничали с гитлеровцами во время войны, после нее мешали строить новую жизнь». Д. Михневич в книге «Очерки по истории католической реакции» писал о том, что якобы в специальных закрытых школах Ватикана проходят подготовку «воины Христовы — диверсанты, парашотисты, предназначенные для засылки в нашу страну». Можно было найти сходные обвинения и по адресу православного духовенства.

Попытка представить церковь как некую пятую колонну капиталистического окружения — пропагандная ложь. Но боязнь коммунистов религии вполне обоснована. Коммунистическая теория неотделима от практики, и если «страх создал богов», а «труд создал человека», то значит в стране царит обожествленный страх, а человек стал рабом принудительного труда. Как и для языческих кумиров, для идолов марксизма самая большая опасность в истинной вере в Бога Живого. В отношениях с религией коммунисты стали жертвой доверия к формуле диамата: «Религия — опиум для народа». По мнению марксистских теоретиков, господствующие классы используют религию для подавления воли к сопротивлению у народных масс, для облегчения безнаказанной эксплуатации трудящихся. Трудно найти в современном мире класс более эксплуататорский по своим внешним проявлениям и более паразитарный по своей внутренней сущности, чем правящий слой Советского Союза. Трудно найти кого-либо, кто был бы более заинтересован в подавлении народной воли к сопротивлению. Казалось бы, что после того, как годы и террор сломали в духовенстве преданность прежним «хозяевам», верность царской России, союз советской власти с церковью логичен и понятен. На деле получилось по-иному. Всякая великая религия, а особенно христианство, утверждая неповторимую ценность отдельной личности, одновременно рассматривает каждого человека как творца собственной судьбы, полностью ответственного за свой облик и за свои поступки. «Я всего лишь исполнял приказ» — можно сказать судьям Нюрнбергского процесса, но нельзя так ответить ни голосу собственной совести, ни, тем более, суду Божьему. Для христианина авторитет совести выше авторитета государственного указа. В этом — принципиальное расхождение христианства с любой деспотией, с любым тоталитаризмом. В этом — главная причина гонений христиан как в языческом Риме, так и в нацистской Германии и в Советской России. Трудно совместить идеал советского человека, ценность которого, по мнению власти, определяется, как и ценность рабочей скотины, дневной выработкой (см. в «Правде» за 11.8.54 г. передовую «Моральный облик советского человека»), с христианским идеалом, покоящемся на сочетании богатства внутреннего духовного мира с действительной любовью к ближнему. Утверждая, что вера в Бога — удел слабых и безвольных, коммунисты, вслед за

фашистами, спекулируют на иногда переходящей в заносчивость гордости молодежи. Гордости, порожденной избытком жизненной силы, зачастую переоценкой своих возможностей. Проповедь смирения обычно истолковывается такого рода пропагандой в утрированном толстовском варианте. Но не христианское смирение, а христианская непримиримость ко злу страшна коммунизму. Власть хорошо знает, что вера даже слабых делает сильными. Сильные же способны не только сопротивляться, но и побеждать. После трех месяцев усиленной травли религии, власть вынуждена была временно отступить. Сначала со страниц взрослой, а затем и комсомольской печати почти исчез антирелигиозный материал. 19 октября советская пресса помещает подробное описание церемонии вручения сталинской премии священнику Андреа Гаджеру. С первой страницы «Правды», пусть из уст католического ренегата, зазвучала высшая Христова заповедь — закон любви к ближнему. В завершение всего, 11 ноября 1954 года в «Правда» было опубликовано известное постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды». Таков был конец.

Что вынудило послесталинцев затрубить отбой? Кроме заграничного общественного мнения, главной причиной было то, что атака воинствующих безбожников разбилась о стену народного сопротивления. Примеры тому можно найти в той же советской печати. Приведем три наиболее характерных: в Воронеже плотник Семен Клепетов не дал комсомольцам снять повешенные над его койкой в общежитии венчальные иконы. «Не троньте! С чем родился, с тем и умру» — сказал молодой рабочий.⁹⁾ В Поволжье агитатор-безбожник Вера Алексеева «не решается» ехать в деревни и села Балашэвской области, а проводит свои лекции только лишь в районных центрах, где можно рассчитывать на охрану наряда милиции.¹⁰⁾ В селе Рождество Поворинского р-на родители Владимира С. выгоняют своего сына из дому.¹¹⁾

Наконец, в самом хрущевском постановлении можно найти место, где говорится о том, что «административные меры и оскорбительные выпады против верующих и церковнослужителей могут принести лишь вред, привести к закреплению и даже усилению у них религиозных предрассудков». В этих строках признание, что в 1954 году в Советской России на место каждого пострадавшего за веру заступали десятки других верующих, готовых принять венец мученичества, а пример новых мучеников даже неверующих вдохновляет к сопротивлению.

Срыв антирелигиозной кампании — крупнейшая победа народа. Невольно возникает вопрос — почему такую победу над властью удалось удержать сейчас, в 1954 году, — и невозможно было в 20-30-е годы, когда, казалось, и верующих было больше и глумление над религией было еще более гнусным и неистовым?

Причина этого кроется в том, что тогда защита веры, как и всякое сопротивление мероприятиям власти, было делом, главным образом, старшего поколения, зачастую так называемых «бывших», с гордостью носивших звание «контр-революционеров». В этой белой борьбе было много героев, но на всех подвигах лежала печать обреченности. В настоящее время борьба против власти стала делом молодого поколения. Кроме того, воля к сопротивлению охватила все слои общества — крестьян и студентов, рабочих и писателей, концлагерников и часть членов партии. Перестав быть контр-революционной силой, ставящей своей целью реставрацию, антикоммунизм превратился в мощное революционное движение, стремящееся к построению новой России. В этом сила современного народного сопротивления. В этом также залог того, что недалек тот час, когда душителям духа придется туто.

Примечания:

- 1) «Комсомолская правда» от 20. 8. 54, «Больше заботы о воспитании сельской молодежи».
- 2) «Комс. правда» от 8. 9. 54, «Там, где бездействует клуб».

- 3) «Комс. правда» от 22.9.54, «С пленума Саратовского обкома ВЛКСМ».
 - 4) «Комс. правда» от 31.8.54; 29.7.54; 21.8.54; 7.9.54; 19.10.54 и 28.9.54.
 - 5) Отношение звездной массы к энерго-массе космических лучей равно отношению массы радиоактивного атома к энерго-массе радиоактивного излучения.
 - 6) Средняя температура космоса 50 градусов по абсолютной шкале и химический состав вселенной — 50 % водорода, 44 % гелия и 1 % других элементов — совпадает с данными, полученными в результате вычислений, если принять гипотезу Гамоу, о «первоначальном взрыве».
 - 7) Удлинение световых волн галактик объясняется тем, что последние с большой скоростью удаляются от нас (эффект Доплера).
 - 8) Коацерватные капли — взвешенные в некоторых растворах скопления белковых веществ, которым свойственна примитивная организация, в частности, коацерватные капли способны улавливать (адсорбировать) различные вещества из раствора.
 - 9) «Комс. правда» от 19.10.54, «Окраинный потолок».
 - 10) «Комс. правда» от 28.9.54, «Непонятное благодушие».
 - 11) Там же.
-

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ И ЖУРНАЛАХ

Литература и искусство

Летописец русского Ренессанса

С. К. Маковский — едва ли не последний из могикан — после смерти в 1949 г. Вячеслава Иванова — того периода русской литературы, который с недавних пор стало принято называть ее «серебряным веком». Не знаю, кто первый пустил в оборот это наименование (едва ли не Ю. П. Иваск в «Гранях» или в «Посеве»), но оно, к сожалению, как будто прижилось и пустило корни. Мне оно все же кажется неправильным, и я предпочитаю выражение «серебряный век» употреблять в его традиционном применении (например, в прекрасной английской «Истории русской литературы» кн. Д. П. Святополк-Мирского) к тому периоду в истории русской поэзии, который характеризуется именами А. Н. Майкова, гр. А. К. Толстого и т. д. О блестящем же периоде в истории не только русской поэзии, но и русского искусства, и русской духовной культуры вообще, начавшемся в конце 90-х годов и продолжавшемся до революции, следует говорить как об эпохе Русского Ренессанса или как о втором «золотом веке» (если первым считать ни с чем не сравнимую пушкинскую пору, русский «ампир»).

С. К. Маковский был видным деятелем этого второго золотого века — не как писатель, не как поэт (как таковой, он оставит след в русской литературе только своими поздними, уже эмигрантскими, сборниками стихов), а как деятель русской культуры и прежде всего как многолетний редактор такого прекрасного журнала как «Аполлон» (1909 - 1917), этот великолепный образец слож-
Сергей Маковский. Портреты современников. Изд-во имени Чехова. Нью Йорк, 1955. Стр. 416.

ного цветения русской культуры накануне отбросившей Россию на несколько столетий назад революции. Будучи одним из вершинных явлений русского «европеизма», «Аполлон» отнюдь не был, вопреки довольно распространенному мнению, явлением безнациональным. Сейчас вообще принято хаять этот русский Ренессанс, подчеркивать его дурные стороны, выделять наметившиеся в этот период и не подлежащие отрицанию признаки разложения. Я уж не говорю о Советской России, где этот период отбрасывается как «буржуазно-декадентский» и потому или совершенно замалчивается, или трактуется только в отрицательном плане, с точки зрения противоположения явлениям, признаваемым «здоровыми», например, горьковскому «реализму». Эта тенденция охаивания русского Ренессанса проявляется и в Зарубежье: она чувствуется, например, в выпущенных тем же Чеховским издательством интересных воспоминаниях Д. Аминадо «Поезд на третьем пути». Книга Маковского от этой тенденции свободна, хотя он вовсе не склонен идеализировать эпоху.

Может быть это объясняется и тем, что, за небольшими исключениями, Маковский рассматривает вершины тогдашней утонченной культуры и не занимается житейски-бытовым болотом и кривыми отражениями в нем «модернизма». Перед нами проходят — по большей части в двойном восприятии: живого личного впечатления и тонкой критической оценки — такие фигуры, как Владимир Соловьев, Шаляпин, Дягилев, Иннокентий Анненский, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин, Качалов, Осип Мандельштам, Алек-

сандр Венуа и другие представители русского Ренессанса.

Книга распадается на две части. Первую составляют воспоминания о собственном детстве с фигурой отца — знаменитого художника — в центре и на фоне эпохи. Это — одновременно и портрет К. Е. Маковского как человека и художника, и частичная автобиография (автор напрасно при этом приносит читателю извинения за обилие автобиографических подробностей — читатель рад узнать кое-что и об авторе), и живая картина эпохи — той эпохи, которая предшествовала русскому Ренессансу, вокруг фигур которого сосредоточены составляющие вторую часть книги «портреты современников». В своем портрете отца, который после детства стал далек ему и как человек и как художник, С. К. Маковский проявил незаурядную беспристрастность. Говоря о том, что сам Константин Маковский небрежно относился к своей славе и не сохранял ни фотографий со своих полотен, ни критических отзывов, он пишет, что пора напомнить «старой» и «новой» России о его живописном наследстве и прежде всего о его «портретной галлее», которая останется «в летописи русской портретной живописи как документ первостепенного значения для характеристики целых слоев русского общества, исчезнувших, как еще никогда, кажется, ничто не исчезало за последние века — окончательно, невосстановимо».

Как и портрет отца, портреты современников — и старших, и младших — исходят из личных впечатлений и воспоминаний и вместе с тем выходят за пределы их: мемуары сочетаются в них с литературной и художественной критикой. Это и портреты людей и критические этюды о поэтах и художниках. С точки зрения литературной критики особенно интересны очерки об Иннокентии Анненском и Осипе Мандельштаме. В обоих есть кое-что спорное, но оба несомненно войдут в критическую литературу об этих замечательных и своеобразных поэтах. Знакомство Маковского с Анненским, который был много старше его, было недолгим (меньше года), но близким, и Анненский сыграл

очень большую роль при возникновении «Аполлона», который явился на свет в год его смерти. То, что рассказывает Маковский об этой роли, очень интересно, а для тех, кто никогда не брал в руки «Аполлона», будет и ново. В характеристике Анненского, данной Маковским, многое объясняет, почему этот «учитель акмеистов», у которого с акмеизмом не было ничего общего, так много значил для некоторых русских зарубежных поэтов «парижской» школы. Анненский (пишет Маковский), «платя дань эстетствующему модернизму... оставался русским. Глубины совести, глубины любви и жалости к человеку, трагическое ощущение обреченности мира, утратившего веру в Божество, иначе говоря — сознание, уводящее нас за пределы так называемого «чистого искусства», вдохновение, связанное с самодовлеющей религиозной тревогой, вот что роднит Анненского, скажем: с Лермонтовым, Тютчевым, Гоголем, Достоевским, вообще с русским искусствоощущением, гораздо больше, чем с поэзией современного Запада и ее французских учителей, «проклятых поэтов», как Рембо или Лотреамон». Мысль не новая, но по новому выраженная и новый свет бросающая на поэзию Анненского и его зарубежных поклонников и последователей. Интересно и то, что Маковский говорит о сочетании у Анненского нигилизма века с неосознанной им самим религиозностью натуры. Несколько преувеличивает, мне кажется, С. К. Маковский значение Анненского как литературного критика: у Анненского были замечательные прозрения, но много было в его критике и раздражающего импрессионистического субъективизма. В частности относится это и к напечатанным в «Аполлоне» статьям о русских поэтах.

В этюде о Мандельштаме, которого Маковский встретил в самом начале его литературной карьеры (она началась в «Аполлоне», и очень красочно у Маковского описание первого визита Мандельштама в редакцию), много интересных черточек и тонких замечаний, но есть и спорное в попытках истолковать криптограммы пореволюционных стихотворений Ман-

дельштама. Спорно и само утверждение, что «советский» Мандельштам «уже куда менее «бесспорный» Мандельштам». В конце своего очерка Маковский приводит неизвестное до сих пор стихотворение Мандельштама, якобы написанное им в последние годы его жизни (с намеками на ссылку в Сибирь) и привезенное недавно из России «одной из его почитательниц». По словам С. К. Маковского, «в авторстве его сомневаться нельзя». Позволю себе — и в этом я не одинок — не согласиться с ним. Для меня это стихотворение звучит как подделка — и даже не очень умелая — под Мандельштама. В нем есть отдельные мандельштамовские образы, слова и звуко сочетания (во второй строфе, например), но все его звучание не мандельштамовское (представить себе Мандельштама автором первой строфы почти невозможно), и оно особенно мало похоже на последние известные нам стихотворения Мандельштама, напечатанные в начале 30-х годов в советских журналах и газетах. Жаль, что С. К. Маковский не мог сказать больше о происхождении этого стихотворения. Пока что его нужно во всяком случае отнести к разряду *dubia*.

В коротком отзыве нельзя остановиться на всем богатом содержании интересной и прекрасно написанной книги Маковского. Отметим очень интересный портрет Александра Добролюбова, с которым Маковский столкнулся еще в гимназические годы и которого он называет «знаменательным... очень русским и очень значительным явлением». Очень ярко написан очерк о Дятилеве, кончающийся такими словами: «Кому много дано, с того много и спросится. Сергею Павловичу Дятилеву, при всей вулканической воле его и уме, открытым всем соблазнам красоты, недоставало той мудрости сердца, которая защищает от одиночества перед лицом смерти... Но верно и другое: обладай Сергей Павлович этой мудростью, кто знает? — создал ли бы он то, что создал». Очень интересен совместный портрет Владимира Соловьева и Георга Брандеса, с которыми судьба столкнула автора на заре его

юности в финляндском пансионе Рауха на озере Сайма, воспетом Соловьевым. Завлекательно читается очерк «Черубина де Габриака» — история одной литературной мистификации, в которой был замешан Максимилиан Волошин. Самому Волошину посвящен особый очерк, в котором характеристика личности опять переплетается с литературной оценкой, хотя и менее углубленной, чем в этюдах об Анненском и Мандельштаме. Очерк о Вячеславе Иванове интересен данными о неизданном наследии умершего в Риме поэта и цитатами из него (очерк этот уже был напечатан в «Новом Журнале»; впрочем и некоторые другие — правда, подвергшиеся переработке — были напечатаны в нью-йоркском «Новом Русском Слове»). Цитаты из стихотворений Иванова заставляют пожелать опубликования его литературного наследия. Впрочем, на взгляд автора этих строк, незаконченная поэма — повесть Иванова в былинном духе, подробно излагаемая Маковским, представляется малоудачным произведением.

Книга С. К. Маковского принадлежит к наиболее интересным и удачным из изданных издательством имени Чехова мемуаров о недавнем прошлом.

От многих других изданий того же издательства она выгодно отличается сравнительно небольшим количеством грубых опечаток и отсутствием ляпсусов, которые портят, например, воспоминания Д. Аминадо (ошибки в цитатах, в именах и отчествах, неверные факты): в подобных ляпсусах издательство приходится винить в той же мере как и автора, ибо они означают отсутствие хорошей редакторской руки. В будущей свободной России, где русскому духовному ренессансу будет воздано должное, книга С. К. Маковского будет несомненно переиздана в достойном ее виде — с портретами и иллюстрациями, как памятник не только автору, но и «Аполлону» и той русской культуре, которую он представлял. А тем временем можно пожелать, чтобы С. К. Маковский прибавил еще новые к своим «портретам современников».

Глеб Струве

Предтечи и борцы

В те дни писал ид-олог «Серапионовых братьев», один из самых интересных русских критиков Илья Груздев:

«Как бы то ни было, сейчас в русской литературе нет более насущного вопроса, как утверждение новых форм прозы, оскудевших сейчас, может быть, накануне нового расцвета».

Вполне понятно, что после революции, после кровопролитнейшей гражданской войны старое, простое, привычное показалось слишком пресным. Это было время экспериментирования, время усложнения задач и усложненных решений. В этом большая слабость писателей «Перевала», как и большинства других русских писателей того времени. Явная экспериментальность художественного произведения всегда идет за счет снижения его эмоционального воздействия. С другой стороны, это большой плюс в том отношении, что писавшие тогда золотым ключом нежелания продолжать традицию открыли какие-то новые двери, перед которыми русская литература сегодняшнего дня и стоит. На их долю выпало быть предтечами того ренессанса, который начнется с освобождением.

Если подходить к ним с чисто-художественной точки зрения, то окажется, что писатели «Перевала», в лучшем случае, что-то обещали. Даже такие крупные из них как Борис Пильняк, ненадолго пережили свою физическую смерть. Кто сейчас читает Пильняка? Знают по имени, да и то не все и не всегда. Заслуга этой группы писателей в другом. И в этом другом имена их вечно будут принадлежать русской истории. К ним тянется древняя линия традиции от Макария, остановившего Иоанна Грозного перед крестом: «недостойн к нему приложиться!» Они — герои борьбы за свободу, за правду, за справедливость.

В довольно широких кругах обывателей распространено такое убеждение: **Глеб Глинка**. «На-перевале», изд-во имени Чехова. Нью Йорк, 1954.

«Ну и пускай жмут писателей. Нам что с того? Пусть лучше жмут писателей, которых мало, да дают жить остальным, которых много». Это сомнение не принимает во внимание одного. Всякий тоталитарный нажим на литературу, на искусство есть только следствие общей болезни организма. Литература страшна для тиранов только постольку, поскольку это литература, которую читает каждый. И потому нажим на писателя есть, прежде всего, нажим на того Иван Иваныча, который считает, что, если на писателя и нажмут, большого горя в этом нет.

Передавать историю группы «Перевал» не стоит — она известна всем. «Перевал» возник в то критическое время, когда решалась окончательно и бесповоротно судьба русского искусства: войдет оно в соглашение с диктатурой или пойдет своим особым путем, путем сопротивления и жертвы собственной жизнью. В этом отношении само существование и последующая судьба «Перевала» символичны. В тот момент, когда молодежь, собравшаяся вокруг альманаха «Перевал», решила идти собственным путем, судьба ее была predetermined. «Безумству храбрых поем мы песню, безумство храбрых — вот мудрость жизни!» — восклицал в те дни М. Горький. Если бы он был последователен, то и его жизнь привела бы в «Перевал». Он последовательным не оказался. Последовательными оказались те, в общем, мальчики, которые с фронтов гражданской войны пришли строить новую литературу. Мало кто остался в живых. Большинство сгинуло в концлагерях и кнута, выпущенная под редакцией одного из членов «Перевала» — **Глеба Глинки** — достойный памятник на их безвестные могилы. Сама же судьба их и их имена вечно будут вдохновлять все новые и новые поколения русской молодежи на борьбу за свою и общероссийскую свободу.

А. К.

Любовь к людям

У Тургенева где-то сказано: если книга охотно написана, она охотно и читается... Перевернув последнюю страницу сборника Андрея Седых «Только о людях», думаешь, что в библиотеке охотно читаемых книг найдет свое место этот том в скромной голубовато-серой обложке *).

Ни дьяволов, ни ангелов, ни «положительных», ни «отрицательных» героев нет в этих 18 рассказах. Тут просто жизнь, ровная, обыкновенная, но в этой ровности захватывающая увлекательность повествования.

Оставляя в стороне какие либо аналогии, всё же хочется сказать, что именно обыкновенность эта роднит творчество А. Седых с творчеством Чехова, Бунина и, в какой-то степени, Тэффи.

В особенности яркий и показательный первый рассказ о жизни Алексея Колесова, эмигранта, выходца из Вольской губернии. Да ведь это бунинский «Господин из Сан-Франциско»? И да, и нет. Нет — потому что у Бунина богат-путешественник, у А. Седых — Алексей Колесов, бедняк-эмигрант, жизнь которого «была проста и несложна» и когда он умер — «все о нем сразу же забыли». Да — потому что и здесь и там — приходит смерть, мудро разрешая все сомнения и вопросы. Пусть остается горечь от ненужной в салоне океанского парохода музыки, ничего не знающей о трюме, в котором совершает свое последнее путешествие к родной земле умерший Господин из Сан-Франциско; пусть охватывает обида, что в домик умершего бедняка-эмигранта пришел новый хозяин и вырубил яблоню, возвращенную самим Алексеем Колесовым... Пусть всё так завершается, но вечная жизнь — бессмертна.

Именно это утверждение вечной жизни и проходит по страницам сборника. Не проповедью, не наставлениями, а увлекательным показом всего того, что мы видим каждый день и каждый час. Видим, и... проходим мимо, может быть даже с таким же равнодушием, с каким

фланируем мимо чужих домов, совсем не думая, что в этих каменных коробках бьются сердца людей и решается чья-то судьба...

Андрей Седых своим острым взглядом подмечает «пустяки», и пустяки оборачиваются картиной, на которой мы видим наших соотечественников, разбросанных по разным углам мира. Незаметные, маленькие люди, а на поверку выходит — у каждого свой богатый внутренний мир, наполненный мыслями, чувствами и переживаниями. И вот тут же, на этой же самой картине обыкновенных дней, появляется негритянская девочка Бабалу. Эпизод, деталь, штрих — и невозможно не полюбить эту наивно-веселенькую черномазую Бабалу с такой белой душой...

Люди, живые, обыкновенные люди, с которыми и вы и я встречались и встречаемся повседневно: вот герои рассказов Андрея Седых. Ничем они не выделяются, но они настоящие люди. Этим оправдано существование того большинства, которое просто живет и создает, стоя вдалеке от парламентов, от генеральских чинов, от власти, в честь которой музыканты Хузузуны, «выйдя из ворот тюрьмы... бодро размахивая смьчками... заиграли Интернационал...» (рассказ «Наполеоновский коньяк»).

Именно это большинство настоящих людей (в статистике-астрономическое число!) и дарит Андрею Седых темы для рассказов. Одни из этих рассказов — согреты улыбкой, в других — печалью, но все они нужны, правдивы и человечны.

Вся книга А. Седых, если можно так выразиться, глубоко-эмигрантская и вместе с тем — русская в лучшем смысле этого слова. Она проникнута любовью к «маленькому», далекому от исключительности человеку, любовью к детям, к природе, к животным.

Если говорить об обращенности к родной земле, то здесь необходимо отметить серию «Крымские рассказы». Пусть это прошлое для самого автора, но это понятно и дорого читателю, недавно оторвавшемуся от своей страны. Они

*) Андрей Седых, «Только о людях». Издание «Нового Русского Слова», Нью Йорк, 1955 г.

волнуют и тревожат сердце. Вольно или невольно они заставляют читателя возвращаться памятью в уже ушедшее и видеть те же костры в предгорьях, слышать тот же звон цикад, что писатель унес с собой в чужие земли...

Завершена книга записками «Лето в Италии»... Опять-таки думаешь о большом умении рассказать об Италии, о ее вечном городе — Риме так, чтобы это не напоминало уже где-то, когда-то читанное-перечитанное. У Андрея Седых хороший, не обманывающий глаз. Зрительные восприятия — порождают новые мысли. Мысли — находят выраже-

ние в таких словах, что сам себе говоришь: так вот она — Италия! Да, писатель показывает Италию с ее богатой природой, изумительной историей и таким бедным, хорошим и трудолюбивым народом. Именно русский писатель мог так показать Италию, потому что в глубине его души неистребимая, крепкая любовь к человеку...

Вот по всему этому мне и кажется, что новый сборник рассказов Андрея Седых является той книгой, которая будет охотно читаться и долго жить...

В. Свен

Андрей Белый

(По поводу книги К. В. Мочульского)

Труд недавно умершего видного литературоведа К. В. Мочульского, появившийся уже после его смерти в издательстве УМСА-Press, посвящен жизни и творчеству одного из самых трагических представителей последней эпохи нашей литературы, Андрею Белому, который сам о себе так метко и исчерпывающе высказался в лаконическом двустишии:

«...думой века измерял,
а жизнь прожить не успел...»

С ранней юности в Борисе Николаевиче Бугаеве, сыне известного профессора-математика Московского Университета, с детства, у себя дома перевидавшем весь ученый мир столицы конца прошлого века, наблюдается тот комплекс переживаний и устремлений мистического порядка, которые томили одновременно с ним и другого его однолетку — крупнейшего поэта эпохи — Александра Блока. Чувства эти в Бугаеве в значительной мере окрепли и развились под влиянием дружбы его с семьей Соловьевых — братом и племянником Владимира Соловьева. По предложению Михаила Соловьева Бугаев выбрал себе и псевдоним: Андрей Белый. В частности, как и «Прекрасная Дама» Блока, «Королева», воплощающая в первом произведении Белого «Северной Симфонии» начало вечного, вся пронизана, как пра-

вильно подчеркивает Мочульский, «лазурью неба и пурпуром зари».

За построенной, как музыкальное произведение, первой «Симфонией» последовала «Вторая», которой Белый положил начало импрессионизму в русской литературе, одновременно проявив необычайный дар художественного шаржа, роднящий его с создателем русской сатирической литературы Гоголем. Недаром Вячеслав Иванов, не замедливший отметить эту черту в таланте Белого, и не называл его иначе, как «Гогольком». Дар этот с годами все усиливался, и в последнем своем, жутко подводящем итоги незадачливой жизни автора, произведении «Москва» Андрей Белый достиг в этом отношении уже неподражаемого совершенства и поразительной силы.

«Третья» Симфония, исполненная какого-то пророческого пафоса, построена на предвидении конца европейской культуры, причем Белый, хороня позитивизм философских учений 19-го века, становится тут бунтарем и предвестником надвигающейся мировой катастрофы.

Для Белого «символизм» был огненной стихией, через которую он прошел, пережив в течение нескольких лет сперва беспримерную дружбу, а затем и траги-

ческий разрыв с Александром Блоком, а вместе с тем и непосильное испытание, порожденное любовью к жене своего друга. В течение двух-трех лет Белый был идеологом школы русского символизма, приведшего его, по его собственному утверждению к подлинной «народности и религиозности». Пройдя через это поэтическое горнило, к которому его тянула еще заключенная в символизме музыкальная стихия, составлявшая, по его понятиям, самую сущность истинного искусства слова, Белый покончил с первым периодом своего художественного творчества, от которого оставался один «пепел», как он и назвал выпешшую в 1909 г. новую книгу своих стихов.

Если его первая книга стихов «Золото в лазури» была полна молодой радости и предчувствия ожидаемого ликования, когда:

«... Мир славословит Отца,
И ветер ласкает, целует...»,

когда «Все небо в рубинах», а «воздух лучист до боли...», то стихи книги «Пепел» отражают овладевший Белым ужас от сознания «проклятой» судьбы родины, от ожидания ее «гибели в метафизическом плане». Белый в сборнике этом славит скитальцев, нищих, разбойников, всю бродячую Русь каким-то особым, стилизованным языком, завершая вызванные им видения заклинанием:

«Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!»

а кончает книгу проникновенными, потрясающими стихами:

«Воздеваю бессонные очи,
Очи полные слез и огня,
Я в провалы зияющей ночи
В вечерюющих ответах дня».

✱

К этому времени относится сближение Белого с Вячеславом Ивановым, идея которого о своеобразном «братстве», созданном из избранных представителей русской культуры для спасения родины от неминуемой духовной гибели, вполне отвечала развивавшейся у Андрея Белого, еще неосознанной мании преследования. Так начался новый период в жизни Белого, окрашенный, по его выражению, странствиями, который ознаменовался сближением с Асей Тургеневой,

ставшей впоследствии его женой. В эту эпоху им были созданы два больших романа: «Серебряный голубь», построенный на противоположении народа и интеллигенции, вещь, в которой Белый, как образно и справедливо говорит Мочульский, «вздернул на дыбу русскую прозу, затопив словарь потоком новых, выдуманных им слов», и «Петербург» — кошмарный, чудовищный мир, созданный небывальши до того приемами речи, произведение, в котором Белому удалось как бы реализовать свою «выдумку гениального безумца», как этот роман в свое время охарактеризовал Вячеслав Иванов.

В одной из своих теоретических статей Белый доказывал, что наука идет от незнаний к незнаниям и таким образом является систематикой всяческих незнаний. Бессмысленным представлялся Белому и весь мир, как он это и постарался изобразить в своем романе: «Петербург», в котором идеи реакции и революции, сталкиваясь и борясь друг с другом, позволили Белому выяснить для самого себя, насколько они обе ему равно ненавистны. Единственное спасение он теперь находил в «тайном знании» — антропософии, которой увлекся вместе с женой, и в конце концов направился к «учителю» в Дорнах, где пытался строить будущий храм «тайного знания» пресловутый Рудольф Штейнер.

Вскоре, однако, Белый из восторженного приверженца «доктора» становится его горячим противником. Оставив в Дорнах Асю, не желавшую больше продолжать свою жизнь с Белым, он вернулся внутренне и внешне опустошенный, в состоянии крайнего возбуждения в Петербург, где сразу оказался «в большой моде». Приняв произошедшую вскоре февральскую революцию, он в своих бесчисленных газетных и журнальных статьях призывал всех к «пламенному энтузиазму». Октябрьская революция превратила его затем в голодного и бездомного «работника Пролеткульта». Он стал учить молодых поэтов ценить поэзию Пушкина, читал разные лекции, сам увлекаясь «увлечением поэзией» своих новых, в большинстве малограмотных учеников, и жаловался в то же время на холод, голод, свои изношенные ботинки, которые вынужден был прикрывать

длинной на выпуск рубашкой, отсутствие теплого пальто и какого бы то ни было комфорта...

*

В 1921 г. — после смерти Блока — Белому удалось получить разрешение на выезд за границу, где на сей раз «невнятица» его жизни достигла крайнего своего апогея. Много работая — в течение двух лет им было опубликовано 16 произведений — и провозгласив новую школу «мелодизма» в поэзии, Белый в ряде стихов запечатлел свои переживания от разлуки с женой, с которой тщетно пробовал снова сблизиться. Как бы ища затем исхода своей жизненной трагедии в звуках, Белый, как образно заключает свое повествование Мочульский, «завершал музыку мистических зорь и антропософских посвящений грохотом фокстрота и джимми».

Обрюзгший, поседевший, похожий не то на профессора без кафедры, не то на непризнанного изобретателя, по свидетельству Бориса Зайцева, встречавшего его тогда в Берлине и рассказывающего о том в задумчивом предисловии к книге

Мочульского, Белый вернулся в 1924 г. на родину, где успел еще написать свое последнее произведение «Москва». В нем, обличая капиталистический мир, он глумится и над собою, повествуя о своем прошлом и деформируя свои неотступные основные темы.

В 1933 г. Андрей Белый умер в Коктебеле от солнечного удара как бы оправдав, хоть и в карикатурном преломлении, свои собственные, сказанные о себе пророческие слова:

«Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел...»

Так закончилось земное существование «Котика Летаева», как он себя называл в ряде автобиографических писаний. В памяти всех, издавших его, он навсегда останется будто не совсем настоящим существом, большелобым, с бездонными голубыми глазами, в которых зажигались таинственные огоньки, как просветы какого-то иного, не всем доступного мира, в ауре из редких, золотых, легко реющих в дуновениях ветра волос.

Александр Шик

На верном пути

Подлинная талантливость стихотворений Бориса Вайнберга несомненна. Поэт прекрасно владеет формой, дает большое разнообразие ритмов и образов. Стихи его поражают большой динамической насыщенностью. Для поэта характерна выпуклая конкретность образов:

«Сходятся к берегу волны и тучи,

Легкие чайки звенят,

Скалы седые и бело-сыпучий

В пыл перемолотый шпат.

Так начинается одно из лучших стихотворений сборника — «Скандинавия».

День мой — грохот, мазут, известка,

Сам я собран, холоден, груб,

Расточай же улыбки подмосткам

Из подкрашенных горьких губ.

Борис Вайнберг. «Координата». Стихи. Издание кн. маг. «Александр Северинг», Рио-де-Жанейро 1955 г.

В сборнике «Координата» много литературных находок. Однако, наряду с удачами, над автором несомненно довлеет влияние его учителей — Пастернака, Маяковского, Гумилева. От Гумилева автор взял очень много — как положительного, так и отрицательного. Стихи «Координаты» слишком патетичны и пафос этот гумилевский.

Потухают огни и речи,

Отдаленный прибой городов.

И молчал бы тебе навстречу,

Не читая своих стихов.

Автору «Координаты» не хватает чистоты и простоты образов. Встречаются неудачные в своей тяжеловесной сложности строки, вроде:

Чадят каштанов канделябры.

Все это наследие символизма, в боль-

шой мере отошедшего в прошлое. К сожалению, ему не всегда удается избежать языковых штампов и банальных словосочетаний. Однако автор все же принципиально стоит на верном пути.

Он наделен большой писательской зоркостью и богатством восприятия, а также большой любовью к видимому конкретному миру. Пожелаем ему дальнейших творческих удач.

Т. Ф.

Просто сны

Примеров «вещих снов» в литературе много, особенно в русской — сон Татьяны в «Онегине», сон Раскольникова, хуже обстоит дело с просто снами. Для того, чтобы дать сон «просто», не делая его пророческим, нужно произведение, посвященное исключительно снам и вот с такой философией:

«Ночь без сновидения для меня, как «пропащий день». После необходимых пробуждений в день, я в «жизни» только брожу-полусонный: в памяти всегда клочки сна — бахрома на моей дневной одежде».

«Сон — это как разговор с «тронувшимся» человеком: слушаешь и все как будто по-человечески, но где-нибудь непременно, жди сорвется, какое-нибудь не туда без основания «потому что» или определение уж очень неожиданное — будет рассказывать о говядине и вдруг говядина окажется не мясная, а «планетное мясо».

С таким подходом можно написать Алексей Ремизов, «Мартын Задека — сонник», изд-во «Оплешник», Париж 1954 г.

«книгу снов». Ремизов это и сделал. Сны «просто», сны никакие, увидел — записал, а что он означает, о том Бог ведает. Да разве это так уж важно? Сон, как поэзия, которой оправдание в ритмичном сочетании слов. Слова будят чувства, чувства будят мысль, и тогда только приходит требование: объясни, что это значит. А объяснение простое: это значит — музыка.

Кстати, весьма близко подошла к этому и наука. Напомним английского Данна и его открытие, что сон — пополам из прошлого и будущего. Если взять книгу Ремизова и с этой точки разобрать, — пожалуй, и выяснится, что в ней чья-то большая судьба.

К тому же, важен и стиль. Только вот так, не думая об эвклидово-логической связи, не укладывая слова кирпичиками, сплетая из них тонкое, розовое кружево, можно об этом писать. Но тогда порой становится страшно и — мысль: а что если это действительно так: сон — явь, а явь — вселенский бред, в котором участвуешь поневоле.

А. К.

Политика и наука

Бегство в историю

Е. В. Спиридонова в своем труде «Экономическая политика и экономические взгляды Петра I» (Госполитиздат 1952 г.)

Е. В. Спиридонова. «Экономическая политика и экономические взгляды Петра I». Госполитиздат 1952 г.

и научное исследование и освещение истории русской экономической мысли называет «одной из актуальных задач» советской экономической науки. Нам кажется, что тенденция советских экономистов обратиться в историю является скорее бегством от актуальных задач. Оно и

понятно. В советских условиях весьма трудно заниматься серьезным исследованием текущих проблем. Зигзаги генеральной линии партии могут увлечь исследователей в лагери принудительного труда. О «бегстве в историю» свидетельствует и тематика диссертации и характер издаваемой экономической литературы.

Так, на соискание степени доктора исторических наук, представили свои работы Ф. С. Горова, Ю. А. Тихонов и Г. А. Фавстов. Первая — на тему «Отмена крепостного права на Урале (по материалам Пермской губернии)», второй — на тему «Рынок Устюга Великого в 50 - 70 гг. XVII в.» и третий — на тему «Капиталистическая эволюция помещичьего хозяйства центрально-черноземных районов России в пореформенный период 1861 - 1900 гг. (по материалам архива степных имений Юсуповых)». На соискание ученой степени кандидата исторических наук Н. Н. Стоскова представила диссертацию на тему «Древнерусское литейное дело». На соискание ученой степени кандидата наук (уже не по Институту Истории культуры, а по Институту Экономики, представила работу на тему «Разработка аграрного вопроса в русской экономической литературе 60 - 70 гг. XIX вв.» К. Т. Плицина.

Мы указали здесь лишь диссертации по институтам Академии наук СССР. Естественно, что такая же тематика интересует диссертантов и по многочисленным другим институтам нашей родины. При этом мы указали диссертации, защищавшиеся лишь в конце 1954 г.

Историческая и экономическая литература представляет более богатый материал для отражения затронутого нами вопроса. Невозможно перечислить всё, что появилось в послевоенное время в области народного хозяйства и истории русской экономической мысли. Поэтому мы ограничимся лишь некоторыми изданиями.

Самым значительным трудом является двухтомное издание «Истории народного хозяйства СССР» П. И. Лященко. Этому труду следует посвятить самостоятельную рецензию и здесь мы укажем лишь общую его характеристику. Материал двухтомника не соответствует его названию, поскольку автор описывает

период русской истории, кончая первой мировой войной. Полагаем, что талантливому исследователю не удастся издать следующий, третий том, посвященный уже действительно истории народного хозяйства СССР. Не удастся потому, что история советского времени не может быть научным трудом, не может излагать объективно развитие хозяйства. Кроме того, историю в СССР трактуют только вожди, а вожди сменяются, сменяется вместе с тем и «история».

Кроме того, имеются и меньшие по размерам камни преткновения. Так, в настоящее время, весьма остро дискутируется вопрос о периодизации истории советской экономики. В Академии наук, в Институте экономики, недавно состоялось «Шестое координационное совещание по проблемам экономической науки». На указанную нами выше тему выступили с докладом Д. Ф. Вирньика и на параллельную тему — «О периодизации истории русской экономической мысли» — Н. А. Цаголов. Более того, разгорелись весьма горячие споры вокруг понимания основного вопроса, а именно вопроса о самом предмете истории народного хозяйства. Судя по рецензиям, концепция докладчика на эту тему, С. К. Авдеева, не пришлась ко двору, да к тому же говоря объективно, и действительно докладчик запутался в дебрях официальных идеологических положений. Немудрено. Теперь эти положения не всегда увязываются между собой.

Чтобы яснее увидеть эти дебри, приведем место из рецензии, посвященное докладу Д. Ф. Вирньика и его перепалке с С. К. Авдеевым: «По мнению тов. Вирньика, предметом истории народного хозяйства как науки являются общественно-производственные отношения в их взаимодействии с производительными силами на основе действия объективного экономического закона обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил при соответствующем воздействии надстройки на экономический базис на определенном этапе развития какой-либо страны».

Можно не только заблудиться в этом наукоподобном определении, а заболеть

нервным расстройством, слушая или читая всерьез подобное шаманство.

В прениях по указанным докладом выступило весьма много представителей разных институтов и их филиалов и, надо сказать, большинство, ходя на корде большевистской официальной идеологии, произносили подобные невразумительные заклинания. Единственным свежим и отличным от всех выступлением являлось выступление проф. К. П. Новицкого. Он определил предмет истории народного хозяйства следующим образом: «История народного хозяйства, используя законы политической экономики, изучает не только отношения между людьми по производству, но и само производство, то есть конкретные отрасли, типы и формы хозяйства, которые складываются и развиваются на данном этапе общественного развития, их социальную и организационно-техническую структуру». Ученый обошелся без марксовской псевдо-научной терминологии «производительных сил», «производственных отношений», «воздействия надстройки на экономический базис» и т. п. Кстати сказать, в марксовом определении производственные отношения определяются через понятие производительных сил, а производительные силы через понятие производственных отношений. Очевидно, тот, кто хочет выставить себя правоверным марксистским ученым, должен пользоваться марксовской методологией заячьих петель.

Попутно отметим, что тот же марксов взгляд на историю связывает руки ученым, пытающимся определить предмет истории народного хозяйства. Как известно, марксисты смотрят вообще на гражданскую историю как на развитие производственных отношений, и это ограничительное понимание истории сводит историю народного хозяйства к полному совпадению с первой. Только откинув всю эту путаницу марксизма, можно разобраться и в предмете гражданской истории и в предмете истории народного хозяйства. Поступив именно так, проф. Новицкий смог дать ясный ответ.

Вернемся к экономической литературе. Помимо обширного труда П. И. Лященко отметим отдельно труды по истории развития различных отраслей и отдельно

труды по развитию российского хозяйства вообще. К первой категории отнесём следующие научные труды:

С. Г. Струмилин. Горнозаводский Урал петровской эпохи. 1954 г.

М. Мартынов. Уральская горнозаводская промышленность в эпоху Петра Великого. «Исторический журнал», № 9, 1944 г.

С. Г. Струмилин. История чёрной металлургии. Ак. Н. СССР. 1954 г.

Н. И. Павленко. Развитие металлургической промышленности в России в первой половине XVII в. 1953 г.

С. М. Лисичкин. Очерки по истории развития отечественной нефтяной промышленности. Дореволюционный период. 1954 г.

П. М. Лукьянов. Роль Петра Великого в организации химического производства в России. (Журнал «Вопросы истории» № 6, 1947 г.).

П. М. Лукьянов. История химических промыслов России до конца XIX в. 1948 г.

Ко второй категории трудов мы относим:

П. Г. Любимиров. Очерки по истории русской промышленности. 1947 г.

Б. А. Рыбаков. Ремёсла древней Руси. 1948 г.

Ак. С. Струмилин. Рабочие русской мануфактуры к концу XVIII в. (Журнал «Вопросы экономики» № 9, 1953 г.).

Н. Л. Рубинштейн. Крепостное хозяйство и зарождение капиталистических отношений в XVIII в. Учёные записки МГУ. 1946 г.

З. Г. Карпенко. О промышленном перевороте в России (по материалам Кузнецкого бассейна. Журнал «Вопросы экономики» № 9. 1953 г.).

Б. Б. Кафенгауз. История хозяйства Демидовых в XVII - XIX вв. 1949 г.

Е. И. Заозерская. Мануфактура при Петре I. 1947 г.

В. И. Сомов. Промышленная политика Петра Великого. Ученые записки МГУ. 1947 г.

и упомянутый в начале нашего обзора труд Е. В. Спиридоновой.

Из приведенного мы видим желание советского человека, как можно дальше исторически уйти от жуткой современности. Стремление же вернуться к эпо-

хе первого русского императора, которое так четко выявляется из тематики, можно объяснить различными мотивами: а) указанным только-что, б) стремлением найти исторические параллели и подкрепить происходящее теперь в стране моральным авторитетом первого русского преобразователя и в) уйти не только в историю ради бегства от ужасной современности, но восстановить духовную связь с Россией национальной, почувствовать себя снова россиянином. Мы не можем сказать, кто из приведенных авторов какими мотивами руководствовался. Несомненно одно: стремление оправдать исторической параллелью советский режим у большинства отсутствует, а вскрытие классового характера и т. п. стремления являются лишь мажорами, дабы прикрыть свой уход от современности.

Среди исследователей эпохи Петра Великого выделяется Е. В. Спиридонова, весьма широко охватившая рассматриваемую ею проблему. Из дальнейшего нашего разбора будет виден этот диапазон.

Вникая в ее труд, находишь основные цели автора. Нам кажется, таковыми являются:

1) доказать самостоятельность и независимость экономической мысли Петра I, отличие его взглядов в практической деятельности от господствовавших тогда в Западной Европе взглядов и деятельности меркантилистов;

2) доказать, что мануфактурный период в России берёт свое начало в петровской эпохе;

3) утвердить, что вся преобразовательная деятельность первого русского императора направлена была к обеспечению независимости и упрочению России;

4) показать влияние экономических взглядов и мыслей Петра Великого на развитие таковых в России.

Е. В. Спиридонова оспаривает утверждения Шульце-Гевериц, А. Брикнера, Карамзина, Милюкова, В. Святловского-Богословского, В. И. Лебедева, С. В. Юшкова — славянофилов и др. будто Петр Великий заимствовал, переносил лишь усвоенные на западе идеи меркан-

тилизма. П. Милюков*) прямо утверждал, что основными началами экономической политики Петра I «сделались принципы меркантилизма». М. Богословский утверждал механическое перенесение Петром I подобно «бессознательному подражанию ребенка взрослому и дикаря цивилизованному человеку...»*)

Историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский отрицали заимствованный характер экономической политики Петра I. Однако и они определяли ее как меркантилистическую.

Основная мысль меркантилизма заключалась в том, что каждый народ для того, чтобы не беднеть, должен сам производить всё им потребляемое, не нуждаясь в помощи заграницы, а чтобы богатеть — должен вывозить как можно больше, ввозить же как можно меньше. Кроме того, акцент меркантилизма обращается на то, что основным богатством страны являются деньги, а для того, чтобы в стране было больше денег, необходим активный торговый баланс во внешней торговле. Промышленность и сельское хозяйство рассматривались меркантилистами лишь как предпосылки для создания денег во внешней торговле.

Е. В. Спиридонова в своем исследовании доказывает и показывает, что основной идеей русских экономистов XVII и XVIII вв., в том числе и в первую очередь Петра I, была не идея «делания денег» и не агрессивность в политике, а ликвидация отсталости России, укрепление её военной и экономической мощи, всемерное развитие производительных сил для сохранения независимости и самостоятельности, для предупреждения возможного превращения России в колонию западных стран. Различие от меркантилистов Запада, поставленные цели обусловили отличную оценку русских экономических деятелей, роли и значения промышленности, сельского хозяйства, внешней и внутренней тор-

*) П. Милюков. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформы Петра Великого. стр. 905.

*) М. Богословский. Областная реформа Петра Великого. 1902 г.

говли, денег, производительного труда и их взглядов на сам источник создания богатства.

Автор признает влияние эпохи, — активное вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны, систему протекционизма и применение этих принципов в России, — однако, считает это сходство недостаточным и не основным для выражения сущности и направления экономической мысли России того времени.

Е. В. Спиридонова утверждает и подтверждает фактами, что русские экономисты того времени и, виднейший из них, Петр I «вписали совершенно самостоятельные страницы в историю развития экономической мысли» и что нет необходимости накладывать привычный штамп меркантилизма.

Прежде всего, Петр, как показывает рецензируемый автор, никогда не отождествлял понятия богатства с деньгами. Наоборот, император видел богатство страны в промышленном развитии, источником богатства считал общепользующую деятельность граждан, их производительный труд в области промышленности, ремесел, сельского хозяйства и коммерции. Он стремился вовлечь в процесс труда все слои общества, он принимал меры, чтобы монахи и монашенки, не взирая на то, из какой среды они вышли, все занимались производительным трудом. Петр принимал энергичные меры по борьбе с нищенством, бродяжничеством, с «гулящими людьми», заставлял их работать. Император не только стремился увеличить число занятых трудом, но и поднять его производительность.

Меркантилисты популяризировали внешнюю торговлю, не придавая значения внутренней. Как выразился д. Эвэнэнт — в внутренней торговле «один выигрывает только то, что теряет другой, и нация вообще совсем не обогащается» в то время, как «все, что потребляется за границей, представляет явную и верную прибыль».

Петр Великий смотрел иначе на торговлю. Для него внутренняя торговля являлась необходимой внутренней связью различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, и не только

связью, но импульсом развития всех отраслей народного хозяйства и, конечно, одним из источников накопления денежных средств, и накопления для вложения в производящие отрасли народного хозяйства. Доминирующей идеей Петра Великого была идея укрепления силы и экономической мощи страны через всемерное развитие производительных сил. Развитию внешней торговли он способствовал, исходя не из финансовых соображений, хотя сказывалось и это, но в основном из соображений развития промышленности в России. Приписыванию императору копирования чужих образцов, механического перенесения рецензируемый автор противопоставляет обычные поучения Петра Великого командировавшимся для учения за границу русским людям, когда он требовал внимательного анализа при отношении к иностранному опыту и обращал внимание на нецелесообразность применения чужих образцов, которые «неудобны или с ситуацией сего государства (т. е. России — М. С.) несходны». Далее он поучал, что они должны изучать опыт, но «свои мнения поставя» и оценивая «по своему рассуждению». Отсюда видно, что сам Петр I подходил к заграничному с критической оценкой.

Что касается доказательств факта возникновения мануфактур*) в петровскую эпоху, то здесь можно привести хотя бы количество мануфактур, созданных Петром I, достигшее количества более 200, притом в различных отраслях промышленности. Наша отечественная литература по одним источникам насчитывает это количество до 233, но Е. В. Спиридонова отмечает лишь 205. К тому же можно указать и такой факт, что металлургия наша достигла при Петре Великом такого уровня, что вместо страны, ввозящей металл, Россия стала экспортировать его, и в немалых размерах. Струмилин в упомянутом капитальном труде подчеркивает, что петровская Россия в выплавке металла обогнала даже Англию. Широко развилась и легкая промышленность. Были созданы весьма крупные мануфактуры. Например, на Сухоном дворе в 1725 г. при 155 станках

*) Мануфактура — старое название предприятия. (Ред.)

работало 1146 человек, Хамовный двор в разные годы при Петре I имел от 100 до 300 станков, и рабочих на них от 1162 до 1362; шелкоткацкое производство также имело крупные мануфактуры. Так, фабрика компании Апраксин, Шафиров и Толстой имела 184 стана при 723 рабочих.

Также обстоятельно рецензируемый автор доказывает и остальные два положения, упомянутые нами ранее. Приводить здесь доказательства нет возможности. Мы лучше отметим более интересные и более актуальные вопросы. Да, как ни странно, но ряд проблем, бывших актуальными при императоре Петре I, не потеряли своей актуальности и теперь. И этих проблем весьма много. Мы отметим лишь часть из них.

Прежде всего о ведущей роли государства. Сам Петр в указе 1702 г. провозгласил, что все его «старания и намерения... клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтобы все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние» и что для «сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научиться, поныне им неизвестным познаниям, и тем искуснее становиться во всех торговых делах». Следует отметить, что под торговыми делами он понимал всю общественно-полезную деятельность в области промышленности, транспорта, сельского хозяйства и самой торговли.

Приведенные мысли Петра могли бы использовать будущие строители России после уничтожения коммунизма.

Все, что создано при Петре Великом, создано усилиями и, в значительной степени, средствами государства. Император понимал великую организующую роль государства. В проблемах разведки и освоения природных богатств Петр видел исключительную роль государства.

Грядущая эпоха по свержению коммунизма поставит перед нами ряд задач, схожих с задачами Петра Великого. Если последний заводил промышлен-

ность и стремился привлечь частную инициативу, если он был озабочен созданием первичного капитала, то эти же задачи стоят и перед нами. Проблема денационализации хозяйства — нелепая. Опыт частного предпринимательства потерян, частных капиталов нет. Петр пытался использовать капиталы купцов и пытался их приучить к промышленному делу. Воспитательными мерами он достиг многого.

Необходимость мер поощрения и призыва к купечеству со стороны государства в развитии мануфактур вызывалось недоверием владельцев капитала к новым формам хозяйственной деятельности. Применение принудительных мер, которых нам разумеется, применять не придется практически и принципиально, Петром понималось как кратковременные меры. Но ведущую роль государства в развитии хозяйства он понимал хорошо — роль государства как организатора и как воспитателя. Великий преобразователь говорил, что необходимо «как мать над дитятем» надзирать за рождением и развитием новых форм хозяйства и хозяйственной деятельности, а после, «когда все заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть». Петр I понимал, что русские люди «на учреждение фабрик вдруг капитала класть еще не обжили, за незнанием сначала какая после из того последовать может прибыль: того рода надлежит по возможности их приводить в такую охоту со всякими лёгкими манерами, не принуждая их многие капиталы с начала к тому употреблять». И потому Петр широко применял различные меры поощрения, начиная с государственных субсидий, кредита, освобождения от налогов на некоторое время, от пошлин за ввоз заграничного оборудования и материалов, и включая прикомандированием к частным мануфактурам на долгое сравнительно время специалистов-инструкторов, оплачиваемых казной, чтобы «к тому вступающие люди вящую охоту имели и деньги в ту компанию вкладывали без опасения».

Будущим строителям российского национального хозяйства придется также считаться с психологическим торможением, вызываемым недоверием к свободному предпринимательству, как к капи-

талистической деятельности. Система поощрений должна являться главным орудием направляемого хозяйства.

Если перед императором Петром I стояла задача передачи государственных мануфактур (поскольку строить предприятия русское купечество тогда «еще не обикло»), то и перед строителями будущего стоит та же задача денационализации хозяйства. Согласно инструкциям Петра, передача государственных мануфактур в частные руки осуществлялась так, что стоимость основного и оборотного капиталов должна была погашаться в рассрочку и в большинстве случаев поставками в казну выпускаемой продукции. Правительство Петра I ставило обязательным условием компанийщикам расширять и улучшать производство.

Перед будущими строителями стоит также вопрос — кому передавать предприятия, как этот вопрос стоял и перед Петром Великим: «кто такие явятся, о тех... в начале смотреть о позитках и достоинствах, и потом не токмо скорое решение учинить, но и всякие способы показать, каким образом с тою мануфактурою ему поступать, и в доброе и неубыточное состояние привести».

Кроме непосредственной передачи предприятий в частные руки, правительство Петра I пользовалось и другими методами, например, сдачей предприятий или дела на откуп, своего рода аренду.

Все эти меры поучительны и вполне применимы и через 250 лет.

Новое промышленное дело заставило Петра Великого позаботиться об оказании помощи предпринимателям в деле обеспечения сырьем и также сбыта продукции. В первом случае правительство брало на себя большие обязательства, начиная с выдачи ссуд для приобретения сырья на заграничном рынке и включая государственное распределение сырья на внутреннем рынке и создание сырьевых баз (например, шерсти, для чего правительство закупало за границей овец и устраивало овцеводческие заводы).

В порядке обеспечения сбыта правительство Петра I в значительной степени скупало продукцию частных компаний и всячески содействовало вывозу

продукции за границу, даже освобождая от пошлин. Для увеличения ёмкости внутреннего рынка Петром Великим предписывалось: «Российские товары, которые на здешних фабриках делаются, продавать не высокою ценою... дабы охотнее покупали, к тому ж бы те товары, лёжа долгое время на фабриках, не пропадали». В целях расширения потребления Пётр заботился о качестве продукции. Фабриканты, выпускавшие товары низкого качества, репрессировались, а фабриканты, производившие продукцию качественную, пользовались высокой милостью и личным расположением императора.

В этих же целях правительство и собственноручно Пётр Великий издавали технологические инструкции и устанавливали, говоря современным языком, стандарты качества.

Стоит остановиться и на государственных монополиях. Правительство Петра установило государственную монополию на вывоз «за море» смолы и поташа. Во внутренней торговле была объявлена государственная монополия на продажу табака, игральных карт, шахмат, шашек, табачных трубок, вина, т. е. на предметы роскоши. В указе говорилось: «Во всем государстве как высшим и низшим, так и духовным всех чинов людям, дома и по деревням отнюдь вина не сидеть и котлы перевезть, а покупать с кабаков». Государственные монополии составляли 25 % всей доходной части государственного бюджета. Неправильно было бы думать, что только фискальные цели преследовались при этом. Свобода самокурения не создавала сдерживающего начала в потреблении вина, к тому же расходовались громадные ресурсы зерна, учитывая в особенности кустарность самокурения.

Что касается предоставления монополии частным лицам и компаниям, то Петр Великий, стремясь развить промышленность, делал это вынужденно. Так, монополия, предоставленная шелковой компании в 1717 г., фактически была ликвидирована уже в 1721 г. Пётр великолепно понимал силу конкуренции: «Надлежит коллегии осторожность иметь, когда кому даётся привилегия для утверждения какой-либо фабрики,

то других, которые такие же со временем учредить похотят, не подлежит выключать, чтоб их до того не допускать, ибо из ревности между заводчиками не токмо разномыслие может происходить, но и достоинство оных, и деланные товары будут продаваться посредственною ценою, и сим образом, подданным его величества не без пользы быть может».

Будущие строители свободного российского хозяйства тоже должны будут обратить внимание на силу конкуренции не только меж «заводчиками», но и между секторами национального хозяйства. Если какая-либо отрасль частной промышленности начнет чувствовать себя монопольной или, наоборот, хиреть, предприятие общественного и государственного секторов её подтянут; если предприятия государственного сектора начнут впадать в бюрократизм или станут пользоваться своей исключительностью, предприятия частного и общественного секторов заставят своей конкуренцией государственные предприятия быстрее оборачиваться.

Перед строителями будущего российского хозяйства ставится также проблема предупреждения дробления крестьянского хозяйства. Эту проблему решал Пётр Великий, но не только в отношении крестьян, а вообще. В 1714 г. издан указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществях», право наследования, по которому получал лишь один сын, остальные дети (дворянские) должны идти на государственную службу, «или в чин купеческий, или какое знатное художество».

Характерным для императора Петра Великого было предвидение. Во избежание истребления лесов им было издано и написано собственноручно немало указов «о бережении лесов». Впервые был создан лесной надзор и учреждено учебное заведение, подготавливавшее лесничих. Для целей сохранения лесов указом запрещалось дальнейшее строительство промышленных предприятий в Тульской области, ввиду того, что они расходовали много древесины на топливо; в дальнейшем произведено даже закрытие части предприятий в данной области в тех же целях. Разумеется, лесной фонд тех времен по сравнению с настоящим

положением был нетронутым, тем не менее Петр указывал «леса, а наипаче потребные деревья сохранены и во всех местах, где возможно, добрые и притом другие потребные вещи насажены и возвращены были»...

Стремление советских исследователей отдать дань времени, — внести ненаучную, политическую оскороину в свои труды, — не минуло и рецензируемого автора. Одно из таких положений поставило Е. В. Спиридонову в противоречие со сказанным ею в других частях труда, где автор писал не для властей, а в целях научной объективности. Возможно, что автор нарочито грубо эти противоречия допустил с тем, чтобы читателю стало ясным истинное отношение автора к исследуемому вопросу.

Так, Е. В. Спиридонова оспаривает точку зрения Павлова-Сильванского, Сыромятникова и др., утверждавших, что Пётр I фактически взрывал феодализм в России. Она, утверждает, что феодально-крепостническое государство Петра Великого стояло на страже прав помещика в деле жесточайшей эксплуатации крепостного крестьянства.

Но одновременно автор приводит указы первого российского императора, говорящие обратное: указы об установлении для помещиков обязанности прокормления своих крестьян, о восстановлении прав крестьянина перед судом, о запрещении помещикам выставлять ответчиками за свои долги крестьян, о запрещении насильственного брака крепостных, об ограничении торговли людьми. Вот наказ воеводам: «Понеже есть некоторые непотребные люди, которые своим деревням сами беспутные разорители суть, что... вотчины свои не токмо снабдевают или защищают в чем, но и разоряют, налагая на крестьян всякие несносные тягости, и в том их бьют и мучают, и от того пустота, а в государственных податях умножается доимка: того ради воеводам и земским комиссарам смотреть того накрепко и до такого разорения не допускать».

Пётр не терпел неурядиц и уже хотя бы поэтому он должен был требовать, и, как мы знаем, требовал человеческого отношения помещиков к крепостным. Кроме того, Пётр I руководствовался всегда принципом: кто выше стоит — с то-

го и больше спрашивается, а не наоборот. Он также хорошо понимал, что вольнонаемный труд справедливее и производительнее.

Е. В. Спиридонова заявляет, что якобы Пётр I еще больше закрыл возможности выхода из крепостной зависимости. На самом деле мы имеем в распоряжении указы, утверждающие обратное. Во-первых, всегда была возможность выхода из крепостного состояния добровольным уходом в солдатчину; во-вторых, мастера-специалисты, вроде ствольных мастеров и т. п., пользовались правом выхода из крепостного сословия; в-третьих, круг посадских людей был расширен за счет крестьян, которым было предложено заниматься ремеслами и торговлей «кто где похочет, и всякие подати платить и службы служить»; в-четвертых, мы находим среди заводчиков также бывших крепостных; наконец, купленные мануфактурами деревни должны были быть «неотлучно» при предпрятии, а не при лице. Заводчик не имел права продавать отдельно от фабрики деревни, их закладывать или передавать. Таким образом, мы видим форму владения деревнями, и стало быть крепостными, отличную от помещичьей.

Вообще же Петр не терпел безделья, неопределившихся, шатающихся людей. В 1700 г. он издал указ, по которому этих шатающихся людей или определяли в солдаты, или «в другие службы, или к кому во дворовое служение»; чтобы никто «без службы не шатался», «ни один без положения в окладе не оставался».

Что касается налогового гнета, который вследствие войн, главной тяжестью обрушился будто-бы на крестьян, то это не верно. Великолепно известно, как Петр Великий распределял тягло на всех: и на помещиков, и на заводчиков, и на купцов, и на посадских людей, также и на монастыри. Известны его разверстки, в которых он никого не забывал, и, более того, разверстку часто делал персонально в отношении промышленников и купечества. Имеются указы, предлагавшие изыскивать источники государственных доходов, которые «не отягчали бы более низшие» классы населения.

Рецензируемый автор очевидно для тех же целей дымовой завесы указывает на тяжесть набора на военную службу, который фактически производился из расчета на 20 дворов один рекрут. Если учитывать непрерывные длительные войны, которые пришлось вести Петру Великому, то эта рекрутская норма в сравнении с советскими условиями современности весьма мягка.

Если для советских экономистов стремление заняться историческими проблемами мы называли бегством от актуальности в историю, то для тех, кто подготавливает будущее строительство Российского национального хозяйства, экскурс в историю является лишь обращением к актуальным проблемам. Работать для будущего российского народа и России, тщательно изучать исторический опыт — задача благодарная и необходимая.

М. Самойлов

Теряющие почву

Находясь в идеологическом и политическом тупике, советский коммунизм вертится в заколдованном круге своих идейных догм, непрерывно опровергаемых жизнью. Ему уже давно следовало бы признать неудачу самого замысла построения коммунизма, но сделать этого Журнал «Коммунист», №№ 1-5 за 1955 год.

Большевики не могут и потому принуждены прибегать к заклинаниям и изыскивать допинги для продления своей власти.

Ничем иным, как заклинаниями нельзя назвать те ведущие передовые статьи, которые помещаются в каждом номере журнала. Их интерес лишь в том, что они очень часто показывают, что

именно болит у партии, и каковы очередные допинги, вливаемые в ее тело. Эти вливания преследуют в первую очередь цель подбодрить членов партии и подкрепить стареющие мифы о том, что партия всегда права, что руководство её мудро, и следует лишь свято соблюдать даваемые директивы.

Это подбадривание осуществляется главным образом спекулятивным методом: ссылками на авторитеты (гл. обр. Ленина), спекуляцией на патриотических и лучших чувствах советских людей и, наконец, всё усиливающимся «подхалимажем» перед будто бы «творческой активностью масс», «преданностью советского человека делу партии», с призывами «чаще советоваться с активом», развивать критику «снизу» и т. д. Черты того, что мы называли «подхалимажем», стали особенно яркими за прошедшие 2 года без Сталина. Заискивать приходится сейчас не только перед народом, но даже перед своими партийными кадрами. Заискивание это, конечно, больше словесное и показное. Его задача — психологическое воздействие, некое размягчение индивида и вместе с тем его намагничивание, что необходимо для сохранения авторитета и для возможности уже иными способами (в основном прежними) управлять и командовать партией.

Всё это, разумеется, характеризует ослабление режима, потерю им бывшей динамики и прямолинейности. Теперь и с партией, и с массами на одной жёсткости далеко не уедешь, нужен и сиропец, и закланья.

Спекуляция на патриотизме очень ярка в передовых статьях №1 и №5 — «Великая сила ленинских идей интернационализма» и «Член партии — активный боец за дело коммунизма».

В первой статье говорится:

«Подлинный патриотизм глубоко, неразрывно сочетается с пролетарским интернационализмом, в основу которого положены уважение к другим народам, человечность, гуманизм. Интернационалистам присущи уважение и горячая любовь к собственному народу». При этом вспоминается работа Ленина «О национальной гордости великороссов» (декабрь 1914 года), а затем подчеркивается, что «большевизм стал образцом тактики для

всех пролетарских партий» и что «ленинизм есть явление интернациональное».

Дальше поется гимн «дружбе и взаимопомощи народов», благодаря которым «советский народ, руководимый коммунистической партией, решает величественные задачи по осуществлению постоянного перехода от социализма к коммунизму».

Статья, конечно, заканчивается «братской» помощью СССР Китаю, Северной Корее, Вьетнаму и борьбой «великого лагеря мира» (900 миллионов людей!) против «поджигателей новой войны».

Во второй статье те же мотивы:

«Любовь к своему народу, любовь к Родине нераздельно связаны у коммуниста с чувством братской интернациональной солидарности с народами всех стран в их борьбе за лучшее будущее, за мир, демократию и социализм».

«В жестокой и непримиримой борьбе с силами старого мира завоевывается счастье народа, коммунизм».

Борьбе за мир посвящены еще две редакционные статьи: «За упрочение мира между народами» (№3, февраль) и «Судьбы мира и цивилизации решают народы» (№4, март). Статьи вполне стандартны и не содержат ничего нового.

Другие передовые прямо нацелены на больные места народного хозяйства. В них немало горьких признаний (№2, январь):

— «У нас еще много недостатков, много неиспользованных резервов...»

— «А сколько теряет народное хозяйство из-за неполного использования производственных мощностей!»

— «Темпы роста производительности труда недостаточны*) в некоторых отраслях промышленности...»

— «Медленно внедряются новейшие достижения науки, техники и передовой опыт, плохо устраняются недостатки в организации производства и труда».

— «Нельзя мириться с имеющимся на ряде участков отставанием техники», и т. д.

За горькими признаниями следуют рецепты по борьбе с «недостатками». В этих рецептах ничего нового по существу нет.

*) Подчеркнуто здесь и дальше нами. — А. С.

— «Перед партийными организациями стоят большие и сложные задачи».

— «Творческая активность масс — могучая сила».

— «Ведущей силой в историческом творчестве народных масс был и остается рабочий класс».

— «За мобилизацию резервов!» «За связь с практикой!» «Поднимать уровень партийного руководства!» и т. д.

Но в этих призывах-заклинаниях есть и новые нотки, горькие нотки признания ряда ошибок и необходимости из них выбирать:

— «Политическая работа в массах не терпит абстрактности».

— «Укреплять социалистическую законность!»

— «Необходима повседневная работа с людьми, **отзывчивость и чуткость** к ним, к их запросам».

— «Надо внимательно и чутко прислушиваться к голосу беспартийных».

— «Соревнование — живое дело масс, оно не терпит шаблона. А попытки бюрократизировать соревнование еще нередки».

— «**Движение масс** предъявляет серьезные требования к хозяйственному руководству».

— «В культурно-бытовом обслуживании трудящихся нет маловажных участков. И ничем нельзя оправдать то **пренебрежение**, с которым иные советские работники относятся к бытовым вопросам».

Кончается, однако, всё трафаретно:

— «Необходимо постоянное повышение политической сознательности трудящихся».

— «Цель работы в массах заключается в том, чтобы охватить коммунистическим влиянием все слои и группы населения, еще больше приблизить их к партийным организациям, добиться того, чтобы каждый советский человек **трудился со всей энергией**, отдавая все силы борьбе за процветание социалистического государства».

Все предлагаемые мероприятия ничему, однако, помочь не могут, ибо все недостатки и провалы в народном хозяйстве — не частные и случайные явления, а результат системы, которая губит даже самые лучшие начинания отдельных энтузиастов, еще пытающихся что-либо улучшить.

Автор статьи заявляет: «Силы для улучшения агитации у нас есть», и заканчивает бодрячком: «Уверенной поступью идет советский народ...» «Растущая творческая активность нашего народа... залог новых успехов...» — Да, но только тогда, когда эта активность обратится против системы.

В №2 (январь) и №3 (февраль) помещены две характерные статьи: «Против извращения марксистской теории воспроизводства». И. Дорошева и А. Румянцев и «Тяжелая индустрия — основа экономического могущества СССР» Е. Фролова. Обе статьи отражают ту борьбу на верхах, которая закончилась падением Маленкова и признанием ересью того сильного течения, которое стремилось к развитию легкой и пищевой промышленности, хотя бы на равных правах с тяжелой промышленностью. Статьи пытаются обосновать необходимость сохранения резкого приоритета за развитием средств производства и тяжелой промышленности.

Передовая №3 (февраль) посвящена январскому пленуму ЦК КПСС и озаглавлена «Программа борьбы за дальнейший подъем земледелия и животноводства». В ней нет ничего достойного внимания. Разве, что в юмористическом плане — подчеркнуть, что и она кончается флегматической ссылкой на задачи улучшения постановки и содержания агитации, усиление работы с людьми и... — воодушевлением трудящихся новым постановлением Пленума ЦК.

Насколько тема сельского хозяйства является больной, можно судить и потому, что «Коммунист» снова к ней возвращается в передовой №4 за март: «По боевому выполнить решения январского Пленума ЦК КПСС». Особое внимание вновь обращено на роль МТС, ка выявление и использование резервов, организацию инструкторских групп, расширение посевов кукурузы и массово-политическую работу.

Имеется в рецензируемых номерах и статья, посвященная советским писателям: «К новому подъему идейно-художественного уровня советской литературы». (№1, январь).

Из нее отметим только меланхолическую констатацию: «Как ни велики успехи советской литературы, она во многом

еще отстаёт от требований жизни, от запросов читателя, **выросшего политически и культурно**. Что верно, то верно: вырос советский читатель и человек. Тесно ему в ложе «социалистического реализма».

Чего же требует «Коммунист»? А вот: «Правда жизни требует, чтобы в центре внимания писателя были именно создатели **материальных** ценностей, которые в совокупности составляют решающую силу патристического развития». — А создатели **духовных** ценностей для правды жизни (по-коммунистически), очевидно, совсем не нужны. С этим только хлопоты и неприятности и — «следует давать отпор всяким попыткам охаивать советскую действительность». Ибо — «Борьба против враждебных влияний, против идеологии империализма, подготавливающего пережитки буржуазной идеологии в нашей стране, **продолжается**». Это ли не тяжелое признание для коммунизма на 38-м году его существования в нашей стране!

*

Из всех статей, рецензируемых пяти номеров журнала «Коммунист», значительный интерес вызывает редакционная статья (без подписи) «Насущные вопросы философской науки» (№5, март).

Начинается статья горделиво: — «Марксистско-ленинская философия является единственно научным мировоззрением...»

— «Истинность теории марксизма подтверждена всем дальнейшим развитием науки и практикой классовой борьбы пролетариата».

— «Эксплуататорские классы, их идеологи и политики ведут яростные атаки против марксизма, против диалектического и исторического материализма — теоретических, философских основ коммунизма. Но как бы они ни бесновались, как бы ни старались «уничтожить», опровергнуть марксизм, — все тщетно... Учение марксизма-ленинизма всесильно потому, что оно верно».

Далее определяется, что «никогда еще в жизни не рождалось, не возникало так много нового, как в нашу эпоху», и что «марксистско-ленинская философия не стоит и не может стоять на одном месте. Это — вечно живое, непрерывно развивающееся учение».

Поэтому — «Задача философов-марксистов состоит в том, чтобы на основе достижений современного естествознания развивать дальше философскую науку и тем самым активно влиять на развитие других наук».

Естественно, в статье ставится вопрос: «Как же научные работники в области философии справляются со своими задачами?»

И тут-то выясняется: «Недостаточным изучением ленинского философского наследия в связи с современными задачами во многом объясняется то, что до сих пор среди части философов имеется путаница в ряде **важнейших** вопросов философской науки».

От горделивого пафоса начала не остается и следа. Статья с горечью констатирует:

— «Надо признать, что вопросы диалектического материализма, особенно теории познания и диалектической логики, изучаются совершенно недостаточно. Это в значительной мере связано с теми **путанными** мнениями, которые еще существуют среди части философов по вопросу о формальной и диалектической логике» и т. д.

— «Неправильное отношение к диалектической логике со стороны ряда философов-логиков и явилось одной из причин того, что её **коренные проблемы** почти не разрабатываются... Нет еще у нас и работ, раскрывающих диалектическую природу форм человеческого мышления (понятий, суждений, умозаключений) и исследующих процесс развития логических категорий, а также единство анализа и синтеза, соотношение логического и исторического в познании» и т. д.

— «Философы... недостаточно смело берутся за разработку **актуальных** проблем марксистско-ленинской философии».

Известно, например, какое важное место в трудах В. И. Ленина занимает вопрос о решающей роли народных масс в истории. Но много ли на эту тему написано нашими философами? Мало».

— «Философы, работающие в области исторического материализма, еще мало занимаются изучением классовой борьбы на международной арене в современных условиях. Они **недостаточно исследуют**

новые процессы, происходящие в общественной жизни».

— «Надо глубже и всесторонне разрабатывать вопросы теории социалистического общества: о закономерностях социализма, об источниках силы и могущества социалистического государства... о закономерностях развития социалистических наций, их культур, языков, о коммунистической морали и т. д.»

На протяжении всех дальнейших страниц статьи идет жестокая критика положения на философско-идеологическом фронте:

— «Отрыв от практики, неглубокое знание жизни... серьезные недостатки... монография Г. Ф. Александрова «Труды И. В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма» не только не решает новых вопросов, но и уже решенные вопросы подчас запутывает... преувеличивается роль надстройки... Расплывчатость, рыхлость»...

— «Отрыв от практики, от специальных наук не проходит для философов даром. Он ведет к догматизму, начётничеству и схоластике.»

— «Наряду с догматизмом и схолистикой весьма серьезным изъяном в работе наших философов, экономистов, правовиков, историков (фронт расширяется! — А. С.) является эмпиризм, недооценка, принижение теории, теоретических обобщений, научных абстракций».

— «В научных работах еще много ползучего эмпиризма, описательства, не раскрываются причины явлений, закономерности и тенденции развития».

— «Своего рода отрывом от практики является то, что многие философы разрабатывают проблемы диалектического материализма оторвано от истории других наук. К тому же надо отметить, что само понимание практики у ряда философов недиалектическое, узкое, однобокое».

— «Игнорировать проблемы теории познания, логики диалектического материализма как «отвлеченные» и потому, якобы, ненаучные — значит стать на путь ликвидации материалистической диалектики, как философской науки. Проблемы теории познания, логики исключительно важны для науки. Например, проблема случайности и необходимости имеет огромное значение и для

философии и для математики, физики, биологии и для других отраслей знания».

Указание этого примера тоже не случайно. Непосредственно дальше это раскрывается:

— «Разработка категорий диалектического материализма актуальна еще и потому, что логика — боевой участок борьбы с идеологией империалистической реакции. В свое время Ленин указывал, что идеалистическая философия специализируется на гносеологии. Для современных течений неопозитивизма характерна «специализация» и на общих вопросах теории познания и в особенности на проблемах логики».

Недостаточная разработанность категорий дает о себе знать в работах не только по диалектическому, но и по историческому материализму, а также в работах научно-популярного характера».

— «Недостаточная разработанность ряда категорий исторического материализма мешает глубокому и всестороннему изучению специфики общественных явлений».

— «...изучение законов, тенденций общественной жизни подменяется поверхностным описанием текущих политических событий» (Их нить утеряна! — А. С.)

— «Точно так же в работах по истории философии, как ни странно, именно философия порой ускользает».

Далее резкой критике подвергается учебное пособие «Диалектический материализм», которое подготовлено коллективом сотрудников Института философии Академии наук СССР:

— «Нельзя считать правильным, что у нас в книгах и в преподавательской практике принципы и законы материалистической диалектики преподносятся порой как готовые схемы, не требующие обоснования».

— «...в целом книга (указанная выше — А. С.) требует переработки и улучшения... авторы излагают диалектику и материализм расщепленно... сумма примеров еще не дает науки, подлинно научного анализа действительности».

Также: «Крайне затянулось в Институте философии Академии наук СССР создание капитального труда «История философии».

«Многие из недостатков, вскрытых в

1947 году на философской дискуссии остались непреодоленными... Кроме того были сделаны и новые ошибки... Если раньше игнорировалась русская философская мысль, то в макете умалялось значение западно-европейской философии. Это другая крайность, тоже вредная».

«Об идеализме говорят «сплошняком», не выясняя, с какими именно разновидностями идеализма приходилось воевать материалистам...» и т. д.

Показав полный провал советских философов (а с ними заодно — экономистов, правовиков и историков), авторы редакционной статьи «Коммуниста» вопрощают:

— «Но как же не понять, что без глубокой и систематической теоретической работы, основанной на изучении и обобщении практики и всех достижений науки, невозможно творческое развитие философии?»

— «Откуда проистекают все эти проблемы в изучении истории философии?»

Оказывается, что «за последнее время у нас наметилось некоторое ослабление союза между философами и естествоиспытателями». Иные философы забывают, что империалистические круги используют в своих антинародных целях реакционные философские системы прошлого, искажают историю философской мысли, принижая материалистические и диалектические её традиции, клеветают на марксистскую философию, утверждают, что она, якобы, не связана с предшествующей философской мыслью».

В связи с последним указанием выясняется причина появления и одна из целей рецензируемой статьи:

«Многие зарубежные учёные находят-ся еще под влиянием идеалистической философии, но делают в своей области ценные научные открытия, ибо в исследовательской работе являются стихийными (! — А. С.) материалистами. Прямой долг учёных-марксистов — помочь им понять, что идеализм и агностицизм заводят науку в тупик, что в философии нет и не может быть средней линии, якобы, преодолевающей и материализм и идеализм».

Какое блестящее противоречие! — Делают ценные научные открытия, хотя опираются на идеализм и агностицизм,

которые... «заводят науку в тупик». Ссылка на «стихийный материализм» ничего, конечно, не объясняет. Это чувствуют авторы статьи, т. к. сейчас же начинают оправдываться и параллельно признавать влияние на учёных в Советском Союзе зарубежных идеологий. Они пишут:

«Советская наука не отбрасывает, а критически усваивает всё ценное, что добыто учёными капиталистических стран. Следует отрешиться от предрассудка, который имеется у отдельных советских учёных (читай — марксистов! А. С.), будто в капиталистических странах наука ничего ценного создать не в состоянии».

Теперь, оказывается, и для марксистов нельзя «не замечать» науки капиталистических стран и «отмахиваться от неё нелепо». Приводится пример, как А. А. Максимов «нигилистически подошел к теории относительности, признав лишь её математический аппарат и отбросив её ценные физические выводы».

«Некоторые «леваки» мыслящие «теоретики» пытаются даже представить науку в буржуазных странах как «сплошное гниение». Такое отношение к науке капиталистических стран дезориентирует общественность и тормозит развитие научной мысли».

Таким образом, «буржуазная» наука получает амнистию и «труды буржуазных ученых надо изучать, но, конечно, изучать критически... тем более, что позитивистические, гносеологические установки зарубежных учёных идеалистов (куда же делся «стихийный» материализм? — А. С.) оказывают известное влияние на часть советских естествоиспытателей (ценное признание! — А. С.). Поэтому следует не ослаблять, а усиливать борьбу с проявлениями идеализма в различных отраслях естествознания (только ли естествознания? — А. С.).

А дальше идут прямые скорбные констатации:

— «Нельзя мириться, что и критикой современной буржуазной философии у нас занимается сравнительно узкий круг лиц, что ведется эта критика не всегда глубоко» и т. д.

— «Следует отметить, что и в работах по диалектическому и историческому материализму нередко нет разоблачений,

острой критики современных школ идеалистической философии и социологии и потому в них не чувствуется боевого, наступательного духа».

Авторы статьи полагают, что во всём этом виноваты сами философы: «всё зависит от самих философов»; «...их философские шпaги покрываются ржавчиной, а сами они утрачивают дух борцов». «Они живут сами по себе, а жизнь проходит мимо них». «Они избегают ясных ответов на конкретные вопросы, стараются обойти спорные или трудные проблемы. Они способны вступить в сделку с собственной совестью, сегодня «вознести» книгу, а завтра с такой же легкостью «разнести», поступиться принципами в угоду приятельским отношениям. С такими порочными явлениями надо кончать».

Сказав еще о том, что некоторые «авторитеты» становятся на путь расправы с людьми «пытающимися их критиковать», авторы статьи делают «случайно» одно очень ценное признание:

«Там, где нет борьбы с подхалимством, отсталостью, косностью, рутинной, где от-

сутствует свободный обмен мнениями, царит самоуспокоенность, нет необходимых условий для подлинно творческой коллективной работы».

В этом признании — горькая истина, которая бьет, однако, дальше поставленной цели. Она вступает в диалектическое противоречие со всей коммунистической действительностью и со всеми философскими попытками её оправдания. Без свободного обмена мнениями, без подлинной свободы вообще, никакое плодотворное развитие общества невозможно. А поскольку мир советской несвободы построен на теориях диамата и истмата, которые в наши дни перестают уже быть отмычками к решению современных вопросов жизни в СССР, постольку неудивительно то жалкое и убогое положение, в котором оказались сейчас не только философы, социологи, историки, экономисты и другие научные деятели, но и все вожди Советского Союза. Идеологическому тупику никакие перестройки и допинги не помогут. Все они могут лишь отсрочить неумолимое. Все они — мертвая вода.

А. Светов

«Грани». Журнал литературы, искусства, науки и общественной мысли.
Октябрь - декабрь 1955 года.

Редакционная коллегия: Е. Романов (главный редактор), А. Кашин (отдел прозы), А. Неймирок (отдел поэзии), Н. Тарасова (отдел литературной критики), А. Артемов (отдел публицистики), М. Парфенов (отдел библиографии).
Секретарь редакции Н. Тарасова

К печати принимаются только произведения, ранее нигде не напечатанные. Гонорар по соглашению. Рукописи присылать либо отпечатанные на машинке, либо написанные от руки чернилами на одной стороне листа. По поводу непринятых рукописей редакция в переписку не вступает. Желающие получить рукописи обратно, должны указать свой адрес. Перепечатка без разрешения издательства воспрещается.

Адрес редакции: „Grani“ — Possev-Verlag, Frankfurt/Main, Merianstraße 24a.

В настоящее время вышел из печати и поступил в продажу
первый сборник из серии

„Избранное“ — „О солидаризме“

(под редакцией В. Арсеньева)

Сборник включает основные статьи о солидаризме и подытоживает
пройденный еженедельником «Посев» десятилетний путь
идеологических исканий солидаризма.

Сборник охватывает материал напечатанный в еженедельнике с
1947 до 1954 г.

Цена сборника 4.00 НМ

«Нельзя сломить силу поднимающегося народа. Лучших сынов
своих он посылает на подвиг... Бессильны испытанные средства:
расстрелы, тюрьмы, концлагери, провокации, ложь. Перед бесстра-
шим героев трепещут тираны...»

Е. Романов

Из книги

А. Р. Трушновича

«ЦЕНОЮ ПОДВИГА»

С заказами на эту книгу обращайтесь в издательство «Посев» или
к представителям издательства во всех странах мира.

Цена 6.00 НМ

Глеб Рар (А. Ветров)

Плененная церковь

В книге Вы найдете историю русской церкви с прихода боль-
шевиков к власти и по наши дни, порабощение Церкви государством
и ее неутасимость. Это вызвано неистребимым тяготением русского
народа к религии, бороться с которым советской власти оказалось
не под силу.

Цена 4.50 НМ

С заказами обращаться по адресу издательства «Посев»

„Possev“-Verlag, Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

Издательство имени Чехова

Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

ГЕРБЕРТ АГАР — Во что верит Запад.

Перевод с английского 295 стр. 6.90

Автор — американский писатель и журналист старается осветить проблему овладения нашим наследием и выяснением вопроса: в чем состоит вера Запада. На основании исторического анализа, Агар приходит к заключению, что «если мы сможем... вновь научиться уважению и сочувствию к тем, кто живет внутри стен нашего христианского мира, мы увидим, что можем без особого усилия распространить эти чувства на все человечество».

ПОРТ АРТУР — Воспоминания участников

412 стр. 8.20

Книга состоит из повествований участников Русско-японской войны. Перед читателем проходит одна из самых трагических эпопей в истории Российской империи.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ — Одиночество и свобода

316 стр. 8.20

Сборник состоит из серии очерков, посвященных таким писателям, как Мережковский, Шмелев, Бунин, Набоков, Куприн, Тэффи, Зайцев, Алданов, Иванов и другие.

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ — Собрание сочинений

415 стр. 8.20

В настоящую книгу вошли все известные стихи Мандельштама (кроме переводов), вся его художественная проза и большая часть его литературно-критических статей.

ТЕОДОР УАЙТ — Огонь в пепле.

Перевод с английского 416 стр. 8.20

Эта книга, имевшая огромный успех и переведенная на многие языки, принадлежит перу известного современного американского писателя и журналиста. «Огонь в пепле» охватывает события, происшедшие в Европе после Второй мировой войны.

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ — Вторая мировая война.

Перевод с английского

От войны до войны. (1919 - 1939)	Книга I	418 стр.	7.60
Сумерки войны	Книга II	312 стр.	7.60
Падение Франции	Книга III	350 стр.	7.60
В одиночестве	Книга IV	372 стр.	7.60

Все книги Издательства имени Чехова можно получить
в книжном отделе Издательства «Посев»

Verlag „P o s s e v“ - Frankfurt-Main, Merianstraße 24-a

и у представителей «Посева» за границей
или в русских книжных магазинах

Цена 6 марок